

1988 № 10 [22]
ОКТЯБРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА

ПОЕЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ДРАМАТУРГИЯ



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор),
ЭДГАРС БАНС,

ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь).

ИЛМАРС БЛУМБЕРГС,
ПАВЕЛ ВИШНЕВСКИЙ,
ГУНТАРС ГОДИНЬШ

(редактор отдела),
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС,
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ,
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного

редактора),
СТАНИСЛАВА МАРСОНЕ,
МИЕРВАЛДИС МОЗЕРС,

МАРИС ОГА,
ЯНИС ПЕТЕРС,
ЯНИС РОКПЕЛНИС,
БАЙБА СТАШАНЕ,
АДОЛЬФ ШАПИРО.

РЕДАКТОРЫ:

РУДИТЕ КАЛПИНЯ,
АНДРЕЙ ЛЕВКИН,
ОЛЕГ МИХАЛЕВИЧ,
НОРМУНДС НАУМАНИС,
ЭВА РУБЕНЕ,
ТАТЬЯНА ФАСТ.

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

КОРРЕКТОР

ОЛЕГ КРУГЛИКОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ.

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- Эва Рубене. «Сапниши» (1)
Эйнарс Пелшс. Стихи (9)
Эгонс Ливс. «Тминный ликер» (10)
Александр Башлачев. Стихи (14)
Вадим Томашпольский. Ироническая проза (16)
Николай Гумилев. Стихи (20)
Татьяна Щербина. Стихи (24)

КУЛЬТУРА

- Ольга Хрусталева, Андрей Левкин. «Как бы диалог о «новой культуре» (27)
Борис Берзиньш. «Искусство не может быть случайностью» (32)
Янис Боргс. «Свобода напоминает» (39)
Кнутс Скуениекс. «Там я ощущал, что земля вращается...» (42)
Роман Тименчик. «Читаем Набокова» (46)
Артем Троицкий. «ROCK IN THE USSR» (49)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Марина Костенецкая. «Только бы хватило сил и терпения!» (52)
Андрис Колбергс. «Нет принципиальной оценки» (53)
Петерис Цимдиньш. «Что оставим потомкам?» (54)
Вилнис Казакс. «Белые ли мы в грязи?» (56)
Миервалдис Бирзе. «История, к сожалению, как биржа» (57)
Янис Рукшанс. «Гарантировать перестройку» (58)
Марис Гринблатс. «Перестройка и национальный вопрос» (60)
Вильнис Зариньш. «Философия грабителей» (68)

ЛИТЕРАТУРА

- Фрицис Барда. Стихи (72)
Леонид Добычин. «Город Эн» (75)

ЭВА РУБЕНЕ

САПНИШИ

Она задремала на стуле в кухне, когда услышала крик Эдварда:

— Лелде!

Она мгновенно подхватилась с места, поймав в первый момент, что мужу стало плохо.

— Мне показалось, что ты куда-то ушла.

— Куда же я могу уйти?

— Ну, — он выдержал паузу и лукаво усмехнулся, — скажем, за полшем.

— Сейчас налью.

Эдвард выпил и снова задремал.

«Как он сейчас походит на моего отца, — думала она, — такие же черные волосы, густые усы, худощавое лицо и то же самое беспечное выражение на нем. Так и кажется, что в этом доме ничего не изменилось. Все, как пятнадцать-двадцать лет назад. Только на месте отца лежит Эдвард, а на месте матери сижу я».

— Еще, — снова проснувшись, Эдвард просящим жестом протянул руку. Не задумываясь над правильностью своих действий, она сразу же наполнила стакан; каждый раз, когда муж просил налить, она говорила себе: если я этого не сделаю, я его убью.

Отец просил точно так же:

— Налей...

— И не проси, — мать была непреклонна.

— Мапочка, я прошу тебя...

— Не сходи с ума.

— Я бы встал перед тобой на колени, если бы мог сползти с кровати.

— Я всю жизнь перед тобой на коленях простояла.

— Прости меня... Налей...

— Да хоть околевой!

Лелде видела, как тяжело дышит отец.

— Пап, я сейчас сбегаю в погреб, — она стремительно поднялась, чтобы принести вина.

— Никуда ты не пойдешь, — мать стояла перед ней, как стена.

— Неужели тебе его несколько не жалко?

— Меня никто не жалел, — ровным голосом ответила она.

— Сердце останавливается, — тихо сообщил отец.

— Почему ты такая, мама?

— Спроси, почему он такой.

—пусти меня! — сквозь слезы крикнула Лелде.

Мать вцепилась руками в дверной проем. Лелде попробовала проскользнуть мимо нее, но она оттолкнула дочку и крикнула ей в лицо:

(Окончание. Начало в № 9)

— Глупая девчонка, почему ты его жалеешь?
— Ведь папа умирает. Неужели ты не видишь?
— А если я умру? — спросила она, и голос ее снова был ровен.

— Ты не умрешь. Пусти меня!

На этот раз мать ничего не сказала, а только прижала голову дочки к своей груди; у Лелде не хватало дыхания, так близко она была от материнского сердца, она попыталась открыть рот, чтобы вдохнуть, но внезапно мать отпустила дочку и, глядя в стену, сказала:

— Все. Конец. Бог сжалился над нами.

Лелде стояла спиной к постели, но сразу же поняла, что произошло.

Он лежал очень тихо, с приоткрытыми глазами и ртом, прижав руку к сердцу. Испуг высушил слезы на глазах Лелде. Она посмотрела на того, кто только что был ее отцом, и невнятно сказала:

— Ты убила его.

— Это он убивал меня. Позже ты это поймешь.

В то время Лелде было пятнадцать лет. Но и тогда она непреклонно держалась своего убеждения, пришедшего к ней еще в детские годы: «Мы приходим на свет, чтобы помочь друг другу, а не для того, чтобы отталкивать друг друга», — так она думала, видя, что пьяные мужчины, тонущие в этой трясине, как правило, слабее женщин, и считая, что те, кто слабее, заслужили помощь и сочувствие.

Лелде всегда хотелось помочь отцу, но она не знала, как это сделать. Единственное, что было в ее силах, — положить теплое полотенце отцу на лоб. И делала она это тайно, никогда не осмеливаясь показать свою любовь. Лелде боялась матери. Та запрещала Лелде поднести даже стакан с водой к постели отца. Матери хотелось, чтобы Лелде больше любила ее («У меня такая трудная жизнь»), и хоть немного ненавидела отца («Скот он, а не человек!»).

«Почему она так истязала меня и причиняла боль отцу? Почему она не хотела помочь ему? — часто думала Лелде, когда отец был еще жив. — Кто же еще ему поможет, как не мы обе?»

— Я в самом деле не понимаю, почему ты его жалеешь? — таков был обычный вопрос матери.

«Почему мне надо жалеть отца? Тебя ничего не мучает. Ты всегда здорова, правильна и справедлива. Конечно, тебе тяжело с отцом, но ему самому куда труднее».

— Потому что он болен, — объясняла Лелде.

— Если он болен, пусть отправляется в Олайне или Стренчи и там лечится.

— У него уже больше нет сил.

— Если захочет, найдет.

«Ах, как у нее все было легко — надо захотеть, надо смочь, надо лечиться. Будь все так просто, на свете не было бы ни одного пьящего».

— Не найдет. Он уже слишком глубоко увяз. Разве ты этого не видишь?

— Я его вообще видеть не могу.

— Я не понимаю, как же ты с ним прожила двадцать лет.

Мать посмотрела как-то странно и сказала:

— Этого ты так и так не поймешь. Но только такой жизни, как у меня, я тебе не пожелаю. Лучше одной, чем у пьяницы под божом.

«Будь у меня такой муж, я бы жила только ради него», — подумала Лелде.

Вскоре после этого разговора отец ушел на тот свет, а Лелде осталась жить дальше — жить с непроходящим чувством вины, с чувством неотданного долга и нерастроченной любви. Через несколько лет после отца и мать ушла в мир иной. У Лелде как раз была весна выпуска, когда в июньский полдень мать, ехавшую на велосипеде, на краю шоссе сбilo машиной. За баранкой сидел молодой выпивший парень. Его осудили на долгий срок, но Лелде не чувствовала ни удовлетворения, ни какой-то особой ненависти к этому мальчишке. Только тупое бессилие перед лицом этого мира, в который водка приносит неисчислимые бедствия.

Эдвард опять открыл глаза, в которых читалась немая мольба. Лелде помогла ему принять полусидячее положение в постели, и Эдвард большими глотками опустошил поднесенный стакан.

— Что тебе сердце говорит?

— Вчера оно мне сказала: ты, старик, уже у небесных врат.

— И что ты ему ответил?

— Я сказал: подожди, залью еще глоточек, а потом откроем ворота настезь — широко, широко.

— Не говори так, мне страшно.

— Чего там страшного, Налей еще немножко.

— Так тебе до утра не хватит.

— Как? Больше нет? Только одна?

— Только одна.

— Почему ты не можешь даже позаботиться обо мне?

— Как тебе не стыдно, — мягко сказала она. — Попробуй еще поспать.

— Не-е-ет, теперь я хочу поговорить с тобой. Поговорить со своей милой женушкой.

Он приподнялся, обвинил Лелде за шею и прижался головой к ее плечу. Обнявшись, они долго сидели молча. Вместе было так тепло и так хорошо, что Лелде не хотелось ни о чем думать — только бы вкусить сполна от этих минут, которые каждый раз были одни и те же и в то же время каждый раз были полны своим очарованием. Но незваные, откуда-то всплыли воспоминания: как весь этот год злобен и мрачен был Эдвард, как был резок с ней и детьми, как жесток, как нетерпим.

— Ты моя хорошая, милая женушка, — вкрадчивый голос нарушил нежное обаяние этих минут, — но если ты налешь еще немножко, будешь еще лучше.

Лелде налила. «Он роет себе могилу, а я ему помогаю», — с ужасом подумала она.

— Поставь бутылку здесь, у кровати, чтобы мне не надо было тебя беспокоить, — продолжал настаивать он.

— Ничего страшного, пусть постоит у меня. Может, ты хочешь чаю? Марта специально для тебя вскипятила.

— О, господи, — Эдвард понурил голову. — Она меня видела? Слушай, как я сюда попал?

— Раймонд привез тебя на машине.

— Ни черта не помню.

— И он был не лучше. Но ехать мог. А потом мы тебя дотащили до постели.

— Что Марта?

— Ничего, помогла.

— Ужасно, — Эдвард закрыл лицо руками, — этого я не переживу...

— Тогда не пей, если не можешь пережить. Но она держалась совершенно спокойно, я потом даже удивлялась.

— Если бы ты знала, как мне не хотелось, чтобы она это видела, если бы ты только знала... Как бы я хотел быть хорошим для всех вас, но у меня не выходит, у меня ничего не выходит, я такое дерьмо, последний подонок, — голос Эдварда прервался рыданиями.

— Тс-с-с, дети проснутся. Не плачь, подумай о своем сердце.

— Мне так плохо, что хуже и быть не может. Ты даже не можешь себе представить, как плохо мне было весь этот год. Ты же видела, каким я был, даже человеком себя называть не мог, — сказал он и, заметив, что Лелде утвердительно кивает, добавил, — нет, теперь со мной все в порядке. Ужасно, не правда ли? И знаешь, почему? — он прижался щекой к ее плечу. — Потому что сейчас я лучше всего тебя чувствую.

— Я тебя тоже.

«Имело смысл терпеть такой невыносимый год ради этой ночи и еще нескольких дней», — думала Лелде. Она чувствовала себя утомленной и сонной. Но она знала, что душа Эдварда открывается только в такие темные часы и тщетно ждать от нее чего-либо в светлое время, как бесполезно требовать от ночных бабочек, чтобы они летали днем.

— Я всегда тебя любил, — прошептал Эдвард.

— Я тебя тоже. Но теперь очень, очень сильно... Я тебе всегда буду помогать, пока ты жив.

— Ты проживешь дольше меня.

— Я знаю. Только не надо...

— Налей еще.

Лелде подчинилась.

— Слушай, а ты сама не хочешь?

— Ты что, с ума сошел?

— Слушай, Лелдинь, а ведь мы могли бы разочек выпить на пару, а?

— Иди, иди, брось дурачиться, — засмеялась она.

— Но ты хоть раз-то пригубила? — спросил Эдвард, зная, что Лелде никогда этого не делала.

— Мне хватает и твоих похмелий.

— Я тоже от тебя хмелею. Не сиди так близко, а то я заставаю тебя еще раз отдаться мне, — он положил руку на живот Лелде. — Мне бы хотелось еще девчужечку. Девочки вырастут хорошими, не то что какие-то пьяницы. Наши девочки будут такими же хорошими, как и ты. Ой! — он прижал руку к сердцу.

— Плохо?

Она вытащила из кармана ночного халата таблеточку нитроглицерина и засунула ее мужу в рот.

— Господи, а что, если не пройдет?

— Пройдет, — медленно сказал Эдвард, — словно ножом ткнуло и вышло обратно. Йохайды, почки опять стали болеть.

— Я тебе дам ромашковый чай.

— Никакого чая, только водки.

— Ты умереть собрался?

— Уже все проходит, сейчас будет хорошо. Можешь уже наливать, только немного, чуть-чуть.

— Больше я тебе не дам, — строго сказала Лелде.

— Не дурачься, — поднял он голос, — ох, опять реза-нуло...

— Видишь, сердце тебя предупреждает. Оно говорит: хватит.

— Не-а, сердцу хочется поплавать, и ему нужно озерце вокруг, а если озерце высыхает, оно трепещет, как рыба на берегу. Понимаешь, какая система?

— А ты понимаешь, что умрешь, если будешь еще пить? — Лелде начала терять самообладание.

— Понимаю, — уступил Эдвард. Не голосу Лелде, а новому приступу боли — Принеси димедрола.

— Все, больше никаких лекарств. Димедрол действует на сердце.

— От нитроглицерина у меня давление повышается. Я не могу уснуть, — стал капризничать он.

— Я тебе дам теплой воды с медом. И больше ничего не получишь, ясно? Иначе я рассержусь.

— Я тоже рассержусь.

Все же он послушно выпил воды с медом, куда Лелде бросила таблетку аскорбинки.

VI

«Борьба еще не окончена», — подумал он, едва только открыв глаза.

К сожалению, Эдвард не мог кончить загула, когда он сам того хотел, а прекращал лишь тогда, когда все клетки тела выли и стонали: хватит! Рубеж этот был близок — болели почки, болело сердце, жгло в желудке — протестовал весь организм, это он ощущал, но в то же время чувствовал, что у него хватает еще сил немного выпить.

Лелде еще не проснулась к утренней дойке, когда Эдвард шаг за шагом уже ковлял к большаку. Он еще не знал, куда двинется, где достанет выпивку, но чувствовал неколебимую уверенность, что пустым не останется. Пусть даже весь поселок придется поднять на ноги.

«Кому я нужен в шесть утра? — думал он. — Никому. Да и кому я вообще здесь нужен? Только Лелде и детям. Только им». Сейчас, полупьяный, но уже полупротрезвев, он не боялся себе в этом признаться. Эдвард знал, что здесь многие его ненавидят, и знал — почему.

Известие, что он бросил пить, пронеслось по поселку как вихрь, что срывает крыши с домов и ломает верхушки деревьев. Никто в Пиргниеках не пользовался такой отвратной репутацией, как Эдвард. Все выпивали в компании по два, по три человека, мирно болтая при этом. Так пить Эдвард не умел. Он вообще не умел пить, как большинство мужчин, которые, с вечера поддавая, утром поднимались и шли себе. Они умели и пить, и работать. Эдвард же — не умел ни того, ни другого. Он пил периодами. Два, три, четыре месяца жил себе мирно, не притрагиваясь ни к кружке пива, ни к бокалу шампанского, но когда начинал, пускался в загул на много дней, не просыхая, не зная границ и меры, теряя стыд и самоуважение, унижая окружающих, лаясь с мужчинами и приставая к женщинам. Эдварду надо было сходить с ума, неважно, где и с кем. В поисках компании он шлялся из одного дома в другой, втягивал в выпивку тех, кто только что с ней покончил, и поднимая тех, кто приходил в себя с похмелья. Он являлся как господин бог к тем, у кого не было ни копейки на бутылку, и как нечистая сила к тем, кто только приходил в себя, дав и себе и жене обещание хоть день прожить нормально. Если кто-то не хотел выпить с ним, Эдвард доходил до белого каления, ругался, рвался в драку. С другой стороны, если кто-то являлся к нему с поллитрой, Эдвард захлопывал перед ним дверь. Денег он тоже никогда не одалживал. Потому что в те месяцы, когда не пил, не хотел иметь никаких дел с выпивохами. В Саннишах он никогда не вязывался ни в какие истории и компании, ни с кем не водился. Свой дом он держал в строгости, в то время, как в других позволял себе все, что угодно: требовать водки, кланчить снотворное, куражиться, располагаться на ночлег. Когда Питерниек начинал пить, все шло кувырком, через пень-колоду, как попало.

«Если Карлис еще дрыхнет, разбужу», — решил Эдвард. Слава богу, старик уже завтракал. Взяв литровую банку с самогоном, Эдвард сказал, что деньги занесет на будущей неделе. И еще спросил: сам не хочешь приложиться? Иди, куда шел, — невестка Карлиса открыла двери, — еще чего не хватало, уже с семи утра являются!»

За углом дома Эдвард опустошил добрую половину. Стало не лучше, на что он рассчитывал, а еще хуже. Он ощутил слабость в области сердца и снова покрылся

потом с головы до ног. «Это, наверно, конец, — пронеслось в мозгу, — но главное — сохранить банку». Он осторожно наклонился и поставил ее на землю. И сам сел рядом. «Почему я валидола не взял с собой?» Так он сидел в оцепенении, сам не понимая, чего ждет — то ли смерти, то ли расслабления. Понемногу организм пришел в себя. «Пора кончать гудеж». Но все же домой он не собирался. Стремление было сильнее. «Ну еще сегодня — и все». Эдвард добрал до старых Питерниек и болтался по ним час за часом, время от времени тупо прикладываясь к банке. Ему больше уже никуда не хотелось двигаться, он чувствовал себя страшно уставшим, хотел завязать, но не мог. «Завтра, завтра», — каждый раз, поднимая стакан, повторял он.

Лелде чувствовала, что муж явится этим вечером. Когда ему становилось плохо с сердцем, долго он выдержать не мог — это она знала. День сменился вечером, а Эдварда все не было. Лелде взволнованно бродила по дому, и ни одну работу не могла довести до конца.

«Может быть, кто-нибудь его побил? Может быть, он попал под машину? Или у него сил не хватило, и он свалился на обочине, как в тот раз?»

В тот раз зимним вечером Лелде возвращалась из магазина. Она уже почти добралась до Саннишей, как заметила, что в снегу чернеет нечто, напоминающее человеческое тело. Прибавив шагу, она подошла поближе. В морозном воздухе потянуло густым запахом водки. «Кем бы он ни был, нельзя дать человеку замерзнуть», подумала она и включила фонарик. Это был Эдвард. Лелде знала, что осенью он пришел из армии и уже довольно долго отмечает возвращение. Она прикинула, что Эдварду, скорее всего, кажется, что лежит в кровати: ей доводилось слышать, что в снегу тепло.

Лелде волокла его не менее получаса. Взвалила на постель и закрыла двери. Сама она легла в другой комнате и долго ждала прихода сна. Около полуночи она услышала стонущие звуки: Эдварда рвало. Она засунула голову под подушку, вопрошая себя: чего ради я сюда его притащила? Но тут же вскочила на ноги и открыла дверь. Эдвард лежал точно так, как Лелде себе и представляла — на спине. Она знала, что в таком положении легко подавиться и задохнуться. Преодолевая отвращение, она неловко перевалила Эдварда на бок и выскочила из комнаты. Ею овладело какое-то волнение и, не в силах уснуть, она пыталась понять его причины.

Утром она увидела чисто вымытый пол. Эдвард сидел, понурился голову.

— Доброе утро, — робко сказал он, на мгновение вскинув глаза.

— Доброе утро, — с той же робостью отозвалась она, чувствуя странное, ранее незнакомое ей стеснение в груди. После этого наступила тишина.

— Я вскипячу чаю, — сказала Лелде, не зная, что говорить.

— Не стоит. Мне вообще стыдно тут сидеть. Я только хотел бы поблагодарить.

— Может, все же выпьете чаю? — еще раз спросила она, подумав: «Наверно, не стоит второй раз предлагать. Получается, что навязываюсь».

— Ладно, мне спешить некуда.

— Мне тоже. У меня выходной. — С каждым словом смущение ее росло.

— Никак сегодня воскресенье?

— Воскресенье.

— У меня в голове все перепуталось.

— Ага, — согласилась она, внезапно подумав: «До чего я робкая, не могу даже разговор поддерживать».

Они сели пить чай, Лелде чувствовала, что она не может больше, не может чувствовать себя раскованно, не знала, куда девать руки, не знала, улыбаться или быть серьезной, говорить или молчать. Она заметила, насколько у нее неухоженные руки, как грязен передник. Она быстро стянула его и больше не притрагивалась к кружке с чаем.

— Ты, можно сказать, спасла мне жизнь, — выдавил

из себя Эдвард, — Я помню только, что не мог больше идти, свалился и тут же отключился.

— Я не знаю... Ты там лежал в снегу, и я подумала... как же это так... не знаю... «Что за глупости я говорю», — подумала она.

— Ну ладно. Пойду.

— Опохмелиться? — улыбаясь, спросила она и тут же испугалась: «не слишком ли я иронизирую?»

Эдвард помотал головой. Неловко простившись, он ушел, унеся с собой мир и покой Лелде.

Оставшись одна, она долго сидела у окна. Потом взяла книгу, но через четверть часа оторвалась от нее, заметив, что не перевернула ни одной страницы. Стала шить, но стежки шли с трудом — пальцы дрожали. Хотела прибраться дом, но все валилось из рук: мешали постоянно всплывающие воспоминания. Наконец она нашла себе приятную и успокаивающую работу. Допоздна топила печь.

«Больше он не придет. Он слишком красив для меня. Нельзя и думать о нем и на что-то надеяться». Она подошла к зеркалу, в первый раз попробовав посмотреть на себя словно бы чужими глазами. В зеркале отразилось простое лицо, в котором ничего нельзя было назвать красивым — ни глаза, ни нос, ни изгиб губ. Подстриженные темные волосы, которые никогда не были ни кудрявыми, ни волнистыми. Фигура, — это да, стройная, но стройности не хватает выразительности, не хватает грации. И ноги, как на грех, тридцать девятиго размера. «Дубина, — констатировала она, — живи себе, девочка, спокойно дальше и ни на что не рассчитывай». И весь вечер она повторяла себе слова: он не придет, он не придет.

«Что в нем такого, что привлекает меня? Только выразительные глаза и симпатичная физиономия?» — спрашивала она себя ночью. Лелде догадывалась, в чем дело, точнее, знала ответ яснее ясного, но могла признаться себе только в мыслях. «Я с ума сошла. Ищу то, от чего все бегут. Наверное, я в самом деле ненормальная. Это и мама говорила». От этих мыслей ее пробрала дрожь, и сон отлетел окончательно. «Надо все забыть и спать», — сказала она себе и решила считать до тысячи. Выговаривая каждую цифру, она видела в снегу силуэт Эдварда. На краю дороги, тут же, недалеко от Спнишей.

Эдвард пришел на следующей неделе, через неделю снова и стал заходить все чаще и чаще. Как-то вечером, когда он собрался уходить, Лелде вплотную подошла к нему и, встав на цыпочки, прошептала: оставайся у меня. И тут же сама перепугалась.

Когда уже вставал рассвет, он спросил у Лелде, не хотела бы она выйти за него замуж, и Лелде тут же сказала — да. А ты не боишься, спросил Эдвард. Чего? Меня, объяснил он. Ни капли. Но ведь я считаюсь пьяным. Я-то себя возьму в руки, но неужели ты совсем не боишься? Нет, я все знаю, что меня ждет, — сказала Лелде.

Непонятно почему, но ей опять пришла в голову мысль, что он снова свалился на обочину. Когда она стала одевать Лауру, Марта спросила:

— Идем за папой?

— Идем. Одевайся ты тоже. И быстро, — нервничая, ответила Лелде. Они вышли на мороз. Марта взяла с собой фонарик и светила им во все стороны, не оставляя без внимания ни один участок обочины дороги.

«Она думает о том же самом, — озноб пробежал по спине Лелде. — Неужели я говорила слишком громко? Не может быть. Значит, Марта чувствует Эдварда так же хорошо, как и я. Она так добра и отзывчива, но — почему же меня это так пугает?»

— Дай мне сестричку, теперь я понесу ее. А ты отдохни, — приказала Марта.

— Ты устанешь, доченька.

— Ты же устаеть. Ну дай же!

— Пусть она побегает ножками.

Излучина леса осталась далеко за спиной. Очертания Спнишей уже нельзя было разглядеть, но Эдварда нигде

не было видно. Лаура стала ерзать и хныкать; вцепившись в отворот пальто Лелде, она тянула его.

— Сестренке спать хочется, — сказала Марта.

— Давай еще походим, может быть, он где-нибудь около шоссе.

— Походим, — сказала Марта. — Я понесу сестренку. Лелде сама взяла Лауру на руки и внезапно остановилась.

— Что случилось, мама?

Лаура стала хныкать, сначала тихонько, а потом все громче, и хныканье начало переходить в плач.

— Мапочка, что с тобой?

— Если он лежит у шоссе... как же мы его дотащим... здесь такой длинный кусок. Как мы его дотащим до дому? Ах, господи, горе-то какое, горе... — Лелде заплакала.

— Я тебе помогу! Только не плачь. Папа сказал, что теперь мы тебе должны помогать, — Марта прижалась к матери, — я и сама его дотащу.

— Не говори глупостей, детка.

— Дотащу! Ты увидишь. Ну идем вперед.

— Подожди, отдохнем, успокоимся.

Она вытерла слезы уголком платка, но они лились безостановочно. Хныкала и Лаура, по всей видимости, почувствовав что-то неладное. Не плачь, не плачь, укачивала ее Лелде. Не плачь, укачивала Марта мать. Тесно обнявшись, они стояли посреди дороги, чувствуя тепло друг друга, тепло, заботу и нежность. «Так и будет всю жизнь, — подумала она, — я вместе с детьми, а Эдвард вечно в холоде и грязи, измученный, несчастный».

— Идем вперед, мамочка.

— Идем.

Марта вполголоса затянула какую-то грустную мелодию. Двигалась она так же быстро, как и Лелде, с фонариком в руках перебегая от одной обочины до другой. И наблюдая за ней, Лелде почувствовала, что сейчас она беспокоится больше за дочь, нежели за мужа.

«А если и Марту ждет такая же судьба? — спросила себя Лелде и содрогнулась от представшей перед ней картины. — Мое дитя, жена пьяницы, грубый муж, унижения, волнения, страдания, вечное беспокойство. Нет, никогда, не допущу... Но ведь ты сама ее так воспитываешь — папу надо жалеть, не надо его ругать, он болен, ему трудно, нам нужно быть терпеливыми, нужно помогать ему, прощать все. Может, и она окажется не в состоянии полюбить нормального человека и будет мечтать о мужчине, для которого она будет больше матерью, нежели женой. Так же, как и я искала в Эдварде своего отца. Хотелось бы, чтобы Марта была более счастлива, чем я, но... разве я чувствую себя несчастливой?»... Поток ее мыслей прервал шум мотоцикла, донесшийся откуда-то издалека. Эту развалюху она узнала по звукам, она принадлежала старому Питерниеку. Отец вез домой своего сына.

VII.

Во время первого общего обеда после долгих дней воздержания Эдвард не ел ни мяса, ни картофеля, только чуть поклевал крохи творога, не в силах проглотить хоть кусок.

— Поешь хлеба, чтобы силы прибавилось, — сказала ему Лелде.

— Не хочу, — проворчал он осипшим голосом и подумал: «До чего меня раздражает ее оптимистический тон и сияющие глаза».

— Чего же ты тогда хочешь?

— Вареное яйцо. И помягче.

— С похмелья яйца не стоит. Послушай меня, поешь хлеба, ну хоть ломтик.

— Я тебе отрежу, папа, — предложила дочка.

Эдварду хотелось от стыда провалиться сквозь землю. «И Марта видит, как у меня руки трясутся».

— Спасибо, — сказал он, беря кружку молока и шар-

кающими шагами направляясь в самую дальнюю комнату, которую он сам называл вырезвительем.

Когда Эдвард оказывался в ней, и Лелде и дети знали, что они не должны там появляться. Раньше эта комната была темной и мрачной — серые стены и тяжелая коричневая мебель. Все эти годы Эдвард отлеживался в ней, маясь с похмелья. Но как-то после загула, не в силах выносить больше мрачность своего вырезвителя, он провел в нее свет, выкрасил потолок, стены и мебель белой краской.

Теперь, валяясь с открытыми глазами, он с отвращением смотрел на свою работу. «До чего отвратно — как в больнице. Закрывать глаза. Что я сделал? Что я натворил? — чтобы ни о чем больше не думать, он твердил эти слова, как строчки стихов. — Может, в этот раз ничего такого не отколол? Помню только начало у Гунтара и завязку у Раймонда, и как сердце схватило. А где мое пальто и пиджак? Кольца тоже нет, наверно, где-то посеял. Что за Лайла была, с которой я танцевал и целовался? Неужто в самом деле целовался с женой Гунтара? Господи Иисусе... — выдохнул он и натянул одеяло на голову. — Опять оскрамился на всю округу. Стыд какой... Стыдно и Лелде, и детей. Марта уже все понимает. Почему никто меня не упрекает? Почему не плачут, не просят, чтобы я не пил? Станный ребенок. Как я просил когда-то своего старика: пап, обещаю что никогда больше пить не будешь. Как говорил матери: вырасту большой и вылью в море всю водку».

Эдвард с трудом поднялся и стал бродить по комнате. Подошел к зеркалу. В нем он увидел осунувшиеся, долго небритые щеки, впавшие глаза и пунцовые губы. Открыв рот, он высунул язык — тот был обложен белым. Все, как обычно, подвел он итог. Услышав детское щебетание на кухне, он заткнул уши пальцами. За окном показалась собака, прижала морду к стеклу. Никак снова хозяйина увидела. Эдварду показалось, что животное смотрит на него с непонятной ненавистью. Он повернулся к собаке спиной и, сгорбившись, сел снова.

«Мне тут отвратно, как в тюрьме, хочу на волю,» — появилась у него желание, но он знал, что не в состоянии пройти и ста метров. Шаги были неверными, ноги подгибались — он чувствовал себя еще совершенно разбитым. На сон тоже не было надежды. Эдвард маялся уже вторые сутки. Время от времени поднимаясь, он послушно выпивал принесенное Лелде молоко, тащился в будочку туалета, потом чистил зубы, прополаскивал рот и снова ложился давить ухо, чтобы потом пить молоко снова и снова, стараясь очистить желудок.

«Может, выпить димедролу? Нет, назавтра будет дурная голова, до понедельника не выдержу, рехнусь». Читать не тянуло, да он и не мог, это было давно известно. Он не мог сосредоточиться даже на самой легкой книжке, мысли текли сами по себе, и у Эдварда не было сил, повернуть их течение.

— Что мне с собой делать? — он снова рухнул в постель, натянул одеяло на голову, и тело его стало содрогаться от всхлипываний. Он вспомнил, как Лелде в свое время пыталась выяснить, нет, не упрекая его, а просто спрашивая: я в самом деле не понимаю, почему ты все это делаешь, если знаешь, что потом будешь так мучиться?

Лелде казалось, что такие поучения высокого порядка могут оказать воздействие на Эдварда, его душу.

Он ответил: этого не поймет никто, кто сам не пил. Сам он даже не пытался ничего объяснить жене, считая, что алкоголики — это какое-то особое племя, живущее в своем мире, в который нормальному человеку нет и никогда не будет доступа. Но теперь он и сам не мог ответить на простой вопрос: зачем?

«Зачем я начал все снова именно сейчас, через год? Но ведь другого выхода не было, я себе это уже уяснил». Вывод этот чуть успокоил его, и несколько минут он лежал в умиротворении.

«Да и чего я, в самом деле, переживаю? Свое малодушие, свою слабость... Что еще?.. — Эдвард почувствовал сму-

щение, видя, что не может выстроить в стройный логический ряд те моральные причины, что привели его к похмелью. — А может, это отвратное ощущение — всего лишь химическая реакция на алкоголь? Почему другие не мучаются? Пьют себе и в ус не дуют. Нет, все же самобичевание — это хорошая вещь, не будь его, я бы окончательно деградировал. Как папаша. Но до него я не опускаюсь. Скорее отдам концы. Жизнь у меня удалась. И без алкоголя вытянуть не могу, но и он требует от меня слишком много.

Вешаться не стоит: больно. Лучше всего перерезать вены. Я знаю, как это сделать — не полосовать руки, а точно по вене, острой бритвой. И опустить руку в теплую воду, так лучше будет идти кровь, потом придет слабость, бессилие, сонливость... ага, перед тем надо выпить таблетки три димедрола. План стоящий. Не может не получиться. Когда? Сейчас у меня нет сил даже точно попасть по вене. Завтра. Духу не хватит. Сегодня самый тяжелый день, когда проще всего это сделать. Да, надо сегодня. Сил нет больше мучиться. Но новой бритвы нет. Со старой может не получиться. Не возьмет.

... Но Лелде, одна в этом холодном мире. Родится малыш, который будет знать отца только по фотографиям. Если я покончу с собой, нервы ее не выдержат. Хорошо еще, если она найдет порядочного человека, который будет ее уважать. До чего ужасен эгоизм, свойственный человеку. Но именно поэтому мне это и надо сделать. Где бы раздобыть острую бритву? Может, Лелде купила новые? Спрошу у нее. Нет, она сразу же все поймет и весь день не будет отходить от меня. Не могу смотреть ей в глаза. Эгоцентрик, сверхчеловек. Но что делать, если моя жизнь идет куда сложнее, чем у нее. Единственный выход — это смерть. Смерть освободит меня от всего — от душевных мук, от чувства вины перед Лелде, от эгоизма. Как только земля меня еще носит? Такое дерьмо.»

Отчаяние расширялось, становилось все беспрощетнее, пока окончательно не покрыло Эдварда своим черным крылом. Он знал, что ощущения, связанные с похмельем, так же, как и во время пьянки, самые точные, самые справедливые.

«Но почему, когда я в здравом уме, я так боюсь смерти? Чего ради я целый год бегал, занимался гимнастикой, не пил кофе и не курил? И как я перепугался, когда внезапно умер Илмар.»

Илмар был одноклассником Эдварда и собутыльником. «Он пил с четырнадцати лет, я — с шестнадцати. Может, просто у него было плохое сердце», — так в прошлый раз Эдвард успокаивал себя, зная, что и своим он не может гордиться. Даже если он долго не прикладывался к бутылке, нередко он чувствовал резкий укол в левой стороне груди. «Может, невроз? Какой-нибудь нерв застудил?» — думал он поначалу, но затем, когда боли стали отдаваться под лопаткой и до локтя немела левая рука, Эдвард больше ни в чем не сомневался.

Вспоминая Илмара, он припомнил, что известие о его смерти Лелде принесла в больницу. Вспомнил он и то, как Лелде ездила к нему дважды в неделю, каждый раз привозя с собой вкусную домашнюю еду — вареную картошку со свиной и с соусом. За два часа долгого пути еда еще сохраняла тепло, потому что Лелде закутывала кастрюлю в газеты и обматывала полотенцем. Растрогавшись, Эдвард не мог подавить выступившие на глазах слезы.

В памяти у него всплыли обе эти короткие встречи: Лелде могла быть у него не больше получаса, чтобы успеть к автобусу — ей надо было подоить корову, позаботиться о детях. Он вспомнил, как стоял у окна, провожая жену взглядом. Ему всегда хотелось приотворить окно и крикнуть слово, которое он так любил: Лелде! Но окно открыть было невозможно. Сжав кулаки до побеления, он так колотил ими друг о друга, чтобы хоть на мгновение боль заставила его забывать о душевных муках.

Как-то раз, когда Эдвард провожал Лелде взглядом, он услышал рядом с собой скрипящий голос: «Видать,

любишь ты свою бабу». Эдвард оторвал лицо от стекла: это что такое? Этот толстый размякший мужик осмелился назвать его Лелде бабой! Эдварду показалось, что от возмущения его разорвет на куски. Баба! Гнусная ты, старая развалина! И все тут такие! У Эдварда вызвали отвращение эти увядшие личности, застарелые алкоголики, он с омерзением слушал их рассказы, как каждый из них поддаст, едва только выберется отсюда, грязные разговоры о женщинах, черный цифир, который они варили по ночам, втихую от врачей и сестер, зловоние, исходившее от них и от всей больницы.

«Мне только двадцать девять лет, — думал он, — и если я буду пить дальше, то мне придется проводить тут всю жизнь, как завязтому преступнику — пару месяцев на свободе и опять за решетку. Я не хочу этого. Никогда больше не буду пить. Я тебе это обещаю, милая моя, любимая Лелде».

Это было единственное светлое пятно в той сумасшедшей ужасной жизни — думать о Лелде и в тишине говорить с ней.

VIII

Эдвард сидел на раскладном стуле на воле перед домом и пытался читать газету.

«Может, уже война началась? — промелькнула мысль, потому что он не имел ни малейшего представления, что за эти дни произошло в мире. Он открыл «Циню», но с чтением ничего не получалось. Отложив газету, он занялся дыханием. Медленно и до предела набирая в легкие свежий воздух, он пил его как ароматное вино.

«Целый год прожил в трезвости, но никогда не ощущал такой кайф от свежего воздуха, — думал он, — хоть из-за этого имеет смысл выпивать». Ощувив прилив бодрости, он снова взялся за газету, но через минуту опять отложил ее. С чтением ничего не получалось. В груди было постоянное беспокойство, зрело желание начать новую чистую жизнь; хотелось делать что-то хорошее, но он не знал, что именно; он был полон желания творить добро, чтобы до конца искупить свою вину. Первым делом Эдвард решил купить колясочку будущему ребенку и обeim девочкам — красивые игрушки. Он уже было собрался поехать в рай-центр, но вспомнил, что сегодня воскресенье. «Может, двинуться в Ригу? Если бы знать, что «Детский мир» открыт... Может, в самом деле поехать? — спросил он сам себя и тут же ответил: — эх, как ты загорелся. Что ты мечтаешь о Риге, если даже двигаться по-настоящему еще не можешь. Пойду лучше помоюсь.»

Хотя Эдвард утром уже помылся, он с удовольствием повторил эту процедуру. Надел чистую рубашку, протерся одеколоном, тщательно обрезал и почистил ногти. Он вспомнил тот понедельник, когда столь же тщательно собирался, готовясь идти в гости к Гунтару. Но от этих неприятных воспоминаний ему удалось быстро избавиться. Он заставил себя наслаждаться пришедшим к нему чувством свежести.

«Чувствую себя прекрасно, просто прекрасно, но — кому я могу рассказать об этом великолепном чувстве чистоты?.. Я бы никогда не смог подняться, если бы предварительно не падал бы. Только пьянство дает эту радость — каждый раз снова возрождаться к жизни. Разве не так? И как ни крутись, от этого никуда не деться. Так почему же меня терзают моральные сомнения?» — Эдвард решил пройтись по лесу и там все выяснить для себя.

— Немножко погуляю, — сказал он жене.

— Я пойду с тобой.

— Не бойся, никуда я не денусь.

— Я боюсь, что в одиночестве ты свихнешься от своих мыслей.

«Она видит меня насквозь», — подумал Эдвард и сказал:

— Одеваемся.

В лесу было спокойно. Лес не ухмылялся, не осуждал,

не упрекал. Только сейчас он заметил, как все изменилось — зима стремительно отступала, во многих местах снег уже стаял, не блестел на солнце, и воздух отдавал весенней свежестью. Пришло старое ощущение, которое всегда посещало Эдварда после загулов — что его вообще не было на свете эту неделю.

— О чем ты думаешь? — спросил Эдвард.

— Я думаю, почему ты такой милый и покладистый, когда выпьешь, и такой злой, когда трезв. Никак понять не могу.

— Потому что я все время борюсь с собой. Переживаю что не могу жить как нормальный человек. И это меня мучит. Понимаешь?

Вдруг Эдвард остановил Лелде и быстро сказал:

— Посмотри, что там за птичка на ветке?

— Где? — Лелде подняла голову.

В это мгновение губы их оказались совсем рядом и, легонько качнувшись, они припали друг к другу, все теснее, и все пропало вокруг, остались только их горячие губы, рот, язык, которые жадно искали друг друга.

«Его душа по-прежнему остается для меня тайной, — думала Лелде, когда они снова двинулись. Он принадлежит алкоголю, а не мне. Десять лет я спешу за ним по пятам. Как мы жили бы, если бы он не пил? Страшно подумать... И если у меня угаснут чувства к нему, что тогда?..»

— А теперь ты о чем думаешь — посмеиваясь, спросил Эдвард. — Обо мне?

— О чем же еще думать?

— И я о тебе думаю. Что у меня самая лучшая жена на свете. Чего нельзя сказать о ее муже.

Лелде грустно усмехнулась. Эдвард ждал возражений, что он самый лучший, но не дождался.

«Будь она у меня такая же скандалистка, как у других алкашей, я бы ушел от нее. Или бы повесился. Но даже чтобы покончить с собой, я слишком труслив. Да, я люблю ее, но за что? — внезапно ему показалось, что надо выяснить то, что выяснить нельзя — это самое важное. — Потому ли, что ее отношение ко мне, ее чувства — словно примочки на мои раны? Она любит меня такого — трусливого, слабого, безвольного, и я чувствую, как растет мое самоуважение. Так ли? К черту! Что я маюсь такими идиотскими мыслями? Нам хорошо — и все. Лелде облегчает мои страдания. Никому другому это было бы не под силу. Почему же я так плохо отношусь к ней? Но алкоголизм — такая же болезнь, как и все остальные, так что человек в этом не виноват.»

Без сомнения, он чувствовал безграничное счастье, когда обнимал Лелде, но еще лучше он себя чувствовал, когда прижимал бутылку.

Эдвард еще раз остановил жену и поцеловал ее.

— Мне ужасно хочется есть, — прошептал он ей на ухо.

— С ума сойти! — на ее лице отразился просто ужас. — Сколько времени?

— У меня на руке часов нет. А что ты так волнуешься?

— О детях. Им же давно уже хочется есть. Ах, господи, как это у меня все из головы вылетело?.. Идем скорее! — прибавив шагу, она потащила Эдварда за руку.

— Я не могу так быстро, Лелде! — капризно сказал он и приостановился.

— Теперь никак не меньше пяти. Лауре давно уже пора есть и спать.

— Ты так переживаешь, словно мы за сто километров от дома.

— А ты опять думаешь только о себе. Возьми себя в руки и идем. Как ты будешь работать, если не можешь даже двигаться?

— Может, завтра вообще не пойду на работу — вызывающе сказал он и ухмыльнулся ей прямо в лицо.

— Начинается! Только и радости от тебя, что в эти пару дней. Только тогда ты человек. Ладно, не будем ссориться, — примирительно сказала она.

Оба молчали. Эдвард шел насупившись. «Она права.



РИСУНОК АНИТЫ КРЕЙТУСЕ

Только стали возвращаться силы, только стал все понимать, и снова веду себя как осел. Как я мог забыть о детях?»

Ему хотелось сказать Лелде что-нибудь мягкое и нежное, но вместо этого, непонятно почему, он с ехидцей сказал:

— Чего ты так вскинулась? Марта уже покормила Лауру и уложила её спать. Она же видит, что ты теперь мною занята.

— Как тебе только не стыдно, — горько сказала Лелде.

«Стыдно», — про себя подумал Эдвард, но промолчал.

— Прости, — он обнял Лелде за плечи, — я хотел сказать совсем другое, но у меня все не получается.

— Вся жизнь у тебя так.

Придя они увидели, что Марта покормила и убаюкала сестричку, помыла посуду и накрыла на стол.

— Ужасно хочется есть, — еще раз сказал Эдвард Лелде.

— Папочка! — Марта подошла к нему и прижалась. — Ты теперь будешь дома? У тебя будет время? Будет?

Эдвард кивнул.

— Я тебе покажу свои рисунки, ладно? — она кинулась в комнату и тут же вернулась. — Ну, посмотри, правда, красиво?

— Мгм, — промычал Эдвард.

— Ты же совсем не смотришь!

— Подожди, дай мне поесть, — Эдвард мягко отодвинул дочку, не отрываясь от тарелки с супом.

— А, — отозвалась Марта, продолжая стоять рядом, — ты еще не видел мой табель.

«И это я забыл — она же закончила третью четверть.»

Марта вскарабкалась к отцу на колени, показывала табель, попеременно болтала что-то о школе, о подружках, о каком-то мальчике, о Лауре, но он слышал только отдельные слова, не понимая смысла.

— Пойдем сегодня на горку? Там еще много снега. Пойдем? Ладно?

— Попозже. Ближе к вечеру.

— Но обязательно. Обещаешь?

«Такие, как я, не должны заводить семью», — подумал он, глядя дочку по головке и не находя в себе сил посмотреть ей в глаза. Лелде стояла в углу кухни и наблюдала за Эдвардом. Почувствовав ее взгляд, он поднял глаза и только теперь заметил, как она округлилась.

— Как ты себя чувствуешь?

Лелде грустно засмеялась.

— Поль больше не мой. Пусть Марта это делает, — неловко сказал он, подумав: «Как только она меня еще не пришибла?»

— Может ты еще что-нибудь хочешь поесть?

Неплохо было бы вылизать и баночку сметаны. И меду. И ржаного хлеба. И изюма, для сердца.

— Смотри, не переешь, плохо будет, — предупредила она. — Просто фантастика, что ты с такой же целеустремленностью восстанавливаешь здоровье, с которой его губишь.

Пять дней у Эдварда не было ни крошки во рту, и он так объелся, что перехватило дыхание, и потянуло лечь на диван. Он выпил таблетку панангина.

— Ну, папочка, пойдем сейчас на горку? — неслышно подошла Марта.

— Нет сил, дочка, переел, — честно признался он.

— А завтра?

— Завтра мне на работу, — сказал Эдвард, прикрывая глаза и скрепя руки на груди.

«Доведись мне сейчас умереть, был бы я удовлетворен прожитыми годами? — спросил он себя. — Без сомнения. Напрасно я себя мучаю, что, мол, всего лишь существую, а не живу. И перед смертью смогу голову отдать на заклатие, что ощутил все, что только человек может. Душа моя была и в раю, и в аду. Душа моя жива, а у непьющих — она оконечная. У них она все время чувствует себя так, как у меня было весь этот год. Жалко мне непьющих, они и представить себе не могут, какую гамму чувств дает алкоголь. Я ни капли, совершенно,

ничуть им не завидую. Ничуть. Жизнь у них скучная, прямая и неинтересная. Да и сами они со своим непоколебимым убеждением, что живут правильно, неинтересны. Они не знают, что такое сладкое чувство возрождения к жизни, ибо никогда не поднимались к ней из грязи. Да и воздух сам собой вливается в их легкие, и они не знают, что значит пьянеть от него. Болваны! Ненавижу их тупость, которая так и читается на их самоуверенных лицах. Ненавижу!

Не сходи с ума, успокойся, сказал он себе, чувствуя, что ладони становятся влажными и судорожно сжимаются в кулаки. — Все равно ты умнее их. Есть только одна жизнь, в которой никогда раньше меня не существовало и после смерти никогда больше не будет, и в это короткое мгновение, что отпущено человеку, надо испытать все ощущения, которые суждены. Без этого исчезнет ощущение полнокровности жизни. У меня было все. Хватит, не стоит переживать. Дни мои беют куда лучше, чем у тысяч других. Сумасшедшая жизнь куда лучше упорядоченной, нормальной. Даже в этом бреде есть свой кайф — падать лицом в грязь и подниматься, падать и снова вставать», — так он успокаивал себя, зная, что грянет новый загул, новое похмелье, и все начнется сначала.

Лелде только теперь начала чувствовать облегчение. Постепенно уходило напряжение прошедшего дня. Она была счастлива, что запой пришелся на свободную неделю, а не на рабочие дни, как случилось. Тогда Эдвард, едва только придя в себя после попойки, купил бутылку коньяка и поехал в поликлинику райцентра. За бутылку врач ему выдал бюллетень. Лелде было противно это жульничество, и сам врач был противен. Когда Эдвард пожаловался на боли в сердце, так ответил: «Сердце болит только, если не пьешь, когда пьешь, ничего не беспокоит. У меня тоже так». Во всяком случае, лишь благодаря помощи врача Эдварда не выгнали с работы, хотя, что там говорить, все коллеги знали, что за болезнью приключилась с Питерником. Поэтому Лелде не терпела жульничества Эдварда в ресторане. «Но иначе мы не проживем, — спорил он с ней, — на твою маленькую зарплату почтальона и столь же небольшую зарплату официанта.»

Она чувствовала столь огромную усталость, словно она сама шла все эти дни. «Ему уже больше нельзя дать его тридцати лет, — думала Лелде, глядя на постаревшее лицо мужа, и она знала, что и сама выглядит старше своих лет. — Он стареет на глазах, и я опускаюсь вместе с ним. Каждый его запой слишком дорого обходится моим нервам. Эти бесконечные заботы: где он? что с ним? вечная неизвестность... Зачем был нужен третий ребенок? Ни на секунду не сомневаюсь, что он не бросит пить. Запой... Еще не хватает, чтобы он пропадал на пять-шесть месяцев, как в молодости...»

Но теперь уж точно будет, как в последние годы повелось — месяц он на зависть трезвый, неделю гудит. И опять в больницу, если не будет другого выхода... И так всю оставшуюся жизнь, ах, господи... Покой мне только снится. Все болезни от нервов. Ведь и я могу умереть рано. Но дети, дети, они же одни останутся...

— Как мы будем жить дальше? — с горькой безнадежностью спросила она.

Эдвард пожал плечами. Он чувствовал, что жена не ждет от него ни клятв, ни обещаний. Но он знал, что пить уж он не бросит никогда. И только надежда, что когда-нибудь он все же освободится от своей страсти, придавала его жизни смысл.

Перевел ИЛАН ПОЛОЦК



ЭЙНАРС ПЕЛШС

Есть муза, вдохновение, поздний свет.
Торопится прохожий: муж, сын.
Думают читатели: сон, сплин.
Я знаю, что поэзии еще нет.

Родится искра, строчка, и будет рань.
Муза, вдохновение, будет толк.
Подумают читатели: золото, шелк.
Ах, милые, поймите: это все — дрянь.

хвоя вечнозеленая грусть
листья вечноалые губы
что за деревья в лесу

в глазницах спуют синицы
кашель ворона: nevermore
три воробья подпевают: amoug
у правого виска вмятину
ищет дятел
душа точно птица в листе
(хотя что за уют
птичьего молока не дают)
затылок застыл как ствол
рука запуталась в кроне
один как дерево
маленький домик
паре синичек
семье ресничек
цепким паукам ладоней

хвоя вечнозеленая грусть
листья вечноалые губы
высохшие деревья
вдоль дороги
как деревянные боги

время открыть глаза
я раздвигаю капрон дымчатых штор
и обращаюсь к окну:

жмут на педали едут
лезут в песочницу копошатся
маленькие светло-зеленые и голубые
пальтишки — — — — —

нет — я не умею смотреть
я закрываю прозрачный футляр занавесок
я вижу лишь несуществующие
светло-зеленые сны и синий кошмар
и если закрою веки уже навсегда
ничто не изменится
будут задернуты шторы — — — — —
нет я не вижу того что происходит вокруг
слишком велико давление крови
у моего внутреннего зрения глаукома

(см. «Глаукома»)



lyrikos

состояние
между жил и умер
нас нет но мы
видим что происходит вокруг
нас (здесь читатель
осматривается и заглядывает
в себя: мерцание образов)
это так называемая
клиническая поэзия
лирическая смерть

прежде влюбляются наши глаза
потом влюбляются наши руки

губы
тела

наши жизни влюбляются одна в другую
наши жизни сходятся в ненависти к нашей смерти
но те обе давно влюблены
уже слились в нескончаемом

взгляде
ласке
поцелуе
объятии

от темной бессонницы к светлому бреду
к светлому бреду след в след
к тому еще бреду

по тем еще бедам
из тех еще бредней вырваться ет
тем еще берегом

с той еще верой
встретиться
выдержать tête-a-tête
сквозь те еще спины

сквозь те еще глины
сквозь ту еще нежность мимо, ну нет!
от темной бессонницы к светлому бреду
солнцем свободы путь обогрет

Перевел СЕРГЕЙ МОРЕЙНО



Эгонса Ливса можно отнести к «авторам одной книги». Хотя были замечены критикой уже первые небольшие сборники его рассказов «В открытом море» (1962) и «Прелюдия» (1964), а после повести «Капитан Ноль» (1963) он стал признанным писателем. И все же подлинную популярность и любовь всего народа принес Эгонсу Ливсу роман «Близнецы Чертова Кряжа». Имя писателя стало известно во всей стране и в странах социалистического лагеря.

Герой романа Каспар Каулс, которого окружающие прозвали за сильный и независимый характер «Чертов Кряж», — это была огромная удача писателя, сумевшего противопоставить ужасам войны простые, но вечные, коренящиеся в народном сознании истины — о том, что нельзя губить жизнь, о том, что хлеб нужно зарабатывать своими руками, о праве жить на своей земле и делать свое

дело. Чертов Кряж не философствует, не предаётся размышлениям — он просто живет, и в нечеловеческих условиях он живет и действует по принятым в его краю нравственным законам.

Эгонс Ливс так говорит о своем романе: «Как возник замысел? Если откровенно — я чувствовал необходимость рассказать о тех, кто не сражался на фронте. В суровые военные годы были ведь не только бои, героизм, страх и смерть. Люди еще и любили друг друга, ведь рождались дети...»

Этот сильный рыбак, в котором, по мнению литературоведки Нины Воробьевой, ярко отображены существенные черты латышского национального характера, кажется, пришел из самой жизни, оттуда, где жил и сам Эгонс Ливс, и потому он так близок и дорог сердцу писателя: «Я его в одиночку не выдумывал... Ведь и герой романа мыслит. Надо только довериться ему всем сердцем. И это компенсирует все мучения, всю сердечную дрожь, даже слезы, — словом, все, что сопровождает в пути каждого писателя, если он полюбил своих героев и делит с ними радости и горести».

Действие романа обрывается в очень драматичный момент — к Каспару Каулсу врываются вышедшие из леса вооруженные мужчины и заставляют его переправить их на лодке в Швецию. Первоначально писатель собирался продолжить роман, рассказать о судьбе оставленных Каспаром близнецов. Но замысел не был осуществлен — пришло время честно и открыто писать об этом трудном и трагичном этапе народной истории. Как сказал автор: «Я прервал работу над второй частью романа. Я пообещал продолжение, до конца не осознавая, с какими трудностями столкнусь. Конец сороковых годов — очень сложный период в истории нашего народа, и я пока еще не нашел возможности раскрыть его».

В последние десятилетия на творчество Эгонса Ливса неблагоприятно повлияли «приработки» на Рижской киностудии. Там «ушили в песок», измельчали многие интересные замыслы, там впустую или с минимальными художественными результатами было потрачено время и энергия: «Поэтому не появляются в печати ни рассказы, ни романы. Все свободное время отнимает кино. Много литературных произведений принесено на алтарь кинематографа».

Время от времени в каком-либо журнале или газете рассказы все же появляются, и перед нами снова «старый добрый Ливс». А самые главные и значительные произведения так и остались ненаписанными, многое еще не рассказано...

ХАРИЙС ХИРШС

ЭГОНС ЛИВС

ТМИННЫЙ ЛИКЕР

Посвящается Карлису С.

Собрание кончилось поздно. Несмотря на строгий запрет, мужчины в последних рядах снова тайком закурили — в воздухе плавала синяя дымка, из-за которой рефлекторы набрасывали на сцену пыльную кисею.

У входа, громко переговариваясь, толпились люди.

— Ну, Луце, — затрубил на все помещение зычный голос, — можешь теперь по воскресеньям «Голубой огонек» глядеть, хоккей всякий... Слышишь, Луце?

Торопясь скорей выбраться на свежий ночной воздух, я еще раз оглянулся. Единственная женщина в нашем цехе, уборщица Луце, стояла посреди зала и, как горячую

картофелину, перекаладывала из руки в руку «пожизненный пропуск» — книжечку в синей обложке.

«Не надо будет теперь Луце в конце года продлевать в отделе кадров свой пропуск» — уже стоя под теплым ночным небом, подумал я почему-то. Пожизненный пропуск. Сегодня Луце последний день сгребала в цехе железную стружку, сваливала ее в старые замасленные ведра и носила через двор на свалку. В последний раз она сегодня в обеденный перерыв принесла молочные бутылки и раздала их рабочим...

Потому в последний раз, что завтра Луце будет уже



пенсионеркой, потому что Луце уже старая и сегодня ей вручили пожизненный пропуск, чтобы она в любое время могла приходить в свой цех...

Но молоко тогда будет носить уже другая и стружку таскать через весь двор другая — молодая. А что старой Луце здесь делать? Человек свой трудовой век прожил, в последний день ему, как драгоценность, наконец вручили пожизненный пропуск, подарили телевизор и... что дальше?

Я и сам не мог сказать, почему на меня вдруг навязалась такая тоска. Мне же всего тридцать лет. Тридцать... Ровно столько, сколько Луце проработала в нашем цехе.

Я уже открыл дверцу своего разбитого «Москвича», как из темноты появился мастер Дамбис. Наш мастер крепкий мужик. Низкий и коренастый как дуб на краю болота, и оба сына его точно такие же приземистые, мускулистые и такие же несловоохотливые, как отец. Дамбису уже пора на пенсию, но он все не может решиться, хотя у него в кармане была бы синенькая книжечка, чтобы мог приходить на завод, когда захочет. Не так, как сейчас, — только с семи до половины четвертого, если не свалится какое-нибудь собрание или провода на пенсию, вот как сегодня.

— Залезай, мастер! — распахнул я дверцу. Дамбис постоял, поглядел в открытую машину, словно думая какую-то старую думу, потом прошел пару шагов и набычившись, свирепо пнул переднюю шину. В ярком свете фар я впервые заметил, как Дамбис постарел. Морщины на лбу отбрасывали усталые тени, глазные впадины глубокие-глубокие, а складки от скул до уголков

рта напоминают давно зажившие, но еще саднящие рубцы.

Мотор работал, машина слегка подрагивала, Дверца все стояла открытой, и по ногам моим уже пополз холодок. Но я не торопился: надо же человеку когда-то постоять вот так, никого не видя, думая какую-то думу, которую нельзя отложить на дальнейшее время, а отложить нельзя потому, что человек уже стар, что времени-то ему немного отпущено...

Я видел, как Дамбис закинул голову и, глядя в чистое ночное небо, глубоко вздохнул, потом подался вперед, как тяжеловес, полный решимости взять еще не взятую крепость. И только тогда пошел к сиденью. Молча сел в машину, захлопнул дверцу и, не глядя на меня, буркнул:

— Вот такие дела, шпендрик... Поехали!

Но я не поехал. Я вдруг вспомнил, что оставил в клубном зале портфель с термосом. Пробежав через темный двор, я распахнул дверь. Свет в зале еще не выключали. Я с минуту постоял на пороге зажмурясь, а когда открыл глаза, то не сразу пошел за своим термосом.

Мне тридцать лет, и я еще никогда не видал одиночества. Те редкие часы, когда я, не зная, куда деваться от своих мыслей, искал человека, который согласен взять у меня сигарету и выкурить ее вместе со мной, — эти часы еще не одиночество, это я понял только сейчас, глядя на нашу уборщицу Луце. От люстр на полированный телевизор падал спокойный, холодный свет. Такой же бесстрастный белый свет покрывал глазурию белые хризантемы, которые спали у груди Луце, как три усталых пуделя.

Заметив меня, Луце тепло и благодарно улыбнулась.

— Хлопот-то вам со мной. — И точно одного меня ожидала, она принялась собираться. Пудели у ее груди превратились в хризантемы.

Чувствуя, как у меня защипало глаза, я обхватил телевизор.

— Сюда идите . . . Луце, — кивнул я в сторону машины.

— Ой, господи, да куда же с таким почетом! . . . — прошептала Луце, но я услышал тихое удовольствие в ее голосе.

— На машине . . . да что я, барыня какая . . . — Теплый старческий смех прошелестел, точно молочная пена в кружке.

Заметив сидящего в машине Дамбиса, Луце приостановилась.

— Откройте дверь, мастер, — оперев телевизор о колесо, сказал я.

Дамбис не шелохнулся. Набывчившись, он делал вид, что не замечает нас. Я видел его толстую, крепкую шею, и мне захотелось выругаться.

Всю дорогу мы ехали молча. Луце за спиной сидела неподвижно, и только время от времени до нас доносился вздох, осторожный и невольный.

Возле дома Луце, когда я с телевизором в руках уже стоял на каменном приступке, Луце осторожно тронула мое плечо и с каким-то несчастным видом кивнула на машину. Потом, не ожидая ответа, вернулась к ней, и я услышал ее голос, робкий и приглушенный:

— А ты . . . Матис, не зайдешь ко мне? Только на минутку, пока Янис этот аппарат установит? Матис . . .

— Здесь подожду, — буркнул Матис таким голосом, будто у него денег просят.

Комната встретила нас приятным теплом и смолистым запахом. За натопленной печкой, как остро отточенные карандаши, торчали тонко наколотые горбыли, наполняя комнату запахом далекого леса. Пока я ставил телевизор и подсоединял антенну, Луце, не раздеваясь, пристроилась на стуле и устало смотрела куда-то мимо меня. Когда экран засветился и появилось лицо диктора, я, не зная, что делать дальше, остался стоять в затемненном углу комнаты.

Луце была далеко отсюда, далеко от мерцающего экрана. Сложив руки, она смотрела на свои сведенные ревматизмом пальцы, точно видела их впервые.

Я взял со стола пустую вазу, набрал в кухне из ведра воды и поставил хризантемы. Но уйти я не мог. Чтобы выйти, мне надо было сперва проститься, потревожить далеко забежавшие мысли Луце, вот я и задержался.

О чем я думал? Я вспоминал замасленные ведра, полные металлической стружки, вспоминал часто слышанные и читанные слова о спокойной седой старости, видел в ярко освещенном зале одинокую старую женщину, которая сидела рядом с полированным телевизором, прижав к груди хризантемы, напоминавшие усталых пуделей, и . . . и что еще? Больше ничего, потому что на доске взявших повышенные обязательства исскать имя уборщицы Луце, выложенное из пенопластовых букв, было напрасно. И на собраниях рационализаторов она не бывала. Что я знал о грузе лет и тяжелой работы, согнувшем эту женщину? Знал, что она старая дева и по воскресеньям ходит в церковь . . . Об этом обмолвился в цехе кто-то знающий. Старая дева со скрюченными от работы пальцами, из-под ногтей которых, как мне кажется, никогда не выведется чернота от проклятого машинного масла . . .

Вдруг Луце встала, платок ее соскользнул с плеч, и, повернув голову к двери, она посмотрела на меня ясным радостным взглядом. На лестнице слышались шаги. Вот они стихли, и через минуту кто-то стал нащупывать дверь. Долго и несмело чьи-то пальцы нашаривали дверную ручку, долго-долго . . . И вот дверь открылась. На пороге стоял Дамбис. Зло и необычно он смотрел в пол, и его всегда повелительный голос чуть слышно дрожал, когда он сказал:

— Вот же идол — оставил человека в машине, а сам пропал . . .

Луце не смотрела на Дамбиса, глаза Луце были прикованы ко мне. Спокойные и теплые, как глаза матери, они словно говорили мне: «Вот видишь, Янис, а ты все тужил . . .» Потом она сняла с Дамбиса пальто, взяла у меня из рук шапку и повесила на вешалку.

— Присаживайтесь — нельзя же таких гостей без



угощенья отпустить. — Луце подошла к старому коричневому комоду. Скрипнул ящик, точно далекие бубенчики, звякнули хрупкие рюмки.

Я все стоял в сумрачном углу комнаты и думал о добрых глазах Луце.

Что-то далекое и хрупкое было в них, что-то такое, чего не выразить словами, что нельзя вернуть, как нельзя вернуть детство...

Я выключил телевизор. Теперь в комнате слышались только легкие шаги Луце, звон посуды, звяканье ножей и вилок и шумное дыхание Дамбиса. Старый мастер сидел повесив голову и свирепо сверлил глазами тонкую вышивку скатерти.

— А это у меня с давних-давних времен, — осторожно, самыми кончиками пальцев Луце поставила на стол граненую бутылку с залитым сургучем горлышком.

— Тминный ликер! — Я озадаченно взял необычную бутылку и стал изучать этикетку. Скрипнул под Дамбисом стул. Не мигая, он смотрел на бутылку в моих руках, и можно было подумать, что он только что проснулся от долгого сна и теперь не соображает, что творится вокруг.

— Это же еще довоенная штука! — Читая пожелтевшую наклейку, я чувствовал себя археологом, который в складе «Союзутиля» нечаянно обнаружил бронзовый топор древних латышей.

— Да... — застенчиво сказала своим тихим голосом Луце. Она сидела в конце стола, облокотившись на уголок, разгладившая кончиками пальцев одной ей видимые складки на скатерти. — Это единственная бутылка водки, которую я за всю жизнь купила...

— Ха-ха-ха... — засмеялся я. В первый раз за весь вечер у меня стало весело на душе. — Да это же не водка, Луце... Тут же ясно написано «Тминный ликер». Ликер!

— Я купила ее давно, тридцать два года назад, — все еще не отрывая глаз от скатерти, тихо сказала Луце. — Тогда как раз раков ловили. А раки, говорят, хороши под тминную водку.

— Но это же не...

Я не успел закончить, со стула встал Дамбис. Его толстые, покрытые мелкими шрамами пальцы потянулись к граненой бутылке. Долго он крутил ее в руках, прочитал этикетку, пощелкал ногтем по серому сургучу, и мне показалось, будто Дамбис сквозь граненое стекло хочет уловить таинственный аромат напитка.

— Может, ты откроешь? — Луце вскочила и засемила к коричневому комоду. Когда она вернулась с кривым крючком, вделанным в деревянную ручку, Дамбис уже поставил бутылку на стол и снова сидел набычившийся и угрюмый, точно вся эта возня с тминным ликером его не касалась.

Луце чуть заметно улыбнулась. Но это была грустная улыбка, напоминающая бабье лето, когда солнце еще греет, но листья с дерева падают и без ветра.

— Может, ты, Янис, попробуешь? — И Луце протянула мне через стол пробочник.

От долгого хранения ликер засахарился. Когда его разливали, он слегка тянулся, как это бывает с забродившим березовым соком. Я поднял рюмку и уже открыл рот, как сообразил, что мне нечего сказать. Но Луце смотрела на меня. На губах ее была все та же грустная улыбка, только глаза смотрели добро и выжидательно, и я сказал самые первые слова, которые пришли в голову:

— За тебя, Луце. Дамбис, черт бы тебя взял, что ты сидишь как на похоронах?

Дамбис свел брови, поднял рюмку и взглянул на меня: — Какая она тебе Луце? Молод ты еще так ее звать. Луция, к твоему сведению. Лу-ци-я!

Ликер немного отдавал мылом, и конечно, тмином. После первой рюмки разговор не вязался. Не вязался и после второй. После третьей меня охватило такое желание закурить, что даже закружилась голова. Мысли начали путаться, и, наверно, только поэтому я, к своему собственному удивлению, спросил:

— Как же ты теперь одна жить будешь?

Луце встала, подошла к окну и посмотрела на темный двор. Тускляя лампочка еле освещала вереницу дворовых сарайчиков. Больше ничего там не было. Потом она плотнее задернула занавески и вернулась к столу.

— Одна говоришь... Так ведь я привыкла. Вот тогда-да... — Ее взгляд остановился на Дамбисовой липкой рюмке.

— Когда это тогда? — Мне все так же хотелось курить, и я, чтобы сдержать слюну, предпочитал говорить хоть что-нибудь.

— Давно это было. Тогда я эту бутылку купила... Потом пошла на нашу фабрику. Все же легче было. Мастер не хотел меня брать, ха-ха... Тогда он...

— Пошли! — прервал ее Дамбис на полуслове. — Хватит. Пора по домам!

Пока Дамбис надевал пальто, я старался внушить Луце, как включать телевизор, но она сидела у стола и улыбалась своей непонятной осенней улыбкой.

— Спасибо, — машинально твердила она. — Спасибо, что вы обо мне подумали. И Матис тоже... Одной мне бы с этим ящиком не добраться...

Дамбис уже стоял в темном коридоре.

— Будь здорова, Луце! — крикнул он с лестницы. — Теперь ты на пенсии, и нечего тебе больше в цех ходить. Смех один, будто в ведра со стружкой влюбилась. Слышишь — не ходи! Чтоб я тебя там не видел!

Простился и я. Держа сухую, натруженную руку Луце, я хотел сказать ей что-нибудь хорошее, что-нибудь такое, что бы она могла вспомнить, влача свое одиночество. Может, пообещать, что я как-нибудь загляну к ней, помогу... ну хоть горбыля наколоть... Но так ничего не сказал, ничего не пообещал, потому что понимал — не загляну больше сюда никогда, а сказал только:

— Ну, Луце, пусть тебе хорошо будет!

Светлый прямоугольник двери провожал меня все время, пока я спускался по ступенькам.

Дамбис уже сидел в машине. Пока я заводил мотор, он напряженно изучал темную улицу. Когда машина двинулась, я вдруг услышал его сердитый голос:

— Водка у тебя дома есть?

— Водка? Должна быть...

— Я заверну к тебе. Дома все одно делать нечего. — И мы поехали ко мне.

* * *

Мы пили «горный дубняк» — горькое питье, крепкое и обжигающее. Пили молча, каждый думая о своем.

— Чертова бражка! — буркнул было Дамбис, указав на бутылку. — А все же сволочи люди, — помолчав опять, процедил он.

— Не все же, — сказал я и подумал о старой Луце.

— А вот я сволочь! — Дамбис налил водки в стакан для томатного сока и выпил одним глотком. — А я вот сволочь, — упрямо повторил он.

Мне хотелось сказать, что он старый брюзга и что пить он уже не силен. Но не сказал.

После полуночи Дамбис стал расхваливать своих сынов. В два часа ночи я узнал, что свою жену он никогда не любил, что сам не может понять, чего он тогда к ней так привязался...

Когда мы прощались, он посмотрел на меня старческими усталыми глазами.

— А тминный ликер ты когда пил? — Вся злость и неприязненность в голосе его куда-то делась. Со мной говорил старый, многое повидавший на веку отец двух сыновей. — Не пивал? ... А ведь Луце в понедельник опять придет в цех, я ведь знаю, что придет, ведь это меня она ждала тридцать лет... Для меня купила тот ликер. Понял, для меня!

И Дамбис ушел по темной улочке, к своим сыновьям и жене, которую не любил целых тридцать лет...

Я ЗНАЮ, ЗАЧЕМ ИДУ ПО ЗЕМЛЕ

«Честность — это все-таки первый талант, ствол для любой ветки (...) Кошунственно заниматься дурного вкуса вышиванием гладью вместо того, чтобы на своем месте своими неповторимыми руками штопать дырявые носки своего времени».

Это из первого интервью, взятого у Александра Башлачева корреспондентом журнала ленинградского рок-клуба «Рокси», недоверчиво шедшим на встречу с новоявленным «самородком». Тогда, в марте 1985 г., только приехав в Ленинград, Башлачев сразу стал звездой, автором «Времени колокольчиков» (это стихотворение вышло в этом году в журнале «Юность»): «Если нам не отлили колокол, значит, здесь время колокольчиков».

Большая часть его песен уже была написана, последние года полтора он не писал. Время АССЫ и тотальной игры — здоровой реакции молодежной культуры и культурной молодежи на перестройку — его парализовало. Даешь АССУ! — возглас тусовки на концертах прошлого сезона и тот же возглас в почтенной публике нынешнего официального торжества АССЫ — в нем не звучал. Нет, он вовсе не был чужд, он жил в этой среде, но время коллективизации в культуре выталкивало одиночек — не из жизни, не со сцены, просто каждый художник может только этот, а не другой воздух материализовать, оплодотворить человеческим кодом. Суперменство, успех, коммерция — нормальный, собственноручно, воздух городского имперского социума — был для него волшебным миром кино, аквариума, зоопарка, т. е. уже искусством.

Он родился и жил в Череповце, закончил Уральский университет, ну и три года в обеих столицах, не имея дома, все, что было, — гитара в лоскутном кожаном чехле, без всякого саквояжа, одежды одна на одну на себе — кажется, ему было все равно, жарко или холодно. Но это не был имидж, ощущение «жизни как истины в черновике» делало его поэтом, а не героем.

«Башлачев — крупнейший поэт рок-культуры» — написала «Театральная жизнь» (№ 12, 1987, единственное упоминание в официальной прессе при отсутствии при жизни каких-либо публикаций и дисков). Ему пророчили будущее нового Высоцкого. Аналогия ближайшая: «Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать», — «зачем» на каком свете им находится — знают призванные. «Хочу увидеть время, когда мои песни станут не нужны» — кто передал тебе, Сашенька, эту не подкрепленную жизнью и потому святую веру, что наступят времена, из которых исчезнет все то, о чем ты пел!

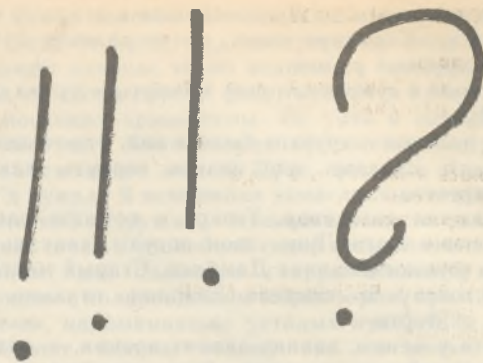
17 февраля 1988 г. он полетел с восьмого этажа среди бела дня и снега, светило солнце, он полетел и исчез из вида. Многие ощутили, осознали это как черту. Ему было 27 лет. На прощанье он записал четыре строчки:

И труд нелеп, и бестолкова праздность,
И с плеч долгой все та же голова,
Когда приходит бешеная ясность,
Насилуя притихшие слова.

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА

апрель 1988 г.

АЛЕКСАНДР БАШЛАЧЕВ



АБСОЛЮТНЫЙ ВАХТЕР

Этот город скользит и меняет названия,
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет, а на ней нету здания,
Где всю ночь правил бал Абсолютный Вахтер.

Он отлит в ледяную нейтральную форму.
Он тугая пружина. Он нем и суров.
Генеральный хозяин тотального шторма
Гонит пыль по фарватеру красных ковров.
Он печатает шаг, как чеканят монеты,
Он обходит дозором свой архипелаг.
Эхо гипсовых горнов в пустых кабинетах
Вызывает волнение мертвых бумаг.

Алый факел — мелодию в белой темнице —
Он несет сквозь скучную гармонию стен.
Он выкачивает звуки резиновым шприцем
Из колючей проволоки наших вен.

В каждом гимне — свой долг, в каждом марше — порядок.
Механический волк на арене лучей.
Безупречный танцор магаданских площадок.
Часовой диск-жокей бухенвальдских печей.

Лакированный спрут, он приветлив и смазан,
И сегодняшний бал он устроил для вас.
Пожилой патефон, подчиняясь приказу,
Забирает иглой ностальгический вальс.

Бал на все времена! Ах, как сентиментально!
И паук — ржавый крест — спит в золе наших звезд.
И мелодия вальса так документальна,
Как обычный арест, как банальный донос.

Как бесплатные танцы на каждом допросе,
Как татарин на вышке, рванувший затвор.
Абсолютный вахтер — ни Адольф, ни Иосиф,
Дюссельдорфский мясник да псковской живодер.

Полосатые ритмы синкопой на пропуске.
Блюзы газовых камер и свинги облав.
Тихий плач толстой куклы, разбитой при обыске,
Бесконечная пауза выжженных глав.

Как жестоки романы патрульных уставов
И канцонеров концлагерных нар звукоряд.
Бьются в вальсе аккорды хрустящих суставов
И решетки чугуночной струною звенят.

Вой гобоев ГБ в саксофонах гестапо
И все тот же калибр тех нот на листах.
Эта линия жизни — цепь скорбных этапов
На незримых и призрачных, жутких фронтах.

Абсолютный вахтер — лишь стерильная схема.
Боевой механизм, постовое звено.
Хаос солнечных дней ночь приводит в систему
Под названием. . . Да, впрочем, не все ли равно.

Ведь этот город скользит и меняет названия,
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет, а на ней нету здания,
Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.

КОГДА МЫ ВДВОЕМ

Когда мы вдвоем
Я не помню, не помню, не помню о том
На каком мы находимся свете

Всяк на своем.
Но я не боюсь измениться в лице
Измениться в твоём
Бесконечно прекрасном лице.
Мы редко поём
Мы редко поём
Но когда мы поём, поднимается ветер
И дразнит крылом
Я уже на крыльце.

Хотя смерть меня смерть
Да хоть держись меня, жизнь —
Я позвал сюда Гром
Вышли смута, апрель и гроза
Только ты поверь —
Если нам тяжело, не могло быть иначе
Тогда почему, почему кто-то плачет!
Оставь воду цветам
Возьми мои глаза

Поверь — ты поймешь
Как мне трудно раздеться когда тебя нет
Когда некуда, некуда, некуда деться
Поверь — и поймешь
То, что я никогда
Никогда уже не смогу наглядеться
Туда, где мы могли бы согреться
Когда будет осень,
И осень гвоздями вколотит нас в дрожь.

Пойми — ты простишь
Если ветреной ночью я снова сорвусь с ума
Побегу по бумаге я
Этот путь длиною в строку, да строка коротка
Строка коротка.
Ты же любишь сама
Когда губы огнем лижет магия
Когда губы огнем
Лижет магия языка.

Прости — и возьмешь
И возьмешь на ладонь мой огонь
И все то, в чем я странно замешан
Замешано густо.
Раз так — я как раз и люблю,
Ох, вольно кобелю!

Да рубил бы я сук
Я рубил бы всех сук, на которых повешен
Но чем больше срублю
Тем сильнее затяну петлю.
Я проклят собой.
Осиновым колом — в живое.
Живое восстало в груди
Все в царапинах да в бубенцах
Имеющий душу — да дышит! Гори — не губи...
Сожженной губой я шепчу
Что, мол, я сгоряча, я в сердцах
А в сердцах-то я весь!
И каждое бьется об лед, но поет
Так любое бери и люби
Бери и люби.

Не держись моя жизнь —
Смерть вряд ли измеришь.
И я пропаду ни за грош
Потому что и мне ближе к телу сума.
Так проще знать честь
И мне пора уходить следом песни, которой ты веришь
Увидимся утром
Тогда ты поймешь все сама.

ВСЕ ОТ ВИНТА!

Рука на плече. Печать на крыле.
В казарме проблем — банный день.
Промокла тетрадь.
Я знаю, зачем иду по земле.
Мне будет легко улетать.

Без трех минут — бал восковых фигур.
Без четверти — смерть.
С семи драных шкур — шерсти клок.
Как хочется жить! Не меньше, чем петь.
Свяжи мою нить в узелок.

Холодный апрель. Горячие сны.
И вирусы новых нот в крови.
И каждая цель новой ближайшей войны
Смеется и ждет любви.

Наш лечащий врач согреет солнечный шприц.
И иглы лучей опять найдут нашу кровь.
Не надо, не плачь. Сиди, и смотри,
Как горлом идет любовь.

Лови ее ртом — стаканы тесны.
Торпедный аккорд — до дна!
Рекламный плакат последней весны
Качает квадрат окна.

Эй, дырявый висок, да слепая орда.
Пойми, никогда не поздно снимать броню.
Целую кусок трофейного льда
Я молча иду к огню.

Мы — выродки крыс. Мы — пасынки птиц.
И каждый на треть — патрон.
Ну так сиди и смотри, как ядерный принц
Несет свою плеть на трон.

Не плачь, не жалей. Кого нам жалеть!
Ведь ты, как и я, сирота.
Ну, что ты! Смелей! Нам нужно лететь!
А ну, от винта! Все от винта!

ПАЛАТА № 6

Хотел в Алма-Ату — приехал в Воркуту.
Строгал себе лапту, а записали в хор,
Хотелось «Беломор». В продаже только «ТУ».
Хотелось телескоп. А выдали топор.

Хотелось закурить, но здесь запрещено.
Хотелось закирять, но высохло вино.
Хотелось объяснить. Сломали два ребра.
Пытался возразить, но били мастера.

Хотелось одному — приходится втроем.
Потом решил уснуть. Командуют «Подъем!»
Плюю в лицо слуге по имени народ.
Мне нравится БГ, а не наоборот.

Хотел перекусить — закрыли магазин
С трудом поймал такси, но кончился бензин.

Хотелось полететь, приходится ползти.
Старался доползти. Застрел на полпути.
Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти! —
За это мне грозят от года до пяти.

Хотелось закричать — приказано молчать.
Попробовал ворчать, но могут настучать.
Хотелось озвереть. Кусаться и рычать.
Пытался умереть — успели откатать.

Могли и не успеть. Спасибо главврачу
За то, что ничего теперь хотеть я не хочу.
Психически здоров. Отвык и пить и есть.
Спасибо, Башлачев. Палата № 6.

ВАДИМ ТОМАШПОЛЬСКИЙ

ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ

Подсекция бескрылых рассмотрела и в основном одобрила тезисы предстоящего доклада главного энтомолога по случаю Дня насекомых. В тезисах дана правильная и всесторонняя оценка жизни насекомых, определены и обоснованы пути дальнейшей эволюции класса беспозвоночных.

Погода у нас совсем скверная, зато климат в целом отличный, — говорили насекомые.

На заседании бюро заслушаны основные направления, положения и выводы доклада главного энтомолога на ближайшем праздновании Дня насекомого. Доклад единодушно одобрен участниками заседания.

А мы сами во всем виноваты, — говорили насекомые.

Инициативная группа членистоногих сообщила о начале эксперимента по выращиванию взрослой особи непосредственно из яйца и личинки, минуя стадию куколки. Социально-биологический эксперимент имеет огромное будущее.

Когда-то и погода была у нас хорошая, и климат, — говорили насекомые. Но зато уж такого прекрасного климата нет нигде!

Пленум научного совета положительно оценил представленный на его рассмотрение доклад главного энтомолога, посвященный будущему Дню насекомого. В докладе реалистически, всесторонне, глубоко научно освещена многогранная деятельность насекомых, даны ясные оценки как общих тенденций развития, так и его отдельных сторон.

А мы сами во всем виноваты, — говорили насекомые.

Главный энтомолог направил поздравление инициативной группе членистоногих энтузиастов выращивания взрослой особи, минуя стадию куколки. Ваш патристический почин заслуживает одобрения и поддержки, говорится в поздравлении. Полностью его текст публикуется на первых двух страницах газеты «Беспозвоночная истина».

Пусть ветры и тучи нас встретят в пути, нам климата лучше нигде не найти, — пели насекомые.

Начался отбор первых личинок — кандидатов на вы-

ращивание во взрослые особи, минуя стадию куколки. Свои яйца для участия в эксперименте предоставляют наиболее передовые насекомые. Пусть мое яйцо послужит будущему, — заявил членистоногий N, первым прийдя на пункт отбора кандидатов за двое суток до его открытия.

А мы сами во всем виноваты, — говорили насекомые.

Расширенное совещание актива рассмотрело и одобрило текст доклада, с которым выступит на Дне насекомого главный энтомолог.

Как стало известно, в отдельных местностях появились нездоровые настроения ускорить процесс эволюции, минуя сразу две стадии: личинки и куколки. Секретариат главного энтомолога разъясняет, что в данном случае налицо забегание вперед, которое должно быть повсеместно осуждено, как глубоко чуждое нашему обществу беспозвоночных.

Накануне Дня насекомого ведущая комиссия совета муравейников заслушала предстоящий доклад главного энтомолога. Доклад одобрен целиком и полностью.

Гнев и возмущение нездоровыми попытками отдельных насекомых перескочить процесс эволюции выразили собравшиеся на внеочередное заседание члены неформального объединения «Минус личинка». В ответ на эти чуждые нам происки решено организовать шесть новых неформальных объединений, что вдвое превышает плановые показатели.

«Подвиг насекомого», — так называется корреспонденция, опубликованная сегодня газетой «Беспозвоночная истина». Внезапно налетевшие с разных сторон цунами, смерч, самум и шквал смяли насекомого К., но прежде чем исчезнуть в вихре разбушевавшейся стихии, он успел гордо воскликнуть: наш климат — лучший климат в мире!

Попытка перескочить стадию личинки и куколки позорно провалилась, — сообщили для печати из секретариата главного энтомолога. Мы верили, что она позорно провалится, — заявили в ответ насекомые.

Сократим непомерные штаты, ведь мы сами во всем виноваты, — пели насекомые.

Большой подарок получил класс беспозвоночных в День насекомого. Получен рапорт о досрочном выращивании взрослой особи из личинки, минуя стадию

куколки. Первым, добившимся этого высокого показателя, стало яйцо передового членистоногого N.

Сегодня, в День насекомого, с докладом, посвященным славному празднику, выступил главный энтомолог. Доклад был прослушан с большим вниманием и получил горячее одобрение собравшихся лучших представителей класса беспозвоночных.

На заседании секции рассмотрены результаты выступления главного энтомолога по случаю Дня насекомого. Отмечено, что доклад вызвал большой подъем и был полностью одобрен собравшимися.

Совет муравейников положительно оценил тот факт, что доклад главного энтомолога был целиком и полностью одобрен на заседании секции.

Бюро и научный совет с удовлетворением приняли резолюцию в поддержку положительной оценки результатов доклада главного энтомолога на праздновании Дня насекомого.

Погода у нас скверная, зато климат в целом отличный, — говорили насекомые.

1987 год

ИЗ ЖИЗНИ РЫБ

... И вот однажды рыбам разрешили говорить.

Как же это так, — недоумевали про себя рыбы, — столько жили без всяких разговоров и вдруг нате вам, такие сюрпризы. К чему бы это?

Разрешают — так извольте говорить! — подтвердили сверху.

Рыбы молча удивлялись странному установлению. При встрече они многозначительно помахивали друг другу плавниками и с иронией поджимали хвосты, что означало негласный протест и даже возмущение экстравагантными причудами вышестоящих.

Впрочем, вышестоящих ли? Скорее всего, это очередные происки проклятых сардин, думали рыбы. И чего этим сардинам неймется?

Рыбы возбужденно перемещались в воде, однако рты раскрывали по-прежнему беззвучно.

Ах так, — сказали тогда сверху — в таком случае мы вам уже не разрешаем говорить, а попросту и категорически приказываем!

И чтоб ни одна рыба не могла в дальнейшем, на следствии, вилить, прикрываясь незнанием приказа, сверху спустили на веревочке письменное указание: «Говорить — обязательно!»

Многовековой груз традиционного молчания сильно мешал рыбам. Но дисциплинированность оказалась еще сильнее. И рыбы заговорили.

— О чем бы нам с тобой потолковать? — громко спрашивала во время прогулки рыба рыбу, косясь на висящий рядом указ.

— Давай обсудим что-нибудь экологическое, — отвечала вторая рыба, — теперь это модно.

— И к тому же чрезвычайно актуально, — подхватывала первая рыба, после чего они принимались говорить о проблемах окружающей среды.

Из их беседы любой слушатель мог с совершеннейшей точностью уяснить не только ужасные размеры экологических бедствий, но и причину таковых: вредное воздействие струй из дальних морей и океанов. Выяснилось, что заморские сбросы пагубно отражаются на всей местной флоре и фауне, и что лишь на самой большой глубине еще сохранились не отравленные тлетворным влиянием оазисы былой чистоты и благолепия.

— И зачем это мы все тянемся выше, — сокрушалась первая рыба.

— На дно, на дно, лишь там незамутненные родники, — вторила ей собеседница, плавая почти у самой поверхности, — только туда и не проникли еще сардины!

— Да уж! Во все они суются. Вот выбить бы этим сардинам хотя бы по одному глазу. Зачем им два? И без того нахально смотрят. Скромнее надо быть!

Так, в приятной беседе, коротали время рыбы, незаметно для себя переходя от недавно объявившейся экологической проблемы к любимой теме обнаглевших сардин. И все шло бы дальше столь же складно, однако верха вновь оказались не удовлетворены.

— Не о том разговариваете, — сказали верха. — Что это вам так дали сардины?! Рыбы как рыбы. Они же не виноваты, что родились сардинами. Находите иные проблемы. Вскрываете. Критикуйте. И вообще!

— Кого критиковать-то? — совсем обалдев, спросили рыбы.

— А кого угодно! — ответили сверху.

— Что, ихтиологическое общество тоже? — ехидно поинтересовались рыбы.

— Можно, если критика в его интересах. И отдельных членов ихтиологического общества можно. И кандидатов в члены.

И вообще! Скоро вот будете щуку себе выбирать!

— Да что они там, совсем уж, что ли, — вольнодумствовали рыбы.

Однако, все так и получилось, как было сказано. Действительно, объявили выборы. На вакантную должность щуки президиум ихтиологического общества выдвинул двух щук, молодую и старую. Третью щуку на должность щуки было предложено выдвинуть самим рыбам.

Эдак мы и до парламента докатимся, — угрюмо роптали рыбы, — а в президентах у нас будет сардина...

Средняя щука собрала рыб в кружок, и подающий надежды щуренок выдвинул ее кандидатуру. Итого претендентов стало три.

На другой день соперники держали предвыборные речи. В мою программу, сказала старая щука, входит комплекс мероприятий, а важнейшее из них — создание фонда поддержки ихтиологического общества. Молодая щука в противовес предыдущей программе обосновала целесообразность создания фонда укрепления ихтиологического общества. Средняя же пошла еще дальше и в качестве радикальной меры предложила создать фонд помощи ихтиологическому обществу.

Голосовать пришлось четырежды, потому что рыбам одинаково нравились все кандидаты, и каждый из тура в тур набирал максимально возможное число голосов.

Тогда выступил подающий надежды щуренок и от имени средней щуки пообещал сразу же после баллотировки разобраться, наконец, с сардинами. Это и решило исход выборов. Старую щуку назначили первым заместителем средней, а молодую забрали в президиум ихтиологического общества.

Последнее обстоятельство оказалось роковым. Молодая щука и впоследствии примкнувший к ней щуренок пережили весь президиум. А, пережив, взяли и сорвали с веревочки письменное распоряжение «Говорить — обязательно!»

Старой щуке повезло, она к этому времени почилла в бозе, а вот средняя зажилась. Тут-то ей все и припомнили. Особенно старался бывшая ее креатура, ныне заматеревший щуренок. Установил, черт, и документально доказал, что никакая она не щука, а замаскированная сардина.

И все снова стало хорошо, тихо и спокойно. Рыбы молча плавали в воде, и о былых смутных временах напоминал лишь обрывок старой полусгнившей веревки, которую подрастающее поколение мальков принимало за остатки допотопного орудия рыбной ловли.

К ВОПРОСУ О ПРАВИЛЬНИЗМЕ

Все началось с того, что Первый шеф-повар принес в нашу столовую скатерть. На скатерти крупными красивыми буквами было написано, что она — самобранка.

Мы сразу поверили в эту скатерть. Поверили безоговорочно. Нашлось лишь несколько пессимистов — из тех, кто даже свой отменный аппетит объясняют наличием глистов. С ними нам было не по пути.

В первый период использования скатерти-самобранки возникли различные мнения о том, как ее следует застилать, чтобы появилось побольше кормов, а затем и яств.

Были люди, которые считали, что скатерть при этой процедуре необходимо держать за углы. Такие люди стали называться углистами.

Другие утверждали, что держаться нужно за середину каждой стороны. Их назвали середнистами.

Появились также сторонники метода, при котором скатерть-самобранку перед застилением следовало встряхнуть четыре раза. Они получили название четверистов. Некоторые сторонники этого метода настаивали на целесообразности двух-, трех-, и семикратного встряхивания. Соответственно своим заблуждениям они стали называться двоистами, троистами и семистами.

Наконец, Второй шеф-повар внес полную ясность в этот сложный вопрос. Он объяснил, что правильное использование скатерти-самобранки состоит в ее удержании собранными в кулак пальцами за самый центр, а встряхивания — это ложное, опасное и вредное учение. Теория Второго шеф-повара впоследствии стала известна как правильнизм, а те лучшие люди столовой, которые его придерживались — правильнисты.

Как я уже сказал, на скатерти крупными красивыми буквами было написано, что она — самобранка. Все, конечно, понимали определенную условность этой надписи. Лишь самый последний утопист и идеалист мог ожидать возникновения кормов и яств из ничего. Мы, правильнисты, отдавали и отдаем себе отчет в том, что чудес на свете не бывает. Сама по себе скатерть-самобранка может и должна принести расцвет нашей столовой лишь при упорном труде по правильному использованию ее преимуществ. А это означает, что каждый из нас должен настойчиво применять на практике теоретические основы эксплуатации скатерти-самобранки.

Поэтому коллектив столовой с большим удовлетворением воспринял полную и окончательную победу правильнизма. Мешавшие нам углисты, середнисты, двоисты, троисты и их жалкие отщепенцы-последователи были сметены железной метлой в главный котел, и о них более не вспоминали, чтобы не портить себе аппетит.

Скатерть-самобранка отныне застилалась исключительно правильнистами. Мы понимали, что появление на ней кормов и яств — это лишь вопрос времени. К этому периоду вера в скатерть-самобранку проникла наконец в самые дальние и темные углы столовой. Мы добились того, что и малограмотная посудомойка, и любой захудалый таракан осознали безусловную правильность правильнизма. Трудом и только трудом отвечал коллектив столовой понятным и естественным позывам каждого индивидуального организма.

Тем временем вокруг нас шла возня завистников из других столовых, кафе и даже ресторанов. Всем им не давала покоя наша скатерть-самобранка. За правильнизм пришлось бороться. Под руководством Второго шеф-повара мы разгромили враждебные точки обще-

пита, некоторые из которых договорились до того, будто их «правильнизм» правильнее нашего.

Нескольким точкам общепита, обращенным в нашу веру, мы передали фотографии скатерти-самобранки в масштабе 1:1, обучив своих новых друзей и единомышленников правильнистским методам ее использования.

Само собой, эта тяжелая борьба, а также отвлечение наших усилий на процесс фотографирования несколько отодвинули долгожданное появление кормов и яств. До полного торжества правильнизма приходилось вновь набраться терпения. Оптимальным способом противостояния разгоревшемуся аппетиту мы по-прежнему считали ударный труд, ибо только он способен ускорить плодonoшение скатерти-самобранки.

Третий, Четвертый и последующие шеф-повара творчески развили основополагающую теорию правильнизма. Оказалось, в частности, что скатерть-самобранку следует держать не правым кулаком, как ошибочно считалось ранее, а левым. Причем, как доказал Шестой шеф-повар, при этом необходимо обязательно приседать в процессе застипания и ни в коем случае не гладить скатерть электрическим утюгом, потому что такая технология снижает эффективность появления кормов и яств, а также отрицательно отражается на их качестве.

Впрочем, Седьмой шеф-повар, подтвердив безусловную правильность правильнизма, внес ценное уточнение. Оно состояло в том, что утюг может быть и электрическим, однако температура его нагрева не должна превышать 118,4 градуса.

Восьмой шеф-повар усомнился в этом утверждении и пытался обосновать повышение температуры чуть ли не вдвое с одновременным побрызгиванием на скатерть-самобранку дистиллированной водой, но эти воззрения, после его отставки, сочли ревизионизмом и единодушно отметили.

Сегодня, когда я пишу эти строки, в нашей столовой тихо, пусто и уютно. У нас стерильная чистота: грызуны и насекомые ушли из столовой еще при Третьем шеф-поваре.

Мы сидим в уголке, мечтательно глядя на нашу красу и гордость — нашу скатерть. Надпись, поясняющая, что она — самобранка, недавно обновлена, и крупные красивые буквы радуют нас, вселяя надежду и гордость за главное достояние столовой.

Последний шеф-повар объяснил причину всех предыдущих просчетов. Теперь-то мы знаем, что корма и яства появятся только тогда, когда мы сумеем правильно перевернуть скатерть-самобранку. Он поручил нам тщательно продумать технологию переворачивания. В этом и состоит истинный правильнизм. В этом, а также в упорном труде.

Шеф-повар сейчас отлучился. Когда он вернется, мы все вместе будем правильно переворачивать скатерть-самобранку.

Куда ушел? Он отправился поужинать в ресторан.

1987 г.

ПРОФИЛАКТИКА

Дюжина мелких чиновников от Я до Ф заходит в комнату своего начальника У. Здесь их уже ожидают. Помощников у У никаких нет, особых приспособлений тоже. В центре комнаты стоит грубое ржавое ведро, а в нем, лениво разбросав хвосты во все стороны, покоятся наготове розги.

Увы, это уже не те тонкие, гибкие, вымоченные в специальном составе прутья, которые подробно описаны у классиков, а нечто приспособленное, собранное из старых веревок, отработанных машинописных лент, полусгнивших перепачканных аксельбантов, бывших в

употреблении марлевых повязок и иного длинномерного мусора.

Чиновники от Я до Ф привычными движениями снимают с себя штаны, а две затесавшиеся среди них чиновницы — Э и Ш — юбки. Все ложатся рядышком, прямо на голый, еще не подметенный пол.

Сколько раз чиновники — и Я, и Ч, и Х, и ряд других членов коллектива вносили предложение перенести профилактику на внеслужебные часы, чтобы уборщица успела подмести пол, — а воз и ныне там! У начальника У вечно свои отговорки. Для блезиру ссылается на профсоюз, который якобы против переработки. Так ведь профсоюз — это они! И Я, и Ч, и Х, и ряд других товарищей. Профсоюз как раз и должен выражать их волю, защищать их интересы. Все это правильно, замечает в таких случаях У, но вы же знаете, что имеется еще особое мнение Ш и Ы.

Действительно, тут он прав. Есть в коллективе такие отщепенцы, которые, видите ли, не желают задерживаться после работы. Требуют проведения профилактики в рабочие часы. И они тоже члены профсоюза. Иначе я не успею забрать ребенка из детсада, — говорит Ш. А мне на вечерние курсы марксизма-ленинизма, — утверждает Ы.

Когда-то, в былые времена, У мог совмещать оба занятия сразу. На все у него хватало сил: и на битые, и на воспитательные речи. Родителя суббота, приговаривал тогда он, молодой и интересный, расхаживая по комнате и нанося вдумчивые чувствительные удары, — родителя суббота издавна введена не только в качестве наказания за совершенные деяния, но и как аванс за деяния предстоящие. Это славная традиция, братцы мои! Вы еще, допустим, и не согрешили, а возмездие уже нашло вас, уже отвратило души от задуманного...

— Где ответ на запрос из главка от шестого числа текущего месяца?! — внезапно взрывался он и адресовал персональный удар задумавшемуся о чем-то Ф, который и впрямь нерадиво отнесся к запросу.

Ныне все не так. Нет былого энтузиазма, нет горения тех звонких лет. Что касается У, то он больше говорит, чем делает. Недаром вон и по телевизору постоянно разясняют, что надо как раз наоборот: больше делать, чем говорить. Там, в телевизоре, знают обстановку. Понимают опасность расслабления.

Конечно же, У устарел и уже не тянет. Ударит эдак небрежно по двадцати четырем ягодицам сразу (а достанется-то, дай бог, пятнадцати, розги коротки), обойдет вокруг, еще разок смажет, задохнется от чрезмерных усилий и вновь сядет за свой стол, и вновь заведет обычное занудство, какие они все скверные работники. Одни общие слова. Ничего конкретного. Сплошная демагогия...

Поддюжины столоначальников, от У до 0, сгрудились в приемной товарища Н. Им назначено на 18.30, однако приема все нет и нет. Само собой, брюки они поснимали заранее, так уж у них принято, чтобы Н не тратил попусту время. Но вот некоторые, кто помоложе, форсят. Не надевают кальсонов. И теперь начинают потихоньку замерзать в трусах.

Уже 19.10. Да примут ли их сегодня?! Вы бы все-таки спросили товарища Н, как с нами будет, — просят они заведующего приемом. Тут вот группа товарищей, — ласково говорит в переговорное устройство заведующий приемом, — им как, — еще обождавать?

В 19.40 их допускают в кабинет. Заведующий приемом быстро расстилает на полу гимнастический мат, на котором не без труда размещаются пришедшие. С годами они, естественно, полнеют, а вот мат каким был еще во времена третьей пятилетки, таким и остался. Может даже несколько скукожился. Натурально, ведь не резиновый.

В группе товарищей нашелся как-то умник, некто П, предложивший купить вскладчину новый, более обширный мат. Но тогда душили инициативу. Не выступай, не возникай и не высывайся. А высунулся — не обесудь, получи полной чашей. Вот и перевели П в твердые знаки. И как он ни добивался потом персоналки союзного значения, ни черта у него не вышло.

Каких он только бумаг не насобирал! И что участвовал в изгнании наполеоновских полчищ, и что лично пленил адмирала Колчака, и что первым ворвался в Лиссабон в ходе не включенного в официальную историю сражения — ничто не помогло умнику. Так и остался на республиканской. Такие вот были времена. Это теперь распустился народ. То им пол грязный, то лежать жестко...

Между тем, товарищ Н выходит из-за стола и берет у заведующего приемом плетку. Затем товарищ Н с неожиданным и внешне немотивированным остервенением наносит первый десяток ударов по нижнему белью группы товарищей.

Относительно этого вопроса недавно поступило совершенно четкое, однозначное разъяснение: зады впредь не обнажать. В иные времена, усмехались ветераны, за такое попустительство вообще выводили бы из алфавита. А теперь — все можно. Вольница. Либеральничают нынешние. А ведь с нашим-то братом так нельзя. Нельзя-а-а. Мы плетку любим. Лю-у-у-бим.

Впрочем, кто-то, а Н — хорош! И свои задачи он понимает правильно. Лишнего не болтает. Сечет умело. И плетка у него не простая, а импортная, витая, с ядреным таким концом, чтоб помнил, чтоб сознавал, чтоб осязал кадр — не упустила его власть, не прозевала, бдит...

Б и В, сидя в своих кабинетах, ожидают вызова к А. На прошлой неделе их били шпичрутенами. На позапрошлой — нагайками. А — исключительно изобретательный человек, он богат на выдумки. К профилактике готовится загодя, не упускает мелочей, входит в подробности. Молодец! Как он им сказанул в тот раз? Еще слово такое ввернул... древнее... старорежимное... Не сразу и вспомнишь.

Напрягает лоб Б. Гладит лысину В. Звонят друг другу: ну что, ты не вспомнил? Хорошее такое слово, наше слово, нужное... да как же это... Тут В осеняет: батогами! Бить, говорит, буду вас теперь батогами вместо нагайки. Так и сказал.

А вот что это значит? И узнать негде. Книг-то в кабинетах полно, что у Б, что у В, сплошь собрания всех постоянно нужных сочинений, может в каком томе это словцо и просквозит, да поди догадайся, в каком именно, на какой такой странице...

Томятся в неведении Б и В. Как он им врезал, этот нестареющий А! На мое место метите, орлы!? Рано, рано распушили перья!

Да мы ни словом, ни духом, — сказал еще тогда Б. Да мы и думать о таком не можем, — сказал тогда же В. Знаем мы ваши думы! — гаркнул разъяренный А и свистнул нагайкой. Знаем мы ваши идеи! — и свистнул вдругорядь.

В воскресенье сошлись Б и В на даче у приближенного к ним Г, тертого калача. Позакрывали двери и окна, охрану послали на базу за раками, накиннули подушку на телефон, открыли пару бутылок и, разомлев, чуть ли не одновременно задали многомудрому Г один и тот же, давно мучивший их вопрос:

— Скажи-ка, Г, а кто проводит профилактику с нашим уважаемым А?! ..

И вот маются сейчас по кабинетам. Места не находят. Ладно, батог. Не знаем, что это такое, так скоро узнаем. Другое страшно: а не стукнул ли на них этот старый лис Г?

НИКОЛАЙ ГУМ ЛАЙ ГУМИЛЕВ

Поэзия НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА (1886—1921) кажется «книжной», хотя на его долю выпала совсем не кабинетная жизнь — путешествия, дуэль, война, тюрьма, расстрел. Но как вдохновитель литературной группы, получившей имя «акмеистов», Гумилев в окружавшей его реальности ценил и воспевал то, что уже некогда прошло через фильтр мировой культуры. В ореолах литературных ассоциаций вступали в лирику Гумилева события его внутренней жизни и образы близких ему людей. Черты постоянной героини его ранней поэзии просвечивают образом Анны Ахматовой.

Они познакомились в Царском Селе в конце 1903 года — ученик местной Николаевской гимназии и ученица Мариинской гимназии. Гимназистка славилась как бесстрашная пловчиха. Гимназист попросил своего приятеля (будущего композитора Владимира Дешевова) расписать стену комнаты картиной подводного царства, и Аня Горенко была изображена в виде русалки. А юный поэт написал стихотворение «Русалка», посвященное А. А. Горенко. Посвящение осталось только в автографе, оно было снято, когда «Русалка» печаталась в первом сборнике Гумилева «Путь конквистадоров» (1905), потому что автор и адресат были в это время в ссоре. В другом стихотворении этой же книги содержится еще один портрет царскосельской гимназистки:

Я на выси сознания направил свой бег
И увидел там деву, большую, как сон.
Ее голос был тихим дрожаньем струны,
В ее взорах сплетались ответ и вопрос,
И я отдал кольцо этой деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос.

Титул девы Луны был присвоен героине потому, что Ахматова в молодости страдала лунатизмом, и в последующих обращенных к ней стихах Гумилева этот мотив сомнамбулы поддерживался, как в стихотворении «Из логова змиева» («А выйдет луна — затомится...»). Ахматова впоследствии считала, что вообще всюду, где в гумилевских стихах появляется луна, это служит знаком ахматовской темы.

«Все очень темно, возвышенно, символизм в самом разгаре», — писала Ахматова об этом своем «первом зеркале» — стихах из «Пути конквистадоров». Возвышенно-темно и другое ее отражение:

Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?
Зачем высокое чело
Дрожит морщинами сомненья,
И меж бровями залегло
Веков тяжелое томленье?
И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?

Почти портретным («и странно-красивый изогнутый нос?») назвала Ахматова и стихотворение «Анна Комнена» (печатается здесь впервые), где Гумилев весьма вольно изобразил византийскую императрицу. Стихи эти относятся уже к периоду второго гумилевского сборника «Романтические цветы» (1906—1907), когда Гумилев жил в Париже, а Анна Горенко — в Киеве и Севастополе, и отвечала отказами на гумилевские предложения о женитьбе (одна такая сцена, связанная с приездом Гумилева в Севастополь, угадывается в стихотворении «Отказ»). В стихах этого периода меняющая обличья и исторические костюмы героиня все более стала походить на любимицу модерна, — как писал на исходе 1900-х годов искусствовед Н. Н. Врангель, «мечта наших дней» в сборном виде выглядела так: «смесь дьяволицы и серафима, — с маленькой головой и большими глазами, как у бархатной бабочки, а рот — как кровавый цветок с крошечным розовым язычком кошечки, — смесь зла и невинности, подростка и старушки». О «Романтических цветах» Ахматова писала: «Я так привыкла видеть себя в этих волшебных зеркалах, и с головой гиены, и Евой, и Лилит, и девочкой, влюбленной в дьявола, и царицей беззаконий, и живой, и мертвой, но всегда чужой». Ева, здесь упоминаемая, — из маленькой гумилевской поэмы «Сон Адама», вошедшей уже в его третий сборник «Жемчуга» (1910):

И кроткая Ева, игрушка богов,
Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловещем мерцаньи ее жемчугов,
Предвестница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных, и хмурых несчастий.

Он борется с нею. Коварный, как змей,
Ее он опутал сетями беспазны.
Вот Ева — блудница, лепечет бессвязно,
Вот Ева — святая, с печалью очей,
То лунная дева, то дева земная,
Но вечно и всюду чужая, чужая.

В конце 1909 года А. Горенко ответила согласием на брачное предложение и через пять месяцев состоялась свадьба. Стихотворение «Баллада» было предсвадебным подарком, а «посылка» к нему подводила итог мучительному пятилетию (по словам Ахматовой, в первом варианте третий стих звучал: «Когда вела ты, слабого карая»). Во время свадебного путешествия в Париж было написано стихотворение «Нет тебя тревожней и капризней...», в котором строки о воле, сливающей много жизней в одно, предвосхищают обращенный к Ахматовой мадригал Н. В. Недоброво («Как ты звучишь в ответ на все сердца...»). Счастливым покоем, совместно перечитанными книгами отдает от стихов, написанных в послесвадебное лето, — и в «Маргарите», пересказывающий сон, приснившийся Ахматовой после «Фауста», и в поэме «Открытие Америки»:

Девушка, игравшая судьбой,
Сделается нежною женой,
Милым сотоварищем в работе . . .

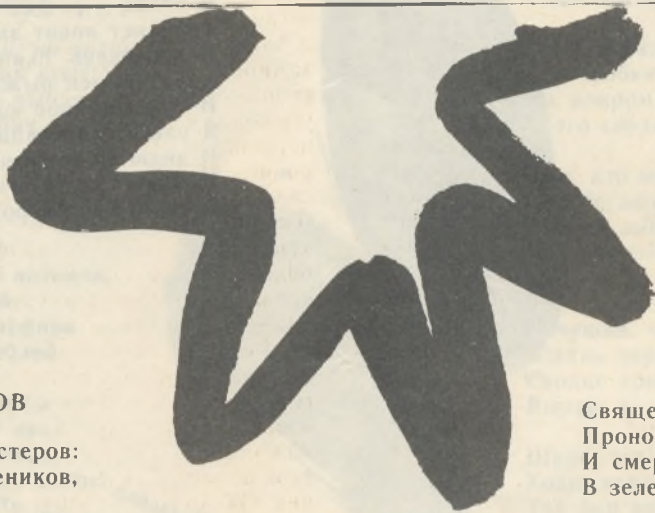
Осенью 1910 года Гумилев отправился в полугодичное абиссинское путешествие. Сразу по возвращении им были написаны две акrostиха «АННА АХМАТОВА», в которых адресат уподоблялся ангелу, вглядывающемуся в свои тревожные откровения, и розовому саду, обманному и отравному. И эта аура тревожных пророчеств, злого торжества и коварной отравы окрашивает многие из стихов сборника «Чужое небо» (1910—1912), обращенных к Ахматовой (подборку их, составленную Эммой Герштейн по ахматовским пометкам, читатель видел в «Новом мире», 1986, № 9). В 1913 году семейная жизнь двух поэтов была разорвана — об уходе Ахматовой рассказано в гумилевских «Пятистопных ямбах». Но образ Ахматовой еще возвращался в стихи Гумилева. «Священные плывут и тают ночи . . .» написано на фронте в конце 1914 года; здесь Ахматова соседствует со знаменитой балериной Тamarой Карсавиной и юной пианисткой Ириной Энери (Горяиновой-Чегодаевой; 1897—1980). Одним из последних откликов Гумилева на творчество Ахматовой стало, если верить толкам тогдашних петроградских литературных кругов, стихотворение 1921 года «Молитва мастеров». Толчком

к его написанию послужили разговоры среди критиков и молодых поэтов о том, что Ахматова в книжке «Подорожник» перепевает себя прежнюю. Волею судеб этому стихотворению выпало стать чем-то вроде поэтического завещания. О близкой смерти Гумилев сам обмолвился в оставшихся черновиком строках:

Не полубоги мы, а немощные люди,
Ждет смерть нас, вскормленных от материнской груди,

Святыне творчества приличествует лишь
Покорность светлая, молитвенная тишь.

Охвативший целое десятилетие цикл стихов Гумилева к Ахматовой она называла «не имеющим прецедента в истории поэзии (кроме сонетов Лауре)». У ранней Ахматовой не так много стихов, обращенных к первому мужу, но тень казненного поэта не оставляла ее позднюю поэзию. В «Поэме без героя» строка «И цыганочка лижет кровь» отсылала к неподвластной пересказу безудержной фантастике одного из поздних гумилевских стихотворений — «У цыган», в котором гортанное степное пение сметает перегородки времен и пространств, даря этим надежду на бессмертие — извечную надежду всех поэтов всех эпох и всех народов.



МОЛИТВА МАСТЕРОВ

Я помню древнюю молитву мастеров:
Храни нас, Господи, от тех учеников,

Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал все новых откровений.

Нам может нравиться прямой и честный враг,
Но эти каждый наш выслеживают шаг,

Их радует, что мы в борении, покуда
Петр отрекается и предает Иуда.

Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомству взвесится, кто сколько утаил,

Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
Но что мы создали, то с нами посегодня.

Всем оскорбителям мы говорим привет,
Превозносителям мы отвечаем — нет!

Упреки льстивые и гул молвы хвалебный
Равно для творческой святыни не потребны.

Вам стыдно мастера дурманить беленой,
Как карфагенского слона перед войной.

Священные плывут и тают ночи,
Прносятся эпические дни,
И смерти я заглядываю в очи,
В зеленые, болотные огни.

Она везде — и в зареве пожара,
И в темноте, нежданна и близка,
То на коне венгерского гусара,
А то с ружьем тирольского стрелка.

Но прелесть ясная живет в сознании,
Что хрупки так оковы бытия,
Как будто женственно все мирозданье,
И управляю им всецело я.

Когда промчится вихрь, заплещут воды,
Зальются птицы в таянии зари,
То слышится в гармонии природы
Мне музыка Ирины Энери.

Весь день томясь от непонятной жажды
И облаков следя крылатый рой,
Я думаю: Карсавина однажды,
Как облако плясала предо мной.

А ночью в небе древнем и высоком
Я вижу записи судеб моих
И ведаю, что обо мне, далеко,
Звонит Ахматовой сиренный стих.

Так не умею думать я о смерти,
И все мне грезятся, как бы во сне,
Те женщины, которые бессмертье
Моей души доказывают мне.

Царица — иль, может быть, только печальный ребенок, —
Она наклонялась над сонно-вздыхающим морем,
И стан ее стройный и гибкий казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.

Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины.
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевиные спины.

Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое «не надо»...
Царица — иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

Я долго шел по коридорам,
Кругом, как враг, таилась тишь,
На прищельца враждебным взором
Смотрели статуи из ниш.

В угрюмом сне застыли вещи,
Был странен серый полумрак,
И точно маятник зловещий
Звучал мой одинокий шаг.

И там, где глубже сумрак хмурый,
Мой взор горящий был смущен
Едва заметною фигурой
В тени дорических колонн.

Я подошел... И вот мгновенный,
Как зверь, в меня вонзился страх —
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,
Глаза сияли пустотой,
И мерзко крался шепот хриплый:
«Ты сам пришел ко мне, ты мой!»

Мгновенья страшные бежали,
И набежала полумгла,
И бледный ужас повторяли
Стекланным взглядом зеркала.

РУСАЛКА

Посв. А. А. Горенко

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно-печальные сны
Мирового, больного похмелья...
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.

У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,
Он блестит то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат.
У русалки чарующий взгляд,
У русалки печальные очи.

Я люблю ее, деву ундину,
Озаренную ночью глухой,
Я люблю ее взгляд заревои
И горящие негой рубины...
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.

Аддис-Абеба, город роз
На берегу ручьев прозрачных,
Небесный див тебя принес
Алмазной средь ущелий мрачных.

Армидин сад. Там пилигрим
Хранит обет любви неясной,
(Мы все склоняемся пред ним),
А розы душины, розы красны.

Там смотрит в душу чей-то взор,
Отравы полный и обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных платанов.

Влюбленные, чья грусть, как облака,
И нежные задумчивые леди,
Какой дорогой вас ведет тоска,
К какой еще неслыханной победе
Над чарой вам назначенных наследий?
Где вашей вечной грусти и слезам
Целительный предложится бальзам?
Где сердце запыляет, не сгорая?
В какой пустыне явится глазам,
Блеснет сиянье розового рая?

Вот я нашел, и песнь моя легка,
Как память о давно прошедшем бреде,
Могучая взяла меня рука,
Уже слетел к дрожащей Андромеде
Персей в кольчуге из горящей меди.
Пускай вдали пылает лживый храм,
Где я теням молился и словам,
Привет тебе, о родина святая!
Влюбленные, пытайте рок, и вам
Блеснет сиянье розового рая.

В моей стране спокойная река,
В полях и рошах много сладкой снеди,
Там аист ловит змей у тростника,
И в полдень, пьяны запахом комеди,
Барахтаются рыжие медведи.
И в юном мире юноша Адам,
Я улыбаюсь птицам и плодам,
И знаю я, что вечером, играя,
Пройдет Христос-младенец по водам,
Блеснет сиянье розового рая.

Посылка

Тебе, подруга, эту песнь отдам,
Я веровал всегда твоим стопам,
Когда вела ты, нежа и карая,
Ты знала все, ты знала, что и нам
Блеснет сиянье розового рая

Ангел лег у края небосклона
Наклонившись, удивлялся безднам:
Новый мир был синим и беззвездным,
Ад молчал, не слышалось ни стона.

Алой крови робкое биенье,
Хрупких рук испуг и содроганье.
Миру снов досталось в обладанье
Ангела святое отраженье.

Тесно в мире, пусть живет, мечтая,
О любви, о свете и о тени,
В ужасе предвечном открывая
Азбуку своих же откровений.

Валентин говорит о сестре в кабаке,
Выхваляет ее ум и лицо,
А у Маргариты на левой руке
Появилось дорогое кольцо.

А у Маргариты спрятан ларец
Под окном в зеленом плюще,
Ей приносит так много серег и колец
Злой насмешник в красном плаще.

Хоть высоко окно в Маргаритин приют,
У насмешника лестница есть;
Пусть звонко на улицах студенты поют,
Прославляя Маргаритину честь,

Слишком ярки рубины и томен апрель,
Чтоб забыть обо всем, не знать ничего . . .
Марта гладит любовно полный кошель,
Только . . . серой несет от него.

Валентин, Валентин, позабудь свой позор,
Ах, чего не бывает в летнюю ночь!
Уж на что Риголетто был горбат и хитер,
И над тем насмеялась родная дочь.

Грозно Фауста в бой ты зовешь, но вотще!
Его нет . . . Его выдумал девичий стыд;
Лишь насмешника в красном и дырявом плаще
Ты найдешь . . . и ты будешь убит.

АННА КОМНЕНА

Тревожный обломок старинных потемок,
Дитя позабытых народом царей,
С мерцанием взора на зыби Босфора
Следит ускользящий бег кораблей.

Прекрасны и грубы влекущие губы
И странно-красивый изогнутый нос,
Но взоры унылы, как холод могилы
И страшен разбросанный сумрак волос.

У ног ее рыцарь, надменный, как птица,
Как серый орел пиренейских снегов,
Он отдал сраженья за крик наслажденья,
За женский, доступный для многих альков.

Напрасно гремели о нем менестрели,
Его отличали в боях короли,
Он смотрит, безмолвный, как знойные волны,
Дрожа, рассекают его корабли.

И долго он будет ласкать эти груди
И взором ловить ускользящий взор,
А утром спокойный, красивый и стройный,
Он голову склонит под меткий топор.

И снова в апреле заплачут свирели,
Среди облаков закричат журавли,
И в сад кипарисов от западных мысов
За сладким позором придут корабли.

И снова царица замрет, как блудница,
Дразнящее тело свое обнажив,
Лишь будет печальней, дрожа в своей спальне,
В душе ее мертвый останется жив.

Так сердце Комнены не знает измены,
Но знает безумную жажду игры,
И темные муки терзающей скуки,
Сковавшей забытые смертью миры.

Толстый, качался он, как в дурмане,
Зубы блестели из-под хищных усов,
На ярко-красном его доломане
Сплетались узлы золотых шнуров.

Струна . . . и гортанный вопль . . . и сразу
Сладостно так заняла кровь моя,
Так убедительно поверил я рассказу
Про иные, родные мне края.

Вещие струны — это жилы бычьи,
Но горькой травой питались быки,
Гортанный голос — жалобы девичьи
Из-под зажимающей рот руки.

Пламя костра, пламя костра, колонны
Красных стволов и оглушительный гик,
Ржавые листья топчет гость влюбленный,
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.

Капли крови текут с усов колючих,
Томно ему, он сыт, он опьянел,
Ах, здесь слишком много бубнов гремучих,
Слишком много сладких, пахучих тел.

Мне ли видеть его в дыму сигарном,
Где пробки хлопают, люди кричат,
На мокром столике чубуком янтарным
Злого сердца отстукивающим такт?

Мне, кто помнит его в струге алмазном
На убегающей к Творцу реке,
Грозою ангелов и сладким соблазном,
С кровавой лилией в тонкой руке?

Девушка, что же ты? Ведь гость богатый,
Встань перед ним, как комета в ночи,
Сердце крылатое в груди косматой
Вырви, вырви сердце и растопчи.

Шире, все шире, кругами, кругами
Ходи, ходи и рукой мани,
Так пар вечерний плавает лугами,
Когда за лесом огни и огни.

Вот струны-быки и слева и справа,
Рога их — смерть, и мычанье — беда,
У них на пастбище горькие травы,
Колючий волчек, полынь, лебеда.

Хочет встать, не может . . . кремень зубчатый,
Зубчатый кремень, как гортанный крик,
Под бархатной лапой, грозно поднятой,
В его крылатое сердце проник.

Рухнул грудью, путая аксельбанты,
Уже ни пить, ни смотреть нельзя,
Засуетились официанты,
Пьяного гостя унося.

Что ж, господа, половина шестого?
Счет, Асмодей, нам приготовь!
Девушка, смейся, с полосы кремневой
Узким язычком слизывает кровь.

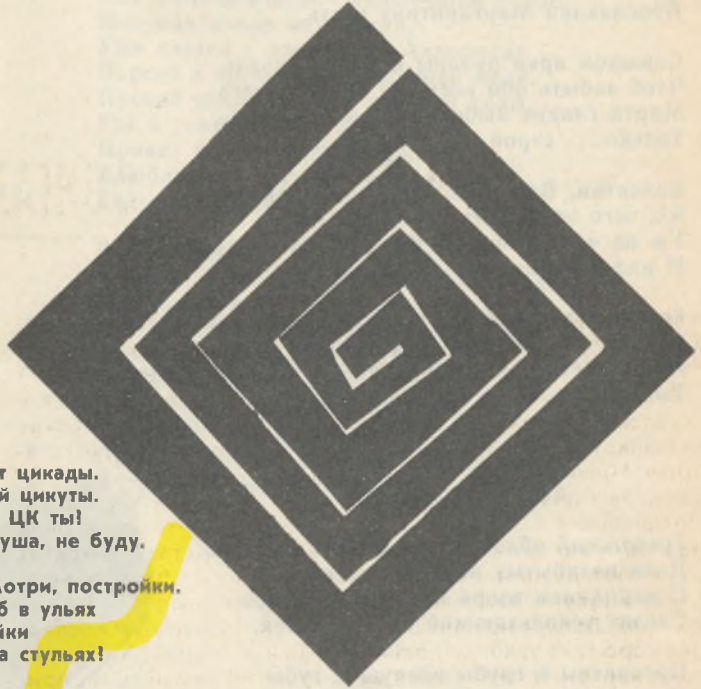
НОЛЬ НОЛЬ — это и *tabula rasa*, и стол, уставленный всем, чем можно его уставить. Ставить дальше — только дублировать, да и ставить некуда — только вторым ярусом, что — опять же — дублировать. Так что НОЛЬ НОЛЬ все и ничто, и дубль.

НОЛЬ НОЛЬ — это вершина культуры, и точка ее падения, и равнина, *style neutre*. Субъективной прихотливости, индивидуалистического выпада за или против — вот чего здесь нет, вернее, он присутствует как узор, изгиб синусоиды.

«За» — плюс один, плюс два, плюс сорок. Дальше — слишком жарко и — смерть, искупительная во времени НОЛЬ НОЛЬ только, когда вместе с ней на всех циферблатах мира вдруг начинаются новые сутки: НОЛЬ ОДИН. И тогда — другие законы. Другая жизнь, другое небо, и момент этот близок, что понятно каждому, кто не спит в полночь.

«Против» — минус один, минус сорок, и — вечная мерзлота, из которой героя когда-нибудь извлекут, как мы — мамонтов, так что он сыграет свою роль.

В этом пространстве-времени-ноль-ноль человек-существо-Ноль Ноль не может быть назван по имени, но гадания о нем составляют живописное напряжение культуры. Гадание все же — вид лукавства, после него тянет к простодушию.



О ПРЕДЕЛАХ

Цикады, мой Рамзес, поют цикады.
Цикуты мне, Сократ, отлей цикуты.
В ЦК, не обратишься ли в ЦК ты!
Нет, брат мой разум, я, душа, не буду.

Постройки, мой кумир, смотри, постройки.
Мы разве насекомые, чтоб в ульях
кидаться на незанятые койки
и тряпочки развешивать на стульях!

Открой ее, Колумб, отверзь скорее,
вести земную жизнь упред потомок.
Куда податься бедному еврею,
куда направить этот наш обломок!

Приятель мой, мутант неотвердельный,
безумный мой собрат неукротимый!
У рвоты и поноса есть пределы
и вот они. Да вот они, родимый.

1987

Саше Башлачеву

Линия, выцветая всласть от частых стирок
от смены танцев исплетая ориентиры,
ступая, кожа — в плен притирок,
душа — придинок,
ступая осторожным тапком на кафель,
она и босая в летящий снег, ступая в кайфе,
переступила огонь, и стены
прошла насквозь,
и все еще вопрос измены — вопрос.
И все еще теряя память о жизни целой,
слепая страсть замучит верностью прицела,
и рушатся дома — и слухи — и под откос,
и все еще вопрос разлуки — вопрос.
Как в казни «тысячи кусочков», в тысячу точек
воткнулись иглы стрелы струны, один гвоздочек
рубиновый, звезда Кремля, сирена скорой,
правительства и воронка — все разговоры.
Уже все ясно, все уснули, анабиоз,
и все еще вопрос «что будет» — вопрос.

1987

ТАТЬЯНА

ЩЕРБИНА

Дурь семейства конопляного,
запах роз и «J'ai osé»,
вкус кумыса полупьяного,
нежных мусса и бизе —
в мире нет такой инъекции,
нет такого и шприца, —
так сказала б я на лекции
с идиоמוю лица.

А сама лежу и думаю совсем напротив, в пятистопном ямбе,
что башмачком хрустальным, крупной суммою, я не владею,
чтоб остаться в тампле «Июль в Москве».

Нет горя мчаться в Сочи!

Индийский чай подкрасит одурь ночи
в цвет фернамбука, в самый злой загар,
с которым не живут ни дольше утра,
ни дальше мест, где читается Камасутра.
Шипит рагу там, где затих угар,
(ось палиндрома: «ха» на «ах» — насмешка)
и уайт стал блэк — гарь, копоть, сажка, Пешка
взамен противцветных королевств.

Постоем женихов-невест
становится все та же Плешка.

Теперь мне впору зарыдать
и солью слез эйякулировать:
любовь — есть только повод дать,
поэзия — артикулировать.

1987

КЛУБНИЧНАЯ ПЕНКА

Поролон клубничной пенки — репродукция счастья,
творившегося как пролог варенья.
Подлинник Монны Лизы со стенки я бы сняла в запасник,
и писать бы не стала стихотворенья,
влюбляясь в труд.

Все что не светится, не пересилит лени.
Будь у меня Гомер объяснить маршрут,
не чертила б я карту открытого моря, ютясь на шлюпке,
взяв у гипсовой девки весло, вздернув парусом юбки,
я плыла бы за паклей, связующей бревна в сруб,
к большому буфету с запасом мышей и круп.
Будь у Гомера медный таз, керосинка, усы на грядке,
он бы розочку пенки клубничной взрастил на даче.
Можно жизнь любую простроить в любом порядке,
но золотое руно в ней должно маячить.

Отплывая от дождевых червяков и осинных гнезд
через таможи, где ключ отбирают и рвут амулеты,
я лечу, замечая, как тает на солнце воск.
Кобальтовый воздух по ночам означает лето.
(Ах, брызги зеленой крови летнего сладострастья,
цветастое платье кожи и браслет на запястье).
Клубничная пенка, розовый коврик у входа, пеленка,
в которой туземцы подкидывают ребенка.

Я не могу полюбить их наколок и пик
и ищу не выход, а очередной тупик,
где светится киноэкран, золотое руно-миранж,
было б оно одно, но и тут тираж,
потому что светящееся окно оказывается квартирой,
и колдунья — женщиной в бигудях и еще — придирой.
Череп козочки с рогами глядит со стенки,
на нитке кораллы застывшей клубничной пенки.

Я дышу радугой кислородных трубочек
среди рогатых изобильем тумбочек.
И если есть какое-то лечение,
то это Крит, Калипсо, приключенье
назло компьютеру с глазами кролика
я панцирем окостеневшей дрожжи
хватаясь за тускнеющую кожу
и не священника зову — историка.

1986

Н. Н.

Я с пищущей машинкой как с гусями Боян.
Из SU в зеркальный US
как папа в Ватикан
летит аэроплан, и вот что грустно:
арс лонга — вита бревис, и на Курский
ползет троллейбус, а зеркальный US
показывает нам свой джаз и блюз,
и ты в нем отражаешься, мой русский,
мой язычок-экзгибиционист
егест-егест — солист, великий житель рта,
любовник губ, захватчик ротозеев,
аэроплан вернулся к нам сюда,
и в сердце родины пустил стрелу Эрота
(не то что арс повынуть из музеев —
ее извлечь не могут полк плюс рота).
Мой принтер, цитра, в штате безэтажном,
ночным и летнем, вита кратче йота,
и с кем-то в сочетании эрмитажном
брожу по штату, где живут не строки,
а только то, что я считаю важным,
Курехин, Виноградов и Сорокин.
Им родина отдаться не спешит,
иммунодефицит ее страшит,
а у Земли во рту два языка,
сменяя звук древес на хэви-метал,
приперли в Ватикане старика
взрывной волной, а он о том не ведал.

1987

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОАН

из романтического театра и
жизни Генриха фон Кляйста

Красную жидкость, над краном склоняюсь,
пили актриса и князь.
Князь был в дубленке — на выходе,
на выходе и актриса
в шубейке из черного крыса,
оба трезвехоньки, но в прихоти
пригубления красности.

В наши дни жизнь стоит вне опасности,
все в ней — красочность: СПИДа вот, в частности,
базилик, президентов анфас.
В ванной над краном склоняюсь,
главное — актриса и князь!

Мирно посверкивал кафель,
но что-то случилось, будто бы крышка
отворила драконову кровь,
а не спирт из флакончика «Эликсир для зубов».
Наступал год дракона, знатоки говорят, что дракон
страсть и ужас вполне мог запрятать в обычный флакон.

Пригубив же, актриса и князь
договорились [в отличие от глав государств,
которые договорились оружие — здесь не так важно что —
уничтожить] оружие это достать
и выстрелить в сердце друг другу
в красивом пейзаже, подобном весеннему югу.
Эта дуэль, этот выход и крышка, при [как перво] губивший и кровь,
эта трезвость, барашек и крыса — все знаки, отметины.
Года три — трем шестеркам драконьим ответим мы.

О князьки и актриски земного театра,
мы последняя ваша любовь!
Вседержители слов, мы отныне у вас отнимаем
весь словарный запас,
чтобы вы не сказали: мы все понимаем
и значит, что спрашивать с нас.

1987

Программа на завтра: не курить, не кури, брось курить.

Пусть перед государством ты бессилён,
глубоководен и голубожилен,
но ты кузнец здоровья своего,
а что поэты — мак и конопля,
дурманят и дурманят. Вспомни, вспомни:
одна строка — а людям вечный кайф,
подумай же о них . . . думай, думай о людях.

Программа на завтра: английский язык.
Юнайтед Стейтс, как много в этом звуке
для сердца русского, на этом волапюке
не квакается как в родном болотце.
Мне как-то не приходится бороться
не с недостатками, ни даже с катастрофами,
все борются, а я сижу вот тут,
трусливому здоровью смелостью духа
противопоставляю — и курю.

Но правой своей я не кичусь,
что капля никотина может лошадей
я знаю, и на лошади той мчусь.

Не дай вам Бог меня опять тревожить,
несбывшимся здоровьем укорять
и будущим страны дразнить и ободрять.
Конец перекура программа на завтра:
сигарету в час, сокращая до десяти в день.

До чего ты докатилась, русская литература!
Вот так разнервничаешься и опять куришь,
хотя только что . . .

Только что бабушка учила меня русскому языку и хорошим
манерам, дед читал мне Пушкина, Есенина, Блока,
а мама сказала: собери игрушки в ящик
и уже говорит: не кури.

Только что я писала программу на завтра, и было это вчера,
но я продолжаю писать на завтра, иначе я не только не проживу,
но даже не буду знать, что надо было жить
и умру без уверенности. Что на Земле есть жизнь.
Что у нее есть Бог. Что мы не одиноки во Вселенной.

Эти знания, по-видимому, еще пригодятся.
— Голос Америки из Вашингтона. Извините, что мы вас перебили.
— Ничего. Мы всех вас перебьем, если вы нас перебьете.
Так сказал Заратустра.

Все говорят, что никто не спасется, но я думаю, что кое-кто
спасется. Кто не пьет, не курит . . . Не кури. Ну можешь ты не
курить хотя бы сейчас, когда над миром нависла ядерная угроза!
Программа на завтра: английский язык. Я сделаю этот первый
шаг в протягивании руки дружбы Соединенным Штатам Америки,
заговорю с ними на их родном языке. Может быть, тогда они
поймут, и на Земле будет то что надо. А курить я буду, потому
что у человека должна быть слабость и некоторое заблуждение.
Прослушайте программу передач на завтра и вам там скажут то
же самое.

1986

Саше Еременко

Не орел не решка — значит, вопрос ребром,
не король не пешка — значит, и ход конем,
хиты истории повторяются не дословно.
Мне декабрь подкинул, подлил — бескровно
снятую шкурку вытершегося овна,
золотого, живого, но шкурку сперва, конверт
с козырным королем внутри, с погашеньем марок,
на которых крыша, жена, приварок
(им — привет),
паспорт, товарищи, лучший подарок.
Значит, в моем садке шелкопряд для Парок
новый подрост, и влетают Парки
паутину «гознак»
в краснокожую паспортину, чтоб дать мне знак:
без тебя и с тобой, золотой мой волшебный овен,
час неровен.
Уподобленья барану и агнцу здесь нет,
но и им — привет,
ибо марка, монетка, карта и крестный ход
обороткой имеют ход зверем, язык, рубашку, Сашку
и плановый, так сказать, приход.

1987

Борщи компоты и рассольники
варила Золушка в кастрюле,
которая на подоконнике
в шумерской солнечной культуре
видала за окном пейзажики
помоек строек демонстраций,
а в спальню к непорочной Машеньке
Иосиф приходил . . .

В кастрюле же из чиста золота
мутнел бульон из синей птицы,
и только перец черный молотый
(как подновляет тушь ресницы)
спасал птенца зазеленевшего.
В окне зазеленевший полис
встречал прохладой утро, лезшее
будильником, чтоб жнец, торговец,
кузнец микенско-критской хартии
узрел, что рядом не пантера,
а знатный хлебороб, член партии,
и козь родит, то пионера.

За что же Золушке по харе-то!
За то что жизнь у ней кастрюльная,
кастрюля кровью хоть не залита,
сравнима — с погребальной урной,
на ней гравюры процарапаны
костьми нежнейших птеродактилей,
слезами липкими закапаны
блядей и золотоискателей.
А Мариванна мужа потчует
и Золушку бранит, не зная,
что потому что непорочная,
поэтому и неродная.

1987

Пуль не надо, сердце рвется само,
тащится в добровольную ссылку
думать. Цитрамон! Нет, само.
Море, в тебя ли я тыкаю вилку,
в шницель, в творог!
Проплывая октябрь в молочной галактике,
организм продрог
и неконтактен.

О чем же я думаю! Вдали дом, по которому ходит чужой,
и чужбина, где бродит близкий (бродит близкий-Бродский, но
не он), хорошо,

так о чем я думаю! Дом, где тяжело,
и чужбина, нарядная как мультяшка.
Я не выберу, все само.
Вот зима. Сначала только белые пятна,
но вообще — вода.
А мной покупают билет туда
и мной же — билет обратно.

1987

Я сплю в твоём свитере потому что одной — не спится.
Там-то, в Питере, только и помыслов, что влюбиться,
а в Москве дела, звон в ушах, купола горят,
разве есть время! Нет времени, говорят.
Все происходит попеременно по пять секунд
сочных в паденьи, и ты, подперев их вдруг
как конечный в том направленньи пункт,
населенный мною так густо, что все вокруг
пустое пространство Брука — курортный юг, —
закрываешь стеной водопадом рвом
мой открытый рот умывальник дом.
Мне б рассказать, как не нужен бывает йод
тому кто в полете сбит и в крови поет,
но я разливаю в стопки и йод и кровь,
повесть сжимая в скобки фигурки ямбы,
и на полях не павшие с пальм гвайябы —
парашютные кольца, какое не дернешь — везде морковь.

1988



КАК БЫ ДИАЛОГ О «НОВОЙ КУЛЬТУРЕ»

РАСШИФРОВКА МАГНИТОФОННОЙ ЗАПИСИ

О: Значит, как бы первое, о чем надо сказать. Есть такое ощущение... что вот то, что вот мы с тобой, и вообще все мы называем «новой культурой», формировалось не как монолит, не как некое течение, которое... Оно формировалось в одиночку. Нужно было только иметь голову и идею. Да? Гюго сказал: «нет ничего сильнее идеи, время которой пришло». Где-то на рубеже семидесятых, в самом конце семидесятых и даже в большей степени в начале восьмидесятых в головах нечто начало поворачиваться. И выяснилось, что десяток или два людей, в Москве и Ленинграде, не знаю где еще, сидели и варили одну и ту же историю. А история эта заключалась в абсолютном неверии в возможность социализации... ведь, в общем, что было с предыдущими поколениями? Они все, так или иначе, верили в то, что их искусство получит выход. У людей, которые создали «новую культуру», никакого заведомого ощущения выхода не было. Это было искусство, направленное исключительно на внутреннее пользование, больше того — как бы на пользование самим собой. Это был текст, за который человек отвечал сам и перед собой. Не было никакого второго и третьего человека, который бы оценивал этот текст. [А: Здесь возникает немного драматизация положения.] Нет тут драматизации. [А: Нет, это звучит как...] Это звучит как драматизация, но никакой оценки нет, а просто чистый анализ. Вот — мой текст, он мне интересен, все.

А: То есть ты все связываешь, прежде всего, с какими-то, скажем, социальными вещами? [О: Нет.] С возможностью выхода? как бы на крыльцо как бы к народу?

О: Нет, понимаешь, дело в том, что у каждого из нас накапливается некоторое внутреннее ощущение, с которым что-то надо делать. А с тем, что за окном, — нам понятно о чем речь, но резонирует и совершенно иная зона: все эти материи, как бы связанные, связывающиеся с внутренним... изолированным саморазвитием, с таким понятием... ну вот: «чистое искусство» — хотя мы с тобой находимся в зоне, в людях, для которых подобные понятия не то чтобы ложны или сомнительны, а просто не подлежат, рассмотрения не требуют. Они у нас ничем — как керенки — не обеспечиваются. Нет ничего такого, к чему эту идиому приспособить.

А: Это-то понятно. Только ты говоришь немного не то, что предполагаешь, потому, что когда ты говоришь, что не хочешь иметь дело с тем, что за окном, — нам понятно о чем речь, но резонирует и совершенно иная зона: все эти материи, как бы связанные, связывающиеся с внутренним... изолированным саморазвитием, с таким понятием... ну вот: «чистое искусство» — хотя мы с тобой находимся в зоне, в людях, для которых подобные понятия не то чтобы ложны или сомнительны, а просто не подлежат, рассмотрения не требуют. Они у нас ничем — как керенки — не обеспечиваются. Нет ничего такого, к чему эту идиому приспособить.

О: Ну... Допустим, я абсолютно убеждена в том, что мои произведения перевернут мир. Как этот мир на переворот отреагирует — его проблемы. Я сижу, пишу статью, которая перевер-

нет мир. Я так могу считать сколько мне угодно. У тебя есть потребность водить перо по бумаге? Таня Щербина в раннем произведении специальную главу выделила про графоманов. И с точки зрения официальной культуры мы на самом деле — графоманы. То есть мы — люди, которые любят писать. Касательно художников: им нравится водить кисточкой, поскольку... [А: Ну правильно, правильно...] поэтому с точки зрения социума каждый человек создал вокруг себя поле, которое существует как бы в виде шарика. Потом, в один прекрасный момент чья-то невидимая ручка эти все шарики связала воедино — получился пучок. Причем любопытность этих шариков в том, что каждый из них абсолютно самодостаточен, но самодостаточен — как это сказать? — с одной стороны настолько, чтобы быть шариком, а с другой — при абсолютном взаимопроникновении в другие. И без других он как бы существовать и не...

А: Понимаешь, ты говоришь сейчас приблизительно мое предисловие к Бартову, несколько расширяя, и вот что существенно, [О: Я же не читала...] — я-то делал его как бы извне — не чтобы текст прикрыть: окружить каким-никаким контекстом. [О: А ты его прикрывал с наших позиций.] Ну естественно, с наших, но извне — то есть писал как редактор, а не изнутри, не как прозаик. А разница — весьма... У меня, например, этого ощущения — шариков этих — нет. [О: Хорошо, а какое есть?] Не знаю, может это связано с какими-то рижскими делами: отстраненность, метафизика... Или просто потому что изнутри, то есть через прозу. Через технологию. [О: Объясни.] Все это как бы на пальцах, да уж жанр у нас такой... словом, так: ведь когда пишешь, прежде всего прислушиваешься — живой ли идет текст? В любое время — единственный вариант, в котором возможен резонанс с чем-то там. Да любой, чей угодно текст — если уж он выжил и до сих пор хорош — он поймал этот резонанс, эту тогдашнюю живость в себя вобрал, дал ей быть там. Если абстрактно, так это очевидно, а когда сам возишься, то боже ж ты мой: какие-то странные временные процессы? структуры? перемещения? — не знаю, а вот знаю, что они хотят вот именно такой вот текст. И все это объединение — твои шарики воздушные — тоже от этого зависят. Да не мысли это, наверное, которые летают или бегают от одного к другому: как бы общая какая-то матрица — это мне не нравится, очень упрощает — которая в данное время находится в таком-то состоянии. И мы все по-рознь... [О: С которой мы считываем...] Да, что-то вроде, и которая нас и [О: Да!] нам все формирует. К социумным штукам я очень серьезно отношусь, но есть же вот еще что... ну что такое авангард? Это ведь не маркировка конкретного течения, но определение общего порядка. Есть, скажем, пара: теория технологии и практика технологии, которые, в сущности, не пара, а одно и то же. И в этом смысле любая школа начала века — авангард. [О: Конечно.] Эти группы что-то делают и оно потом выедается кем угодно. А у нас была пауза с тридцатых годов... Не

знаю, насколько тут социум определяет, а не просто необходимости ремесла.

О: Андрюш, правильно... Но дело все в том, ПОЧЕМУ возникают потребности ремесла? Живи мы с тобой в шестидесятые годы, реализация повернула бы нас в другую сторону. [А: Очень может быть.] Очень может быть. Ведь безразлично относясь к социуму все равно нельзя не учитывать каких-то вещей. Мы его — поняли. Он нам стал — не интересен. Стало понятно, что им можно манипулировать. [А: И вот поэтому, вот! Он стал нам очень интересен!] А, правильно... именно поэтому он стал очень интересен. С точки зрения шестидесятников, все «новое искусство» не социально. С точки зрения «нового искусства» — оно предельно социально, потому что оно с социумом общается как ему благоугодно. Хочет — использует. Хочет — не использует. Хочет — замечает, не хочет — не замечает.

А: У меня однажды придумалась полуабсурдная такая теоретическая, может и не абсурдная, а скучная, зато сейчас — кстати. Человек, скажем, постоянно находится в среде, снабженной некоей координатной сеткой, где координатных осей — по количеству у него разнородных каких-то там персональных активностей — что, в сумме, как бы и определяет размерность его персонального пространства. И каждое измерение — если в нем живешь, а не только знаешь о его наличии — это давка, это с этой в нем живущей штукой перетягивание, разбирательство, в любом случае — взаимодействие. Что, казалось бы, нарушение твоей личной свободы. Но в действительности свобода обеспечивается числом измерений, а не беспроблемностью жизни в каком-то одном, то есть — чем по большому числу поводов тебе труднее, тем степень твоей свободы выше, то есть — ни в коем случае нельзя отодвигать от себя социум, грубейшая ошибка. То есть это вообще как бы кастрация. [О: Так ведь и я тебе об этом: поскольку давление социума внешнее было... ну уже со всех сторон, то не оставалось ничего другого, как почувствовать себя свободными.] Так вот — когда социум воспринимается как монолит, не различимо, на уровне пресса, личной печали и тэдэ — это одно, он тогда одномерен, вот тогда от него надо бежать в скит.

О: А так ты как бы распускаешь пресс, плоскость по себе и — привет! — дальше ты с ней можешь делать что угодно, она твоя, ты ею пользуешься, играешь с ней. Да вот стихотворение Щербины: «как в казни «тысячи кусочков» в тысячи точек вонзились...» дальше идет перечисление, просто ряды — что вонзилось. И я их всех воспринимаю как Гулливер, который лежит расластанный лилипутами, а в роли лилипутов может выступать что угодно. Социум, мир, конкретный человек и, так сказать, то-сё. Тут вот еще есть такая ситуация: «новая культура» не культура, которая себя с чем-то соотносит, а культура, которая заявляет себя как принципиально новую. Пришла «новая культура» и сказала: «мы не те и не другие, мы — новые. Мы — табула раса, мы — ноль-ноль. Мы что-то, с чего начинается отсчет и на чем отсчет как бы и заканчивается». При этом «новой культуре» свойственна дикая всеядность. Что такое мировоззрение «новой культуры»? С точки зрения старых координат искусствования, искусствования ее не объяснишь. Она не вписывается в сетку. Это какая-то такая штука, что у которой как бы какой-то центр есть, но его не нашупать, потому что нужно построить координаты, а их без центра, без точки — воткнуть некуда. [А: И, похоже, вот это как раз — принципиально.] Да, ... это дикая всеядность, эта самая пресловутая полистилистика, которая всем уже надоела. Дикая жадность до чужих стилей, не только — зависть к интонациям...

А: Это объяснимо, если отталкиваться от технологий. Координаты, бог с ними... а вот технологические отличия есть. Вот, например, происходит в прозе переход от статичных текстов к динамическим структурам...

[О: Что ты имеешь в виду? Под статикой?] Это когда любой артефакт мыслится как артефакт. Как штука. То есть сделан текст — и он какая-то почти вещь, которую можно разглядывать. А динамика — когда текст устраивается как процесс. [О: Что такое процесс в литературном, например, тексте?] Так... погоди, об этом я еще скажу, а вот какая у тебя была последняя реплика? [О: Про всеядность.] А, вот! Про динамику я сказать не забуду, а пока насчет всеядности... но это непосредственно связано! Как только текст делается как процесс — он учитывает как будет восприниматься, и обязан работать с энергетикой. То есть работать на уровне какого-то дословного взаимодействия отдельных каких-то вещей. Чем эклектика от полистилистики отличается? Да тем, что эклектика — набор отдельных зон, которые сами по себе, отдельно! — со своими интонациями, со своим воз-

духом и прочими потрохами. В полистилистике, казалось бы, все то же самое: те же зоны, у которых свой воздух, интонации, да ведь используется-то как раз не это, а связка, совокупность энергетик каждой из зон. [О: То есть у интонации берется свойственная ей энергетика, и на уровне энергетических слоев, которые как бы снимаются с различных слоев культурных, выстраивается совершенно новая энергетическая структура, да? То есть можешь зацепляться за каждое слово или знак в картине или в музыке за звук, но при этом тащить тебя совершенно иное. Кроме энергетики мы сейчас ни одного слова не подберем.] Просто не подберем, да — потому что говорим о ней пока... о возникновении резонанса... Но это — ни в коем случае — не всего лишь среда, проводящая сигнал. Так вот, по поводу всех этих дел: статика, динамика... Нельзя добиться усиления изобразительности работая в существующих системах, скажем, прозы. Надо все время менять свою систему. То есть — примерно — играть не на смене темы там... чего угодно, но способа письма. То есть каждый текст должен определять собой новую систему. А поэтому, если он будет статичен, вещью — его не понять. У читающего нет опыта касательно этой системы, текст ни с чем не соотносится, он сам — система соотношений, но какая? Он для читателя как бы внезапная граница, совершенно для него нелепая, а его туда десантировали. [О: То есть, как бы текст превращается в твою личную жизнь?] А наверно, разве разберешь? [О: То есть насколько ты проживаешь и меняешься, отстраняясь от предыдущего текста, настолько меняется и видоизменяется другой текст? Но не на уровне, ну я не знаю... Лев Толстой ранний написал...] Нет, конечно... Ну и как там: всякий привычный текст переживается в читательских воснесениях, а если менять систему — надо задать способ прожить текст без предварительных настроек, что это вот будет «комедия», «клуб путешественников». То есть текст обязан происходить, затаскивать в себя насильно, а там — в ходе совместной жизни — они уже как-нибудь разберутся. Это вот первая очевидность. И еще одна: игра на смене систем требует работы с материалом — то есть не с описанием, записыванием придуманного, а работы прямо на листе... Текст ведь протяженная штука... я, вроде, повторяю, но это очень важно. А вот зависть к интонациям — так ведь, представь, если работать каждый раз в новой среде, какой запас всего этого инструментального, интонационного, какого угодно другого барахла требуется! Все берем, все...

О: Слушай, Андрюш, есть такая большая проблема — «мутанты». Как бы случайно Щербина обронила. Как всех зацепило! [А: Да.] Нас ведь всех оно зацепило. У символистов тоже были кодовые понятия, которые прорабатывались... но понимаешь... на чем настаивали все предыдущие? что это традиция: вот один написал так, значит я так писать не буду, я должен строить свой кирпич сам. Почему у людей «новой культуры» не возникает комплексов по поводу использования чужих слов? Дала Щербина словечко — его, ни секунды ни комплекса, подхватили. Вот Юхананов пишет про имаго-мутантов, вот ты пишешь про советских мутантов, я думаю показать как мутирует литература. Все вдруг зациклились. А выстрели кто-то новым определением — снова пойдет разработка и наращивание гриба. Ведь «новая культура» — гриб. Есть такой гриб, не тот, который просто, а какой-то специальный, очень сложный гриб: две плоскости, на воде они лежат, а внутри как бы полое пространство с какими-то дикими совершенно построениями, пузырьками, которые перетекают, но являются однородным телом. Вот и мы находимся между двух каких-то хреновин, в которых существуем, считываем снизу-сверху примерно одно и то же. Бросили туда маленькую наживку, и все ее жрут. И каждый наращивает вокруг нее свое, понимаешь? Вот — почему нет комплексов. То есть слово «мутант» не принадлежит Щербине? Да, понятно... все мы вышли из шинели Гоголя. Можем мы сказать, что мы вышли из стихотворения Щербины «О пределах»? [А: Нет, конечно.] Нет! Мы не можем сказать, что мы вышли из стихотворения Щербины «О пределах», потому что там появилось слово «мутант» и мы все из него вышли. Нет. Можем мы сказать, что Сергей Добротворский придумал... Чапаева как некую систему, вокруг которой крутится... можем мы это сказать? [А: Да, не можем.] Почему возникает ощущение, что найденное одним принадлежит кругу?

А: Понимаешь, это ведь о том же, почему нам, в общем, пофиг наши тексты. [О: Правильно...]. Приблизительно о том же. [О: Вот, давай про это скажем.] Вот давай про это скажи.

О: Вот почему по фигу? Совершенно понятно и действительно так: ты написал текст и он дальше тебя не

интересует. То есть ровно настолько, насколько ты можешь получить за него гонорар? [А: Ну да, денежки...] Тебя уже не интересует ни как он вышел, ни где напечатан, все такое. Это как бы пускается в мир — и привет. Да? Не только на уровне текстов в смысле страниц. На уровне идей. Ты это выдал и отпустил. Это как бы уже не твоё. [А: То есть, это расставание без эмоций: я сделал — я его проехал. Чао.] То есть в идеале можно даже снять авторство.

А: Причем самое-то интересное, что нельзя в этом случае говорить ни про то, что самовыразился де вот и хорошо, — самовыражаться нам как-то и не нужно, ни, тем более, что письмо произошло из желания изжить парочку комплексов — это уж вообще... Возникает ощущение какой-то просто-напросто поденной работы. [О: Да, то есть вот ты выполняешь...] Да, как бы урок, заданный настоятелем, который урок ты исполнил и... исполнил, причем, по правде, и до настоятеля тебе дела мало, и сами эти всевозможные уроки — по фиг. [О: И по фигу сам факт работы.] Ну...

О: В тексте никогда не должно быть видно той работы, которую ты проделал. [А: Ну естественно...] Вот. Что было свойственно старой школе искусствования? Чем косноязычен текст, тем больше сквозь него проступает количество перепаханного материала — тем лучше. Что делает «новая культура»? Чем легче текст заглатывается и проглатывается как наживка, чем работы не видней, чем не видны культурные слои, которые перепаханы — тем лучше. [А: Угу.] То есть факт рррработы как усилия обесценивается и убирается напрочь. Миша Трофименков говорил по поводу «новых художников», что они пишут картины Очень Быстро. Что такое классическое понимание художника? Долго работать над картиной. А тут пришел человек, взял лист, поставил... АааА!!! — навалаял. И выставил. Все. Это может быть и не так. Никто не знает, на самом деле. Никто не знает и знать не должен.

А: Это все как бы из Сей-Сёнагон: «вещи, вызывающие брезгливость»: изнанка вышивки. Можно посмотреть немного в сторону. [О: Давай немного в сторону.] а, может, как раз и не в сторону: почему при работе не возникает такая простая мысль: ребята, да ведь я, так-сяк, но кто-то есть, достаточно самодостаточный такой и индивидуальный, да еще и писать умею: так чтобы это мне не работать легко? Вот, просто о том, что лезет в голову. Настроился на что угодно и — валяй, рефлексируй-акынствуй. Слог есть, оно все и образуеться?! [О: Почему?] Так вот — не знаю. [О: И я не могу. И я думаю, что никто из нас не может. Потому что дикая работа над текстом идет при этом.] Да вот, кому судьба — карамелька...

О: Над текстом идет колоссальная работа, дичайшая: выверение, сопоставление, проверка и т. д. Я уверена, что загляни мы в черновики друг друга, обнаружим примерно одни и те же дела. [А: Это другой ряд, все же...] Нееет. Это не другой ряд. Когда слово найдено, оно не лично принадлежит тебе-мне, Боре, Мише, Сереже, Алене, Кузе, а той самой матрице — с которой все это снято. Насколько насколько адекват совпал... [А: Хорошо, вот кстати, — как ты слова ищешь? Ты их перебираешь?] Нет. [А: Нет, конечно. Вот фраза, вот одно слово в ней прогибается, провисает и ты его заменяешь на то, которое приходит как бы само.] Именно, приходит. Но ты можешь при этом потратить на эту фразочку неделю... Заметь при этом любопытную вещь. В последнее время мы настаиваем на магнитофонах и видеозаписях. День прожит зря, если мы не записали свою жизнь на магнитофон. [А: Ну, это уж...] Ну естественно. Но тем не менее. Потому что в записях очень легко улавливать то, что не всегда передается в словесном ряду. Энергетика каким-то странным образом на магнитофонную ленту записывается, энергетика впечатывается в видеокамеру непонятным образом. Что заставляет нас ощущать какую-то динамическую структуру? Андрей, ведь такое же наплевавшее отношение к своим текстам существует у «новых художников», когда они расписывают дома, которые идут на снос. Понятно же, что их произведения — стены расписали, двери расписали — они будут уничтожены. Что заставляет их расписывать, что они выбрасывают в атмосферу при этом? Но ведь они выбрасывают!

А: Тут перепутано все очень. Это и с «новой журналистикой» связано, с «ведениями» всякими... ты уже сегодня об этом что-ли говорила — классическая, условно говоря, критика. Есть пространство, в котором живут художественные тексты. Они это пространство собой размечают. Классическая критика его анализирует, проецируя на лист бумаги. А «новая журналистика» или «ведения» — они же свои тексты устраивают практически художественными, то есть тем самым снимаются исходная разметка — по крайней мере в нашей зоне: берут ее существующую и сводят, стаскивают в свой почти

художественный текст. Размечают заново? А не знаю. Разметку-то производят тексты художественные, только вот граница между ними... и в прозе ведь творится нечто странное: чтобы оказаться живым, художественный текст должен стать черт знает чем, чуть ли без единой приметы этой самой привычной художественности... и вот этот демонстративно черте-какой текст оказывается живым и свое дело по разметке выполняет. То есть, получается, время разбрасывать камни и время собирать камни — сейчас одно и то же время. И это опять социум: поскольку на уровне этноса, если уж он как-то саморегулируется, если мы как-то еще вместе живем... должны же быть какие-то источники энергии для в нем живущих, и как бы маячки тоже. Излучающие маячки. Водопой. Ведь все настолько истощено, что приходится православие с помощью телевизора реанимировать. Суть вселенская. И происходит какое-то, никем не осознанное установление, организация каких-то элементов, которые эту среду будут как-то питать... Шаг в регулировке. [О: Ммм, очень интересно...] И еще — новая разметка этой ментальной, скажем, среды — она же происходит всегда, а мы теперь просто осознали это нашей работой. Каждое поколение это делает, а что оно может знать о результатах? Совершенно странно для нас самих мир окажется размечен. Вот есть теперь эти художники, сама эта акция расписывания сносимых домов. Не было — есть. [О: Но ведь опять же — заметь, как только мы собираемся вместе — будь это рижский «арт-контакт» или город Ленинград или там «Чапаевские чтения», как тут же возникает столб энергии, который начинает вибрировать и — так или иначе — заставляет среду вокруг меняться.] <другая сторона кассеты>

А: Так... странно как это переворачивание разговор сбило. Были три основных безразличия: взаимных заимствований, к сделанным текстам и... то есть еще этот самый возникающий столб. А что получается, если в сумме все это просуммировать? Что мы, всей компанией, участвуем в каких-то разборках, смысла которых мы осознать не можем, но факт участия в них — очевиден.

О: То есть мы участвуем в некоем действии, носителями которого мы являемся и которого сами до конца не осознаем. Отрефлексировать все, что БЫЛО — ради бога. Но отрефлексировать то, что несем с собой и то, из чего произрастает, не можем. [А: Думаю, не можем.] Не можем. Как не можем найти ни одной координаты, которая определила бы точно: «новое искусство». «Новое искусство» — это... то, сё, пятое, десятое... К тому же оно вообще принципиально ничего не провозглашает. Посмотри, мы сейчас с тобой работаем чисто по схеме Щербинского романа. Включение записи, выключение записи. Что остается в зонах умолчания?.. Мы бы сошли бы с ума, если бы все время говорили под магнитофон.

А: Не знаю, впрочем — не сошли бы. [О: Или бы привыкли бы?] Или бы привыкли или и привыкать зачем? Потому что жизнь у нас... трудно найти момент, чисто бытовой — где бы мы не играли. [О: Да!] То есть мы постоянно как бы вытворяем какие-то акции на подвернувшимся материале. Не так, чтобы на кого-то, а для себя — то есть существуем не, скажем, плоско-параллельно окружающему, а с каким-то поворотком, смещеньем, вот то, что я когда-то придумал про «субъективную камеру» — где [О: Это я придумала!] в результате экран как бы не плоский, а выгибается, сопровождая значимость. [О: Да я, я! вот это и придумала!.. еще четыре года назад!..] Это твои проблемы... да, играем, с той или иной удачностью.

О: То есть мы убрали персонажа как носителя игрового начала в искусстве и стали персонажами сами. Как бы. Игры, которая неизвестна. Правила которой — неизвестны.

А: Игра в ХО, например. Юханановская — как вариант.

О: Игра в ХО. Это я. Между прочим.

А: Так это я однажды и сказал. Трофименкову.

О: Мда... Это игра без правил? Во всяком...

А: Нееет, [О: Без правил, которые известны?] Да. Единственная оценка: это правильность. Правильность хода. То есть чисто весовая: так надо. [О: Ааа! Вот так надо! но почему именно так надо — мы объяснить не можем.] Как заменяют слово — надо вот так. [О: И не можешь объяснить почему. Так надо. Вот надо нам сейчас сесть и поговорить под магнитофон. Откуда возникает сопричастность с правильностью и неправильностью?] Да очень просто. Значит, обратным ходом: как говорил Юхананов, когда общался — очень их этим ошарашил — с латышскими впоследствии режиссерами, у нас нет мировоззрения, оно заменено технологией. У нас есть технология. [О: Угу.] Технологией мы владеем. [О: Угу.] Там — мы профессионалы, там мы знаем что правильно, а что — неправильно. Вот тебе и сопричастность.

О: Кстати, давай отметим одну замечательную особенность «новой культуры» — все представители «новой культуры» — законченные профи. А технологией они овладели или овладевают со стремительностью, которая не снилась представителям традиционного искусства. Дикое, моментальное овладение технологией и просто вруб дикий в ситуацию, в любую технологию.

А: Ну, это-то понятно... здесь, понимаешь, — возвращаясь к объяснению, да? то есть чего — уже не помню, но оно оживет: когда технология замещает мировоззрение, ломаются все эти как бы естественные различия, весь этот профанический ряд: работа, не-работа, был, нравится-нравится, отдых?!

О: Вообще все стирается. Ликвидируется понятие, например, «литературного быта» — нет его, потому что все суть технология. Технологией-то это было всегда, но не определялось явно, то есть как бы и не было... [О: В связи с этим мистифицируется и понятие героя.] А то...

О: На чем держалась литература? На герое или растворении героя. Так или иначе, в той или иной форме, но герой присутствовал.

А: А теперь назвать кого-либо человекоподобным образом и нельзя даже. Куда там фамилия, даже имя трудно ставить.] Или ему придумываются клички — что у Щербины — там Господин Слуга, Я, Автор, что у тебя в тексте — Экскайр... Героя нет. Очень редко вставляется «я» в критический текст, это — маркировка. Чистая маркировка. Присутствие странного персонажа, который не является героем текста, но возникает. Текст-то безличный, а некий над-герой, у которого нет чертаний, которого невозможно определить, который благорастворяется — есть!?

А: Это как раз понятно: из-за этой наконец отчуждаемости от вторичных признаков художественности. Герой там, жанр, тема... Когда текст — сама реальность, а не ее отражение. Когда важно и восприятие текста и его поведение во время написания: то есть как бы уже к музыке ближе. [О: Именно что...] Вот, кстати, в чем дело с технологиями: мы-то, независимо от конкретного рода искусства — работаем деформируя материал и, следовательно, он становится как бы вторичен, то есть работаем мы на этом веществе, которое одинаково ведет себя и в литературе, и в живописи, и в кино. И в жизни — если уж ее надо разделить. И этой технологией мы владеем — остается разобраться с чисто ремесленными штуками и — снимай свое кино.

О: Да, но вот что, все таки является ценностями? Давай определим хотя бы одну. Есть какая-нибудь ценность в «новой культуре»?

(долгая пауза)

О: Есть какая-нибудь ценность в «новой культуре»? Вопрос. Эту паузу надо оставить. В тексте — многоточиями. Выключение записи. Включение записи. Поехали. Поехали дальше.

А: А почему ты считаешь, что такое понятие вообще требуется?

О: Вооот. Потому что я исхожу, не могу избавиться от нормальной критической школы. Как учили? Ценность, то, се. Я все равно не могу отрешиться от профессиональной принадлежности, даже когда с тобой разговариваю сейчас. [А: Ну не можешь, не можешь...] То есть пытаюсь как критик... [А: И не хочешь...] И не хочу. Это такая игра. Я играю. Я — критик, а тебе — как писателю — по фигу. А мне по фигу, что тебе по фигу. Вот и все. Хочу — играю в критика. И буду играть. Вот. Значит так. Как критик, я просто требую определения ценности. Определи.

А: В таком случае, Оля, я тебя как критика спрашиваю — а почему ваши критические тексты хотя бы — и получается! — артефактами?

О: Потому.

А: И в качестве таковых игнорируют систему нормальной критики?

О: Отстань ты от меня! Потому. Потому что. Потому что невозможно сегодня писать критические тексты. Понимаешь? Потому что невозможно существовать в границах одного жанра. Жанр изжил себя, точно так же, как изжил себя герой. Ну, и насколько изжил себя герой — изжил себя и жанр. Жанра нет.

А: Видишь ли Оля... Ну что такое жанр? Да просто устойчивая система письма, что ты по нему так убиваешься...

О: Был жанр критической статьи, где некий... выступал он в виде некоего, который говорил: «Я — искусствознание. Я — знаю Искусство. Сейчас я вам все это объясню. Значит это... то-се, пятое-десятое... это произведение создано по таким-то законам. Ля-ля.» Ну неужели ты думаешь, что если бы я писала бы про Набокова в старой критической школе, то не могла бы написать: «У товарища Набокова, значитца, используются такие-то приемы... Герои у него... жанр его произведений...» Набоков, постольку-поскольку для нас это есть момент споткнувания, споткнувания всех... все-таки единственный человек, которого безусловно принимает «новая культура». Так или иначе — а все-таки выделяет, собаку... Потому что невозможно про него написать что

там де герой, то, сё... Нужно было создать некую жанровую... аморфный текст, который сам по себе расплывался бы, расплывался и расплывался, создавая только биение — и ничего больше. Некоторое сжимание и разжимание... [А: Нет, я тебе, помнится, объяснял некогда — каким именно образом ты этот текст... совершенно он не аморфен, а построен очень жестко и ясно как...] Это с твоей точки зрения. [А: Ну, а...] А с моей точки зрения — как критика — он построен совершенно аморфно. С меня как с критика — как с гуся вода. Он построен абсолютно аморфно. Потому что там ни одна тема не доведена до конца. Потому что там ни одного определения нет. Там ничего не разобрано. Там просто на уровне биения — между мной и набоковскими текстами, была попытка чисто словесная воссоздать то, что возникает между. [А: Так а я тебе о чем только что?!] Поэтому, когда я пытаюсь писать о текстах, которые не принадлежат к тому, что дало истоки «новой культуры» — у меня ничего не получается. Почему для меня, пока я не прочитала «Волны гасят ветер» невозможно было написать о Стругацких? Вот как токмо они написали и назвали мутантов именем люденов — все стало на свои места. Стругацкие... [А: Тяжело вам, критикам. Очень мне вас жалко.] Тяжело, да. [А: Да вот, когда еще текстик появится, чтобы по руке...] Пока то, сё... пока я тебе простую вещь скажу: я в литературе как литератор — из-за как критик — ничего не могу сделать. Слишком сильны эти самые блоки. Я не могу свободно писать литературный текст. [А: Ну? ты говори, говори...] Потому что страшно. Потому что страшно. В критической форме — а, ля-ля, то-сё, — вот и выпустили его. А если бы я была литератором, писателем — мне это выпустить, вот то, что во мне бродит — страшно. Но это то, что я могу выпустить в кино. Там мне страшно не будет ни капельки. [А: Не знаю, по-моему это просто мелкая заморочка.] Конечно заморочка. Моя личная. [А: Но она же должна довольно просто сниматься.] Ну, это уже твои проблемы. [А: А?] Твои проблемы. Конечно снимается, все снимается. Вот, пока Стругацкие не написали «Волны гасят ветер», где они меня назвали по имени. Я еще когда прочитала «Жука в муравейнике», сказала: я — Лева Абалкин. Я — человек, который мечется по Земле, и это очень отвечало ошущению конца семидесятых — начала восьмидесятых годов. Они ведь очень много угадали. Я не знаю, насколько они знают то, что они угадали. Насколько осознанны их угадки. Либо они сами людены и прикидываются, либо они просто угадывают нечто и не понимают что...

А: Ты знаешь, наверное все-таки второе. Потому что будь они сами — они бы не писали так: о...

О: Угу. Но они пишут о Лева Абалкин — человек, в котором сидит некоторая программа, Андрей! Ты не чувствуешь физически, что у тебя запущена программа, в тебе некоторая программа, которой ты просто вынужден подчиняться? она тебя тащит. [А: Ну тащит, и что? почему, собственно, вынужден?.. очень даже приятно.] Стругацкие про это написали. Так вот, Лева Абалкин... Что сделал Экселенц? Он был вынужден его убить. И это реально отражало ситуацию «нового искусства» и взаимоотношения «нового искусства» с официозом. [А: Ну, пошли аллегории...] Ну ведь правда, так оно и было! Токо ж Абалкина где ж убьешь... Он потом пришел и распространился на целый мир. В виде люденов. Понятно, что мы уходим. Понятно, что непонятно в какую сторону мы уходим. Мы сами еще не знаем в какую сторону мы уходим, а уж тем более об этом не могут догадаться те, от которых мы уходим. Но, тем не менее, хомо люденс — и есть человек играющий! Они угадали самую главную вещь! Мы же и есть хомо-люденсы, ты понимаешь?! Назови нас «новой культурой» или кем-нибудь еще. [А: Это вот такое ласковое, гладкое искусствovedческое описание со стороны...] Да. [А: Что труднопереносимо, но ладно уж, как описание пускай...] Оставь мне в покое мою игру... [А: Оставляю, оставляю...] Ну вот и все.

А: Добавлю про человека играющего со своих хладных технологических позиций. Вылупляться-то мы все начали с начала семидесятых, то есть мы того еще не осознавали, а за спинами у нас были уже изжиты шестидесятые — когда уже произошло все это: хэппенинг в театре, театр абсурда; в живописи — поп-арт, оп-арт и далее — акции, лэнд-арт; много чего. У нас по этому поводу не было никакого слова, шока, мы в этом выросли. Все это для нас просто родное. То есть — искусство открытых акций на материале, реализация невозможности артефакта как, скажем, опознака. А ведь акция — та же игра, причем в ходе которой исчезает разница между жизнью бытовой и жизнью в художественном пространстве. Эти два пространства внутри акции, игры — то есть делания некоего текста — совмещаются. То есть, я как бы говорю об исторических предпосылках. И тогда еще одна, теперь не от «искусства» к «жизни», а наоборот — от жизни к технологии, которая все-таки — а не внешние описания — определяет «новое искусство». Если человек, скажем, устраивает игру в жизни — он внутренне постоянно внимателен и не дает себе впасть в повтор, застabilизироваться. В противном случае все это стало бы набором ритуалов. Некоторым новым, однажды изменившимся

и опять заснувшим образом жизни. И уже поэтому вот такие вот наши тексты, и отсюда же новые системы для каждого нового текста: их-то ведь и выдумывать не приходится, все реализуется само-собой, иначе мы просто не можем, не умеем...

О: Почему мы не можем друг с другом поспорить, подискутировать... Почему у нас в принципе не получается поругаться... мы не можем спорить до хрипоты. Вот сообрази. Взять компанию шестидесятников — многократно слышала от них эти истории. Что они там доругиваются ну просто до какого-то последнего предела. Только что в окна не выкидывают. То есть как бы они какие-то позиции отстаивают. Какие? Не знаю какие. Как у нас? Не то нечего отстаивать, не то... принцип игры. И ведь если ни одна заявленная ценность не является... хм... тогда исчезает предмет, на котором ломать копыя.

А: Ты понимаешь... ведь что делает, что уже сделала «новая культура» в части устраниения разметки? Она ликвидировала, свела вот в этот четыреххрен... «нетленка, сакралка, духовка, глобалка»... [О: Ага!] Загнала в эту потешку канонические представления об этой самой сакралке. [О: Угу!] И духовке. [О: Ага!] А нами что управляет — правильность постановки слова, и вот... [О: В расширительном смысле, разумеется...] Да: хода, правильности хода. То есть, грубо говоря, вот эта самая — элементарная, которая всегда на виду, но, тем не менее, реально существующая как бы так сказать тайна: почему один текст окажется просто служебным каким-нибудь описанием, а другой — живым? Что в нем такое присутствует? Почему, скажем, человек артистичен? Что это? Ничем не объяснимо, а есть.

О: Понимаешь, это ведь на самом деле как бы... Одна девушка написала по поводу «Исповеди шпиона» Щербина десятистраничную рецензию, которая называлась «Куда подевалась тайна?» и она там размышляла, что на самом-то деле чудо, тайна — существуют, то да сё. Ну да об этом же и говорить-то невозможно! Это неизреченное, неизреченное, невозможное всеми нами ощущается. Тайна это? — нет! Чудо это? — нет! Нет! Это есть нечто, что на самом деле ни под словом «тайна», ни под словом «чудо»... [А: Ну разумеется...] но то, что странным образом сидит в солнечном сплетении, каждым из нас управляет и определяет: да нет, правильно-неправильно.

А: Так ведь мы бы с тобой об этом и не говорили. Но ведь на черный ящик работаем... Вот, кстати, по его поводу, очень простая вещь: по части какой-то теоретической обеспеченности нашего разговора, доказательств, чего-то такого. Мы говорим вдвоем, но для наблюдателя. [О: Да.] Если бы — мы ведь не знаем куда и кому мы говорим — если бы мы не имели права об этом говорить, или если это неверно, неправильно — мы бы и слова не смогли сказать. [О: Мы можем.] Можем. [О: Мы имеем право.] Мы имеем право и, значит, — это правильно.

О: Именно что. О, классно, между прочим! Такая элементарная вещь! И, на самом деле, не будь наблюдателя в виде магнитофона, о чем нам и говорить? мы это знаем и так. [А: Так это речь в каком-то другое измерение, где всякие ссылки, сноски, комментарии.] Да, чисто ссылка.

А: Мы как бы повернулись сейчас еще на полоборота, чем тот полуоборот, в котором к наблюдателю находились с начала этого текста.

О: Ага. И а-парт. Потому что нам, да и никому — не только нам с тобой, вообще представителям «новой культуры» об этом говорить незачем, каждый это знает. [А: Ну, естественно...] И только сейчас появилось право об этом говорить. Оно возникло совсем недавно. Правда ведь? Потому что раньше не было такой возможности — говорилось экивоками, окольными путями, а может не было возможности. [А: Да это уже какие-то косвенные разборки, по касательной — совершенно никого не волнующие.] Теперь давай еще договорим о том, про что мы говорили — про историю. [А: Хмм...] Да, как бы бессмысленно. [А: Как бы бессмысленно.] Невозможно... а, вот еще очень важная вещь: нельзя установить точные сроки возникновения «новой культуры». То есть понятно, что она где-то там...

А: Ну, вот Юхананов считает важным сезон восемьдесят шестого — восемьдесят седьмого годов, когда все почти вдруг почему-то одновременно прорезались... собственно, похоже, это для нас оказалось не столь важно, как казалось...

О: Да, но созрело все гораздо раньше. Где-то с семьдесят девятого года, восьмидесятого, восемьдесят первого года.

А: И там была задействована масса людей, которых мы весьма ценим, но которые к нам, все же, не относятся. [О: Которые сварили, но не относятся. Которые дали, но не относятся. Это точно, да.] Причем они, очевидно, по этому поводу не горюют. Время, оно как-то ходит само по себе, у них были — да и остались — свои дела, своя ситуация, все такое... [О: Думаю, что да.] Какой уж там прогресс во всех этих художественностях... А вот о социальных вещах, кстати, я бы еще подумал. Собственно, не о социальных, а об окружающей среде.

О: Давай.

А: Социумные вещи на моем личном интимном примере. Возвращаю: скажи из Питера в Ригу. Ну, что я в Риге делаю? Работаю, естественно. Сижу, то-сё стряпаю, весь поглощен этим благородным процессом, и что-то у меня, скажем, получается — то есть речь о том, что я вполне в форме. Но... когда проходят эти три-четыре недели, что меня в Ленинграде не было — я уже научился это замечать — что ж такое? Какое-то заматывание в кокон. Как-то изжитая, казалось бы, метафизичность... игра, скажем, происходит не в произвольной среде, а вот как бы в переносном, постоянно на горбу переносимом театрике, с декорациями... время начинает как-то прокручиваться, делается гладким. В Ленинграде оно — шершавое. Там — гладкое, и если в нем по памяти восстанавливать какие-то питерские моменты, то выходит — и это при частоте моих наездов сюда! — выдранность отдельных линий: выдран, привез, рефлексирую — а над чем, собственно? Все это живет — когда живет, а не препарат — совершенно иначе. Что за эрунда такая? Работаю я в Риге и где бы еще мог — рижанин я очень... вообще... но почему у нас, в Риге, нет авангарда? Андерграунда? [О: А почему, кстати?] А очень просто: потому что авангард это же не только отдельные персонажи — которые, в принципе, у нас есть. Это среда, в которой они могут жить, которая их кормит, где они общаются КОСВЕННО — и по делу, а не на бытовом уровне. [О: Обязательно среда!] Мы ведь напрямую друг другу ничего передавать не можем, мы друг другу сами по себе не интересны: я знаю, что он может сказать, сделать и даже если скажет неожиданное — я удивлюсь на полчаса и изменю свои представления о том, что он может сказать. И наоборот. Потому что — он и я. Нет общего звена, нет каких-то отражающих волн. Ведь, казалось бы, и в Ленинграде точно так же: понятно кто и что делает, но, тем не менее... Есть общий шум, тон. Активный воздух. Вот в Риге, кстати, авторство не рассасывается... Мы как бы постоянно увеличиваемся на размер очередного сделанного. Вперед, к коллапсу...

О: И это выросло в последнее время, это ощущение того, что нам не о чем говорить друг с другом. Мы и так все знаем. Можно оговаривать очень бытовые вещи или, вот, говорить с наблюдателем. Нам проще друг с другом молчать, потому что обмен информацией идет не на словесном уровне.

А: Это-то да. Так. Но это — другое, другая половина. Не идет там обмен на таком уровне и все тут. Но это — дело личное, как повезет. Есть еще другая половина той моей половины: помимо чтобы были тусовки, авангард зависит и от других материй. То есть опять социум. Когда я в Питер приезжаю — чувствую, насколько я ушел за время отсутствия из тяжести чисто социумных взаимодействий — существующих тут, у вас. За полчаса, скажем, я вклеиваюсь в это тяжелое поле, как если бы выскокил из сельского уединения, где только и забот, что заниматься самосовершенствованием... потому что русская среда не контролирует, не включена в разборки с социумом в Риге...

О: И наоборот, понимаешь, когда мы приехали в Ригу, у нас было ощущение полной вольготности и свободы. А! — делаем что хотим. Нас не контролирует среда. [А: А вот этого я не знал.] А вот этого ты не знал. А мы почувствовали — в той или иной степени. Мы могли делать в Риге что хотели.

А: Да я-то тоже могу делать в Риге что хочу и, с одной стороны, — прекрасно, на этом и работаю, с другой же — вот это число степеней свободы, я говорил... [О: Да!] то есть пространство мое как бы сжимается, усыхает и я могу себе работать свободно... в проекции. А проекция просто обожает воздвигнуть на себе какой-нибудь ритуальный торжественный столб.

О: Угу.

А: Что еще... ты рассказывала, помнишь... Лурье предлагал собрать всех правильных людей в одном месте... устроить республику Васильевского острова... Это как бы лишний. Вот ведь и цитируем друг друга, тащим без зазрения совести что понравилось, тексты нам наши сделанные безразличны — что-то другое важно, одно и то же для всех. И самоописаниями под магнитофон можем заниматься: а ведь любая школа кончается, едва сумеет определить, что она такое... А нам, вроде не грозит. То есть, это, выходит, не «искусственная» — человеческая общность? Народец небольшой образовался... Язык у нас свой. Образ жизни тоже. История, фольклор, предание — все на месте. И даже общая территория — андерграунд этот самый: зачем нам отдельный остров? То есть имеется группа людей, которая по определению, удовлетворяя этим каким-то требованиям, является народом или нацией...

О: И основным отличием которого является то, что жизнедеятельность его осуществляется в художественном пространстве... или даже на уровне физиологических различий: задействован некий орган, результатом деятельности которого является художественное пространство... правильно?

БОРИС БЕРЗИНЬШ:

«ИСКУССТВО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СЛУЧАЙНОСТЬЮ»

Кажется, это не будет чрезмерным эгоцентризмом, если стремление найти в реальности своего отрезка жизни непреходящие ценности я отнесу к самой человеческой альтернативе нашего времени. Если и моя потребность не оригинальна, может быть, ее находки пригодятся еще кому-нибудь?

Такой неисчерпаемой, устойчивой ценностью, созданной человеком, является для меня искусство БОРИСА БЕРЗИНЬША. А также — беседы с ним. Вернее, само слушание его речи — уравновешенной, неторопливой, богатой наблюдениями и сравнениями. На этот раз — о становлении художника, о зарождении и формировании искусства в человеке.

— Мы уже говорили о многом, но никогда еще я не спрашивала, почему и как Вы начали заниматься искусством.

— Искусство не может быть случайностью. Например, моряком можно стать нечаянно — ты идешь по улице, встречаешь друга, и он спрашивает — не хочешь поступить в мореходное училище? Я не знаю, что делать, шутки ради поступаю. И человек нашел себя. Другой — поучится, бросит, уходит куда-то. С искусством, однако, не так просто. Это, похоже, как с музыкой. Тут уж нельзя так — я хочу. Мама берет за ручку и говорит: «Моя детка хочет петь». Я не хочу обидеть другие профессии, но я думаю, что может мама отвести мальчика «на доктора». Ну хорошо, он не станет знаменитостью, но доктором будет. Может даже научиться вырезать аппендикс. Но в консерваторию нельзя привести за ручку. Там нужны способности.

— Но как-то же надо узнать, что способности есть. Как это началось для Вас самого?

— Я не знаю, это наверно похоже на то, что где-то начинает болеть.

— Где Вы жили?

— В Риге.

— Вы родились в Лимбажи или в Риге?

— В Риге. Дед жил в Лимбажи. В том, что я пошел в школу Розентала, Лимбажи не виноваты. Если говорить честно, все-таки виноват батюшка. Мой отец любил музыку. Он сам играл на гитаре, его друг был музыкантом. Отец велел другу проверить, есть ли у меня слух. Дяденька пришел со скрипкой. Я уже не помню, как все это было, но батюшка уже не стал покупать для меня скрипку, а покупал книги. Книги по искусству. Меня это заинтересовало, и я не очень переживал, что у меня нет музыкального слуха. Поскольку он у меня отсутствовал начисто, я не знал, о чем мне переживать. Краем уха слышал, когда мать с отцом переговаривались, будто этот друг сказал еще, что мальчику лучше рисовать.

Принесенные отцом книги мне начали страшно нравиться. И так наверно и был обнаружен талант. Я теперь удивляюсь, как это мой отец приносил такие ценные книги — может, ему кто-то их советовал? Конечно, там много было третьесортного, в особенности немецкие издания — *Noderne Kunst*, где были *Felerback* и *Holbah*, хотя и они совсем не плохи. Но он приносил очень много очень хороших голландцев, итальянцев, французов. Из нидерландцев мне, конечно, больше всего нравился Рубенс, наверно и потому, что там были обнаженные женщины. Я только изумлялся барочному в выражении. Я не знал, что это за стиль, я только видел, что он такой волнообразный. И что волнообразные формы не только в обнаженных женщинах, но и в облаках и деревьях. Даже в траве. Для меня это было ужасно большим открытием. Мне нравился и совершенно противоположный художник — Вермеер. Нравился тем, что он исключительно благородным был, чистым. Без страстей, и страшно красивый. В хорошем таком смысле. В особенности мне нравились его интерьеры, они меня исключительно привлекали. Конечно, мне нравились все малые голландцы, но — и Рембрандт тоже. А больше всего меня очаровала вторая жена Рембрандта, Хендрике Стоффельс. В одной книге я увидел ее портрет, где освещенным был только лоб, а лицо в тени. Я удивился, как можно так написать. Я видел, что она глядит на меня. Из тени. Это меня просто поразило. Я не знал, конечно, что это Рембрандт, это я узнал лишь десять лет спустя. Я не знал также, кто такой Вермеер. Поляк или немец. Я не знал, что Хендрике Стоффельс — жена Рембрандта.

И все же — не это было начало. Начало было еще раньше. В Риге мы жили вместе с матерью моей мамы. Она была богобоязненной русской женщиной и таскала меня в церковь. Туда я ходил с ужасом, ибо знал, что мне придется стоять. И, так как я не знал, что это такое — Бог и церковь, мне нечем было заняться, и, чтобы не помереть со скуки, я был вынужден смотреть вперед — назад ведь неприлично. А впереди меня был так называемый иконостас. Там, в белой церкви на Московской, была большая-пребольшая стена, полная икон. Метров двадцать в высоту и каких-нибудь шестьдесят в ширину. (Возможно, теперь я преувеличиваю, но тогда мне так казалось). И потом еще отдельные иконы, конечно, в основном Мадонны.

— Это, кажется, молитвенный дом Гребенщикова, старообрядческая церковь?

— Да, бабушка была староверкой. И я начал смотреть, изучать. В первую очередь — помню это как сейчас — меня удивило, что иконы такие коричневые. Я решил, что это негры, эфиопы. Я слышал, что религия идет откуда-то оттуда. Я еще теперь помню, как с двухметрового расстояния смотрел на икону, Богоматерь с Иисусом Христом на коленях: куда бы я ни шел, всегда она глазами следила за мной. Я думал, что там в

глазах что-то движется. Конечно, это иллюзия. И тогда я заметил, что она совсем не коричневая. Что там есть и места по светлее. Я стал замечать нюансы. Также и бабушка со стороны отца — она не была особенно богобоязненной, тем не менее, иногда ходила в церковь. Может, чтобы отдохнуть от домашней работы, не знаю. Тогда она тащила и меня. И я был в шоке. Привык к русской церкви, полной картин. Одна картина наверняка была и в Лимбажской церкви, но, по сравнению со старообрядческой церковью, та казалась мне ужасно голой, пустой. Церковь выглядела такой пустой, что я просто вздрогнул. Я даже не рассказываю, как в русской церкви пел хор — так как у меня музыкального слуха не было, я не мог этим наслаждаться. В лютеранской церкви где-то за спиной играл орган, я знал, что там кто-то нажимает педали. Но меня больше интересовало, что я вижу глазами. Единственное, что мне здесь нравилось — можно было сидеть. Красивые скамьи. Пока моя бабушка плакала, молилась Богу, я тем временем был вынужден церковь осматривать. И я заметил то, чего не видел в русской церкви, наверно мое внимание отвлекали иконы: в мире есть архитектура. С тех пор мне ужасно нравится архитектура, особенно помещения, где есть большие окна. В Лимбажской церкви тоже большие, вытянутые окна, мелкими клеточками. Светило солнце, стены были толстыми — более метра — и туда прорывались тени и свет. Когда церковь пустовала, свет и тени заметны гораздо лучше.

Это все было до того, как отец привел музыканта со скрипкой, до того, как он стал носить книги и соблазнять меня ими. Отец, наверно, все-таки мечтал о чем-то из области искусства. Для него это не было, и он хотел осуществить это в своем сыне. Мне ведь было все равно. Если бы меня каждый день водили в цирк, может быть, я стал бы клоуном. Так что я должен благодарить и моих обеих бабушек, которые мне дали, как я понимаю, первые импульсы.

Не хочешь ли еще узнать, почему мне нравятся голландцы и Рембрандт? Потому, что я жил в трехэтажном деревянном доме, где было множество всяких лестниц и кладовок. Кладовки были без ключей, там каждый мог увидеть, где поставлен студень, банки с вареньем. И уборная, чердак, подвалы — туда можно было ходить. И, опять, были окна и свет. Подвальный свет. Деревянные лестницы, помещения и длинные коридоры с маленькими окошками. Когда я увидел старых голландцев, Брауэра, Рембрандта — это была моя стихия. Я не удивился. Я сразу почувствовал их. Не как искусство, а как ситуацию. И, может быть, поэтому мне нравилась Хендрика Стоффельс, нравилось, что Рембрандт высвечивает руки, лоб — как я это видел в натуре. Было место, где старики сидели у окна, точно так освещены. Когда я смотрел картины, я только удивлялся, как можно так написать. Конечно, рассказанное мною не уникально; все дети очень чувствительны, и условия кое у кого были получше, но они же не стали художниками. Так что все-таки надо иметь способности. Вообще, если уж ты хочешь знать, как это началось, если у тебя еще будет ребенок, если ты хочешь сделать его художником, то повесь у его колыбели картину. И если он вырастет и искусство не пристанет к нему, то знай, что у него таланта нет.

После книг отец стал приносить мне рамы. Он приносил позолоченные, простые, но раза три он принес очень хорошие золотые рамы, музейной ценности. Конечно, тогда я разницы не видел, я ее узнал лишь спустя 20 лет. Однажды он принес даже так называемую бельгийскую раму. 19 века, ее поверхность была сформирована краской — очень красиво. Это тоже был один из приемов, как меня втянуть. Тогда, конечно, я копировал картины, из живописцев мне ужасно нравился Гварди, его серебристо-серый цвет. Нравился рисунок Леонардо — у нас была книга. Когда я был в Италии, в Венеции, я вспоминал именно Гварди, его Большой канал. Вспоминал свое детство. Тогда, при немцах, чрезвычайно в моде был Либертс. Между прочим, отец покупал журналы по искусству, выпущенные в 20—30-е годы. У меня есть прекрасная папка с работами Тоне и Залькалда, с последними работами Пуррита, которые потом погибли. Тогда все это казалось мне естественным, но теперь я вижу, что это было специально, чтобы меня соблазнить. Чтобы вывести у меня — удастся или нет. Но я еще не думал быть художником, это было только такой игрой. Наверное, был уже год 1943—44, когда я сам начал. И как раз тогда мне попала книга, кажется, немецкая (между прочим, она есть у меня и сейчас), очень красивая книга о модных в свое время художниках. Конечно, там был Дегенбах, но там были и французы, и там я наткнулся на одного художника, которого я совсем не мог понять. Это был Ван Гог. Странно, я наверняка



ПЕЙЗАЖ. 1866.

уже видел и современных художников, но не заметил их. Ван Гог выбил меня из колеи. Я долго ночами думал — как можно так писать? Между прочим, интересная психология — я не осуждал, нет, как раз наоборот, я открыл для себя, что искусство может быть и таким, которое ты не понимаешь.

Я был задет. Обиделся. Потому что Рубенс, например, был для меня сразу приемлем. В десятилетнем возрасте. Меня только изумляла в его вещах та волнистость формы, которой в природе как будто нет. Но Ван Гог меня выбил из колеи. Я стал его исследовать, пытаться понять. И мне стало ясно, когда я изучил, как он трактует траву. Так, мазками. Это я принял. Уж совсем я принял, что он кладет полосками забор. Это был какой-то пейзаж монмартровской возвышенности — теперь она застроена, а во времена Ван Гога там были поля. Позже я стал понимать, как он пишет дома. Но дальше всего я не мог ему простить, что он кладет на небеса эти густые мазки. Ведь в небесах пусто. Этого уж я не мог понять. Как это можно? Тогда я уже ходил в школу Розенталя — четыре года спустя — и у Кушница спрашивал: «Тебе не кажется, что это слишком, что Ван Гог на него кладет такую же густую краску, как на землю?» А Кушница говорит: «Как, в этом же вся соль — все писать одинаково! Вот это искусство!» И еще таким потрясением, но приятным потрясением был Моне. Он меня не ошарашил, как Ван Гог, но — вдруг я увидел природу необыкновенно красивой и приятной. Помню, что первой репродукцией, которую я увидел, было «Поле мака». Сочнее такое. Это даже трудно рассказать. Моне поймал меня на цветке. Ван Гог тоже, но импрессионисты были такие лиричные, нежные, с солнечной атмосферой. Разумеется, мне очень нравился Домье, и теперь нравится. Очень нравился Коро. Я знал также, кто такой Мунк, кто такой Цорн, мальчиком я любил Галлен-Каллелу (потом он «отошел»)

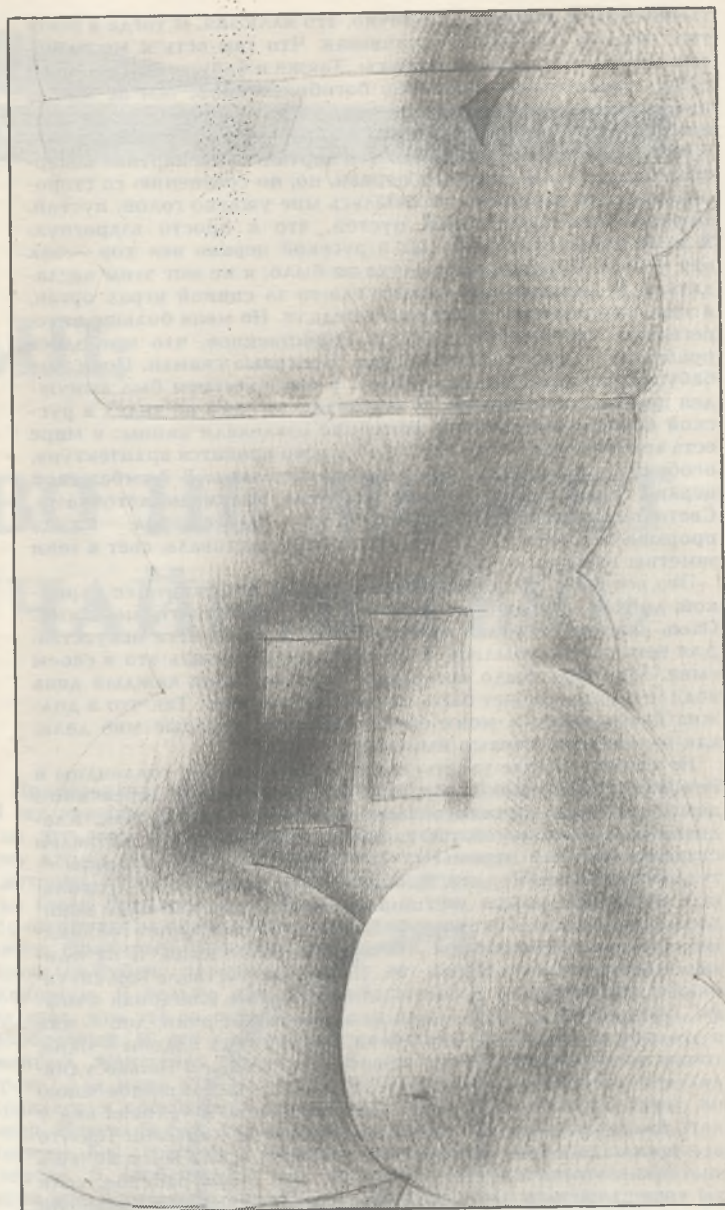
— Чем занимался отец?

— Он был всем. Он не был из интеллигентов. Но я считаю, что мой отец был очень культурным человеком. Я думаю, что то, что он сделал ради меня и то, как он это сделал, не будучи художником, подтверждает, что он был очень культурным человеком. Он так тонко преподнес мне искусство, что я этого даже не заметил. Без ремня, без ничего. Ребенка не надо посылать в школу, не надо учить его живописи. Фактически это оборачивается большим злом. Его учат приему. И это у него остается на сто лет: этот маленький, узкий прием, а он думает, что все в порядке. Фактически, это — ничто. А потом ему становится ужасно скучно. Меня никто не учил ни рисованию, ни живописи. Я просто смотрел репродукции и подражал. Теперь, глядя на те свои работы, я вижу — там очень много импровизации. Потому что никто не стоял за моей спиной и не говорил — неправильно. Рубensoвской даме я мог написать грудь по-Рубенсу, а платье по-Вермееру. Я был свободным. А фон я мог написать как Моне. Мне кажется, что это очень красиво. Учиться рисованию и живописи я начал только в школе Розенталя, в 16 лет. Тогда, когда и надо начинать.

Но что тогда давала школа? Неужели портит?

— Нет, тогда школа Розенталя не могла испортить. Теперь — может быть, но тогда — нет. И я думаю, что такой она никогда больше и не будет. Это было послевоенное время. Я опоздал. Экзамены уже все кончились, но отец пошел к директору.

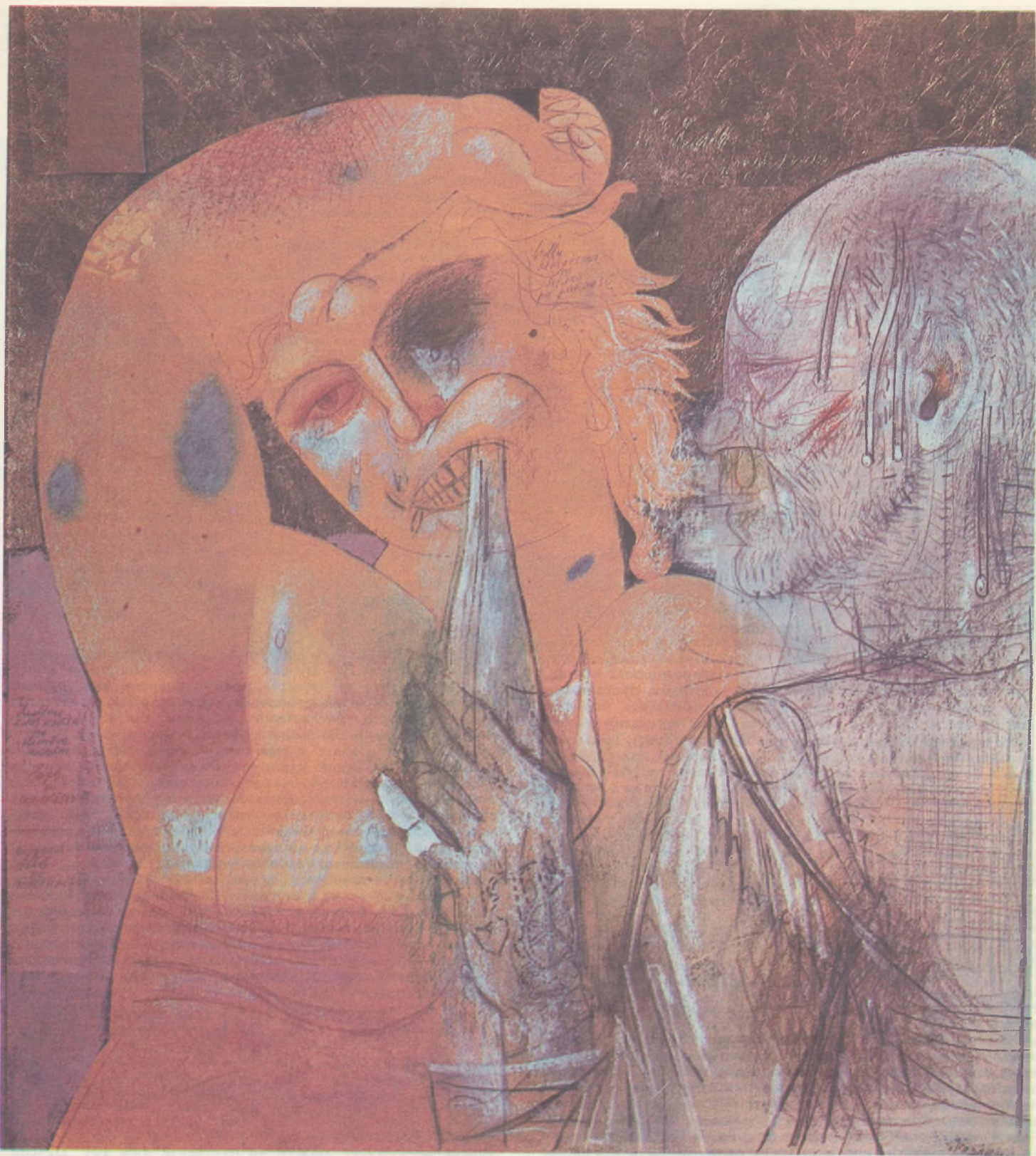
* Подразумевается — во время войны, во время немецкой оккупации.



1. КУПАНИЕ. 1985.
2. АВТОПОРТРЕТ. 1988.
3. ГОРЧИЧНИКИ. 1986.
4. ПЬЯНЧУГИ. 1988.

Я не хочу сказать ничего плохого, но — он шел не с пустыми руками. Я был не единственным, нас было трое или четверо пацанов. Нам поставили гипсовый слепок — лист аканта. Рядом со мной сидел Трудмитис, и он штрихами так отделил этот лист, что я просто онемел. Так чисто, так красиво — я даже не знал, что так можно. У меня не было никаких надежд. К тому же отец принес мне бумагу и цветной карандаш. Я покраснел. Настолько я уже был научен, и мне было стыдно. Но я поступил. И школа была гениальной потому, что там были очень хорошие преподаватели. Например, такие как Фридрихсонс. (Я буду говорить о своих преподавателях, потому что за это я отвечаю). За один урок я писал пять-шесть работ. И

Фридрихсонс это поддержал. Это давало исключительную энергию и веру, это было так прекрасно! Я жил почти что в нирване. Я сразу стал художником! В следующем году живописи нас учил Стунда. Тогда я за целую неделю не мог нарисовать горшок. Он приходил и говорил: «Горшок кривой!» Он вытянул такой шнурок с отвесом и рассмотрел один край по отношению к основанию — 10 см направо, падает, не может стоять. И я вдруг узнал, что существуют пропорции, перспектива. Я ужасно ненавидел Стунду, он казался мне сухим и тираническим. Так я отмучался одну неделю и, когда Стунда подошел, я уже дрожал. У него был такой большой нос и густые брови, и тогда я увидел, что под бровями глаза улыбаются.



Он все-таки вдолбил мне столько понимания, что я чувствовал, вроде все-таки нарисовал правильно. Он ничего не сказал, нет... И тут, собственно, и есть эта гениальность. С одной стороны — исключительно свободная творческая работа, которая побуждает к живописи, и вдруг тебя как обухом по лбу — не забывай, что есть еще и такая вещь, как строгий рисунок, конструкция, и что это тоже творческая работа, которая, освоенная, становится интересной. В школе были также Юлиус Вилюмайнис, Антонс Мегнис, Арнолдс Грикис. Превосходный преподаватель. Не потому, что он меня хвалил — он ведь всех похлопывал по плечу, чтоб мы не только в футбол играли, но и писали тоже. Это был один из приемов — он тебя похва-

лит, чтобы ты писал, как в цирке лошадей угощают конфетами. Но он умел очень хорошо втолковать, у него были очень хорошие установки, очень ясные задания. Технические приемы, как писать. Что класть в тени, что на свету, как добиться рельефа, как глубины — все это он рассказал. Это также была прекрасная, гениальная вещь. Но эта гениальность была бы неполной, если бы я не учился на отделении декораторов. У меня были еще и практические занятия. Поначалу моим преподавателем был Барон. Он нам задавал, например, изобразить капитель. Клеевыми красками. Самим из порошка приготавливать краски, смешать полутона. В банках из-под шпрот. У каждого был свой шкафик — как в бане. Там стоял страшно

воючий клей. Конечно, полагалось добавить уксусу, чтобы клей не испортился, но мы постоянно забывали. Чтобы изобразить капитель, сначала от нас требовали только основной тон для света, один активный тон, чтобы сделать немного форму, потом еще и блик, и хватит. Позднее были обязательны семь полутонов. И в тени тоже — четыре, пять, включая рефлексы. Тут уж есть о чем подумать! И любой из полутонов в тени не должен быть светлее самого темного полутона на свету. Ты добавляешь к тону черную или умбру, чтобы было темнее, это совпадает с другим полутоном и к нему опять надо добавлять. Там днями приходилось мучиться, пока доберешься до живописи. Но это еще монохромная живопись, где есть только темнее, темнее, темнее, а на свету — светлее, светлее, светлее. Это еще можно было сделать. Ну, а если все это нужно было выполнять нюансами цвета? Скажем, полутона синего не должен быть просто более темным синим, но еще и зеленовато синим или с фиолетовым оттенком. Он должен отличаться и цветовым нюансом. К тому же там не было строгих правил, это было искусство чутья — какое уж каждому дано от природы. Один, например, лепит посередине сырой, неприемлемый цвет, а у него в целом он «сидит». Там могла кондрашка хватить. Повеситься можно было. Причем все это надо было делать в банках, без живописи. Была электроплитка, мы газетную бумагу выкрасим, высушим и смотрим — годится или нет. Когда смешаешь все эти полутона — шесть-семь для теней, для света тоже семь (к тому же надо было определенное количество смешать, лучше больше, чем меньше — а вдруг не хватит), тогда идет преподаватель и проверяет. Ты прикладываешь все полутона к капители, и тогда он разрешает писать. Между прочим, самой страшной мезью у нас было — подкрасться к шкафчику и смешать полутона, в готовые банки накапать немного краски. Это было страшнее драки.

То, чему мы учились, фактически была школа старых мастеров. До Возрождения. Международное европейское обучение живописи до Возрождения. Когда краску смешивали в бочках и писали.

Чем занимались декораторы в Латвии, украшая помещения? Теперь это уже не в моде, а тогда в моде со страшной силой была имитация. Поделить потолок на кассеты и имитировать, как будто они рельефные. Создать иллюзию на плоскости. Мы ходили смотреть в дома югенд-стиля лестничные клеточки, коридоры с написанным мрамором, пилястрами, цветочными гирляндами. Чтобы все это сделать, требовалось большое мастерство. И для того же орнамента на 20-метровой высоте не годился тот же тон, который был внизу. Я помню, Трейлонс, большой мастер, только ходил и корректировал краски, которые в бочках смешивали помощники. Теперь нет больше такого мастера, который мог бы все это сделать. Когда в Бельгии я вошел в музей, где были самые старинные бельгийские живописцы, еще до Возрождения, даже до Ван Эйка, я увидел картину и почувствовал, что я ее уже знаю, что она мне близка. Не по содержанию, и автора не знаю, но — как это написано. Подошел, и мне стало ясно: милый, он же ходил в школу Розенталя! Учился у Барона! Размешивал в банках полутона! Изучая простое малярное дело, я обучился основам живописи. Тициан был первым, кто сказал, что полутона надо смешивать. Он «спутал банки», ввел случайность, его знаменитая фраза, обращенная к ученикам: «Пешите грязнее, грязнее!» уже вытекает из требований предыдущей школы — локально чистых, ясных полутонов. В сущности, нарушив этот предшествующий принцип, он вместо 7—8 полутонов получил во много раз больше. Это и есть совершенная им революция в живописи.

Отчего мне нравится и я еще и теперь употребляю золото — я этому учился. Я имитирую гипс, мрамор. Это иллюзия, которой можно достичь множеством разных способов. Наивысшее мастерство — кистью, свободной рукой. Есть трюки, которыми и сейчас пользуются многие живописцы. Например, чтобы была очень красивая фактура, пользуются тем, чем пользовались мы, когда имитировали мрамор. В Париже, особенно в Версале, я изучал потолки. То же самое мы делали в школе Розенталя! У нас, правда, не было версальских потолков, зато была фанера, которую надо было загрунтовать — примерно метр на два. И почему мне нравится писать по фанере? — Потому что я этим занимался. Что только мы там не делали — манкой посыпали сверху, песком, чтобы имитировать фреску. нас обучали также настоящей фреске, итальянскому способу, обучали и так называемой фальшивой фреске. Одним словом, это была гениальная школа. В сущности, я учился так называемой станковой живописи и в то же время — школе периода пред-Возрождения, что мне теперь особенно пригодились. Это я использую в своем искусстве. Я очень счастлив, что ходил именно на декоративное. Я живописному ремеслу научился. Теперь, к сожалению, в школе прикладного искусства этому

уже не учат. Как сказал Барон — все делают бумажкой на бумажке. А нас учили материалам. Однажды встретил товарища по школе Розенталя возле дипломных работ студентов Академии — они там кладут бронзу, порошками что-то грубо красят. Он подошел, мы поздоровались. «Ну, Баронс нас бы вышвырнул за такое», — сказал он.

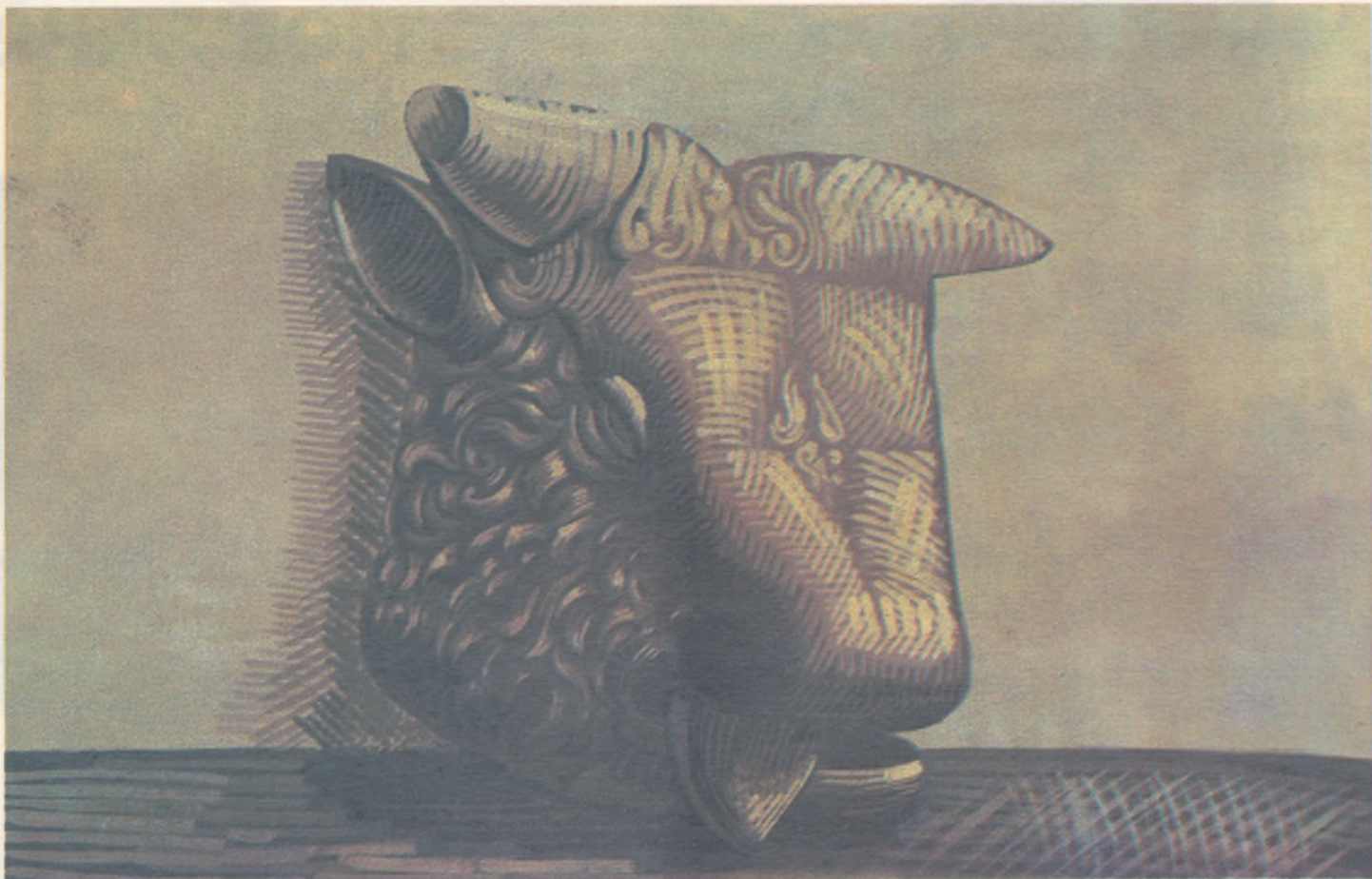
Когда нас поделили на чистых прикладников и станковистов, мы перебрались к прикладникам, и я стал заниматься у мастера Пика. Это было, наверное, на четвертом курсе. Тогда мне уже нравился Ван Гог. Я взял холст, на другую сторону прибил картон, и, когда учителя не было, писал копию с Ван Гога. Но я не догадался, что поворачиваю как раз так, чтобы он увидел. Пик улыбнулся и ничего не сказал. Но, как мне рассказывали ребята, он сказал, что у меня хорошо получается. Я был ужасно удивлен. Какая связь между Пиком и Ван Гогом? Позднее я понял, что у Ван Гога страшно много декоративных приемов. Дополнительные тона. Он очень многое взял от японской цветной гравюры. Так, чтобы разделить желтое и зеленое поля, например, использовали промежуточный тон — красный. Ван Гог очень много использует красный. А нас на декоративной живописи учили, что это считается грубым приемом, если ты в рисунке ограничиваешь поле более темным, и большой шик — если употребляешь другой цвет. Конечно, издали она темнее, но обогащает общее впечатление. Поэтому я говорю: школа Розенталя была гениальной, там все сошлось вместе. И это не только мои слова, так говорят все, кто там учился. Школа была насыщена занятиями. Каждый день там было что-то новое. Не в виде аттракциона — цирк, концерт или танцы (это тоже было, были потрясающие карнавалы, мы сами делали декорации), но именно практическая работа. И еще что в школе было хорошо — исключительно разнообразный состав учеников. Станкевич — того в коротких штанишках папа привел. И были там мужчины — 35 и 40 лет. Конечно, они нас разыгрывали и посылали за сигаретами. Но они были уже в том возрасте, когда в футбол больше гонять не могли, у них были жены и дети, им приходилось старательно учиться. Только не надо понимать превратно — это не была казарма. Там все было очень свободно. Школа Розенталя напоминала мне этукую французскую мастерскую.

На третьем курсе я впервые стал задумываться о том, чтобы идти в Академию. На пятом курсе уже была дипломная работа. И я помню, что на защите диплома впервые ассистировал Свемис. Очень красивый господин, темноволосяный, в полосатых брюках, в гетрах. Элегантный художник. Так начались мои мечты об академии. Не скажем, однако, что со Свемпа. Помню: кто-то вбегает в класс и говорит: «Скорей, выходим! Джон Лиешиньш, Чакс и еще один, тот маленький типчик, идут по улице надравшись!» По улице Лачплеша. Там была такая «zabegalovka» — после войны была мода на русские «zabegalovki», чтоб выпить сто грамм. Мы тоже живо побежали, взяли лимонаду и наблюдали. Меня, конечно, интересовал Янис Лиешиньш, нравился. Впервые увидел его такого несколько скованного, сурового, не любил улыбаться, рыжий, краснолицый — точно такой, как на своем портрете, очень серьезный. Но — водку пил. У Чака была большая лысая голова — мягкий и улыбочивый. И один был такой маленький, исключительно нервный и непоседа. Потом узнал: великолепный график Юнкерс. Представьте, как они все шли по улице — Юнкерс с тростью, в зубах трубка, Янис Лиешиньш, Чакс. Потом я узнал, что Лиешиньш живет неподалеку, у него здесь мастерская.

Был у нас однокурсник из Латгалии. Однажды утром он прибегает и кричит: «Завидуйте мне, я счастлив!» Что случилось, ты получил деньги? «Нет, в моей постели спал Тилберг!» Он снимал кроватное место у одного из наших преподавателей. Тилберг был там в гостях, и, устав, остался ночевать. Он был такой радостный и мы завидовали ему. Это было то же, как если бы Рембрандт спал в его постели.

— Было ли что-нибудь наряду с учебной, что хотелось делать в школьные годы?

— Нет, для меня и теперь не существует ничего другого. Одно время, когда я учился в академии, я увлекся спортом — как бы странно это теперь не казалось. Мне достаточно хорошо удавался баскетбол и теннис. Настоящий и большой тоже. Но так как у меня не было природных данных, не было большого роста, то баскетболист из меня не вышел. И слава Богу, что у меня не было этого большого роста, ведь баскетбол тогда был ужасно моден, и мне, между прочим, хорошо удавался. Я не хвастаю. Главное, мне очень нравилось и, когда нравится, тогда выходит. Но так я стал полнесть, и слава Богу... Мы, конечно, были мальчишки, мы любили баловаться, мы гоняли в футбол, и, если могли ударить, то и ударили. Но все же было какое-то соревнование. Для нас было оскорбительно, что ты —



ГОЛОВА БЫКА. 1974.

РЕПРОДУКЦИИ ЭГОНСА СПУРИСА

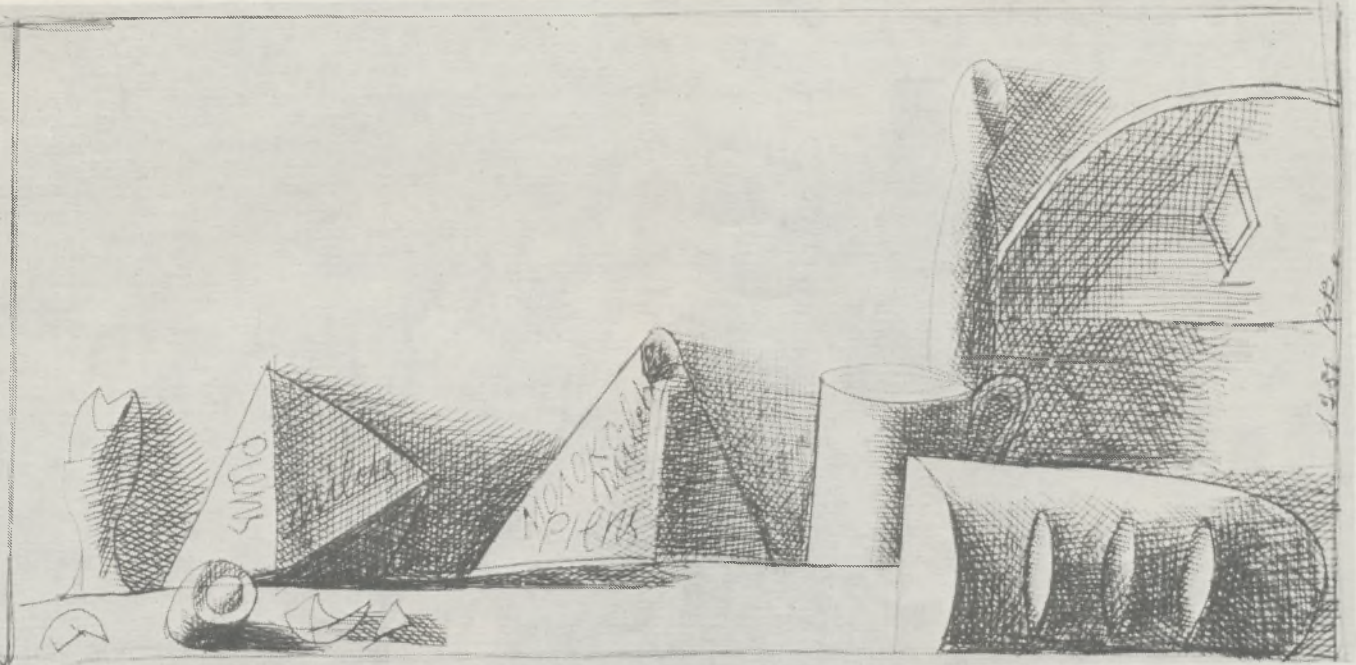
ничто, такой молокосос, который ничего не может нарисовать! Представьте, этот, со второго курса, он не может нарисовать фигуру! Он — ничто, дрянь! Это была честь — знать и мочь. Теперь в академии ты говоришь студенту, что он получит двойку, если не будет нарисовано, он спокойно отвечает — да, я знаю. И все. И от этого он не чувствует себя плохим. Для нас эта пятерка значила многое. Возможно, это было потому, что мы в одном смысле были бедными — нет, не в буквальном смысле. Это было послевоенное время, и по крайней мере для нас начался новый мир. Мы думали: ну, теперь-то начнется все только хорошее, теперь надо стараться. Мы хотим, чтобы было что-то лучшее. Мы были наивнее теперешних студентов. И это было нам только на пользу. Если нам сказали, что это надо нарисовать, мы и рисовали. И как ты думаешь, нарисовать фигуру — легко? Между прочим, когда я учился в Академии, я преподавателей разделил на удобных и неудобных. Одним из самых неудобных был Дишлерс. И еще скульптор Янсонс, — он нам преподавал анатомию. Он был очень неудобным. Я, например, нарисовал мышцу руки и отделил, а он улыбается и говорит: «Очень красивые тени, но неправильно! Здесь слишком далеко, здесь неправильно присоединено — так рука не движется!» Эти неудобства требовали от тебя правды. Тут уже искусство не нужно, тут нужны знания. Дишлерс тоже — ты нанес тени по фигуре, все готово, все красиво и ты кладешь тень еще и на пол и на противоположную стену и готовишься где-то в углу подписаться. Приходит Дишлерс, и ты уже ждешь, ты уже знаешь, что последует. И так оно и происходит. Он сидит, сидит, потом берет карандаш и говорит: «Ну что же эта рука у тебя такая длинная?» То, что красивее заштриховано, его совсем не интересует, это отдалка. «И что тут такое? Ключица совершенно неправильная, шея — по крайней мере на пол-метра в другую сторону». И так он у тебя все проанализирует, и ты, конечно, тогда и сам все это видишь. Но это ужасно не нравится... Хотя, в сущности, эти неудобные дают больше тех удобных, которые забегают и говорят: гениально, мастерски! — и уходят. Конечно,

приятно такое слышать. Неудобные больше заостряют твой ум, заставляют больше работать и думать. Хотя ты сжимаешь зубы и проклинаешь их. Они нужны больше, чем те, которые заигрывают со студентами.

Можно преподавать и так, как это делал Эдуардс Калныньш. У Калныньша были уникальные приемы. По крайней мере по отношению ко мне. Он никогда не говорил мне что неправильно. Он говорил: «Знаешь, чего-то все-таки нет». У меня было такое стремление, и даже любовь — писать не только непосредственное задание, но и «сверх плана». Я писал углы мастерской, коридоры академии, пейзажи, натюрморты — из головы, подсмотренные в окно. Времени у меня было достаточно. Он, очевидно, знал, что у меня есть такие работы, очень часто залезал за шкаф, вытаскивал и говорил: «Вот здесь все в порядке. Это хорошо. А эта постановка плохая». Со временем я понял, что в то, что я писал как бы для себя, я вложил больше чувства и правды. Потому и получилось. Но там, где я писал насильно, у меня так хорошо не получалось. Постановка же нравится очень редко. Калныньш никогда не говорил, что ноги коротковаты — это его не интересовало. В конце-концов, это ведь мелочь, ибо главное — это работа в целом — или она написана всей печенкой или спуща рукава. Это главное. Хорошие студенты прекрасно понимают: и если удастся их накачать, задеть за живое, разозлить, просто пробудить радость труда, чтобы работа давала наслаждение — тогда все в порядке.

— А Убанс?

— У Убанса я живописи не учился. Когда я был на втором курсе (он обычно преподавал живопись для второго курса), его из Академии выгнали. Нам он преподавал технологию красок. Но он ведь был художником, он не мог жить, чтобы не рассказать, например, об импрессионистах. Это был великолепный человек. И мы этим пользовались, провоцировали его. Мы знали, что он был исключен из Академии, как и Свемпс. Когда я поступал в Академию, я мечтал, у кого буду учиться. Конечно, у Яниса Лиепиньша, у Элиаса, Свемпа, Калныньша. Но,



когда я поступил (это было в 1952 году), тогда Свемпа не было, Элиаса тоже не было, Яниса Лиепиньша тоже уже не было. Я вынужден был учиться у... я даже не знаю, где они теперь, эти преподаватели. Убанс вернулся, когда я был уже на третьем курсе. Калныньш еще держался. Угис Скулме, Отто Скулме — как уж ректор, пока еще держался. Янис Лиепиньш так и не вернулся, и Элиас не вернулся. Вернулся только Убанс и Свемпс — уже в качестве ректора. Он и был тем, кто принял нас, молодых, педагогами. Озола, Станкевича, Илтнера, меня тоже. Пригласил. Больше всего я жалею, что не пришлось учиться у Яниса Лиепиньша.

— Кто руководил вашей дипломной работой?

— Калныньш.

— Работая над дипломной работой, сковывали ли Вас определенные требования того времени и проявляли ли Вы протест против них? Меня интересует как чувствовал себя в тех условиях молодой художник с таким прошлым как школа Розентала.

— Кто как. Это определяется личностью. Я? Нет, ничего... Я не хочу сказать, что я настоящий формалист, но меня очень интересовало ремесло (и в этом, наверное, повинна школа Розентала, и это хорошо, что повинна). Причем — ремесло в моем понимании, в творческом смысле.

— Но была ли Академия неприятной переменной после такой школы? Именно потому, что ушли желанные преподаватели?

— Как ни странно... Может быть, меня не так поймут, постараюсь выразить это яснее. С одной стороны покажется так — Яниса Лиепиньша нет, Элиаса нет, преподаватели такие, что понимание живописи абсолютно навыворот (позднее они, кажется, уехали в Белоруссию). Так было три года. Но рисовать, заниматься живописью — это ведь остается. Только меняется, не хочу сказать — культура, а — местный колорит. И я помню, когда я писал, то эти преподаватели (не только по отношению ко мне, но и по отношению к другим, кому это выпало) — они «попались». Они не ругали нас, так как видели, если было написано или нарисовано хорошо. Трудно сказать кто кого тогда портил. Мне кажется, что и мы «попортили» многих из этих пришлых. Но мы об этом не думали. У нас так получилось. Я помню, что позже кое-кто из них стал говорить в тонкостях о Казаксе. Конечно, такое положение было ударом для Академии, но там ничего нельзя было сделать.

— Но если говорить об искусстве — были ли какие-нибудь противоречия во мнениях?

— Нет, нет, я тогда об искусстве не размышлял. Из 12 студентов нас трое — Вилис Озолс, Индулис Зариньш и я — было из местных. У тех, кто приехал из других республик, приемы рисунка и живописи более отвечали тогдашним требованиям. Нам приходилось лезть из кожи вон, чтобы удержаться. В учебе все ударение делалось на рисунок, на колорит было наплевать. Пейзаж и натюрморт, так важные для латышской живописи, не значили ничего. Требовались фигуры — много фигур. Я думал о ремесле — могу ли я написать портрет, написать фигуру. Но мы ведь знаем, что понять и хорошо написать фигуру — это еще не искусство, это мастерство.

— Но что же нужно художнику больше — ремесло или искусство?

— Я думаю, что в известных пропорциях нужно все, как в старой школе Розентала. Есть Фридрихсонс, и есть Стунда. И они идут параллельно. У тебя не выдергивают хвост и не затыкают рот, лишь бы ты не пропел петушком. Пропой! Но — рога обламывали, если можно так сказать. Не дисциплиной, а так, как Спунда — возьмет шнурок и покажет: стаканчик валится. Хоть я и злюсь, но — что есть, то есть. Если это происходит параллельно, это прекрасно. Бытует еще и такое мнение, что в Академии искусство не смеет быть — это глупость, по-моему. Это просто боязнь как бы чего не вышло. Но что-нибудь может случиться и тогда, когда ты совсем даже и не обучаешь искусству. Самое худшее — это когда приходят такие сухари, такие посредственности, что не стоит с ними и возиться. В школе Розентала и ученики были одаренными — но она ведь не была запрограммирована такой, какой она сформировалась после войны. Если ты видишь, что твой одноклассник Станкевич нарисовал фигуру, и у тебя начинают дрожать колени — это же кое-что значит! Большая разница, когда видишь в книге, как рисует Рафаэль — и когда ты видишь, как — твой товарищ, сопяк, нарисовал так же хорошо, как Рафаэль — ты совершенно сражен. Мне ничего, что Рембрандт хорошо рисует, но когда я вижу, что Оскар хорошо рисует — этого уж я не могу стерпеть! А у нас было 20 таких Оскаров. К сожалению, в Академии дух соревнования теперь не такой...

СТОЛЕТИЮ КАРЛИСА ЗАЛЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ



СВОБОДА НАПОМИНАЕТ

Героев, выразителей идей и стремлений, знаменосцев выдвигает историческая необходимость. Они — рядом и, возможно, еще до вереницы философов, политиков и генералов появляются работники культуры. Они, избранные чувствовать, в силах претворить мысли в художественные

образы, способны обратить их в слово, звук, форму и цвет. Это поэты, писатели, художники — они облачают идеи в пламя чувств и страстей, направляют энергию энтузиастов. Это они — одухотворяющие энергию работы, придающие ей сердечный смысл. Возможно ли вообразить самосознание нашего народа без Кришьяниса

Баронса, стали бы борцами латышские стрелки без своих песенных знамен, возможно ли представить латышскую государственность без Райниса! Все это прагматик подвергнет сомнению, ведь закипать, прорастать и размножаться можно и в темной тишине. Но моторы могучих движений запускаются, уж конечно, не

мыслями о круге колбасы, но идеалами.

Сегодня мы вспоминаем Карлиса Зале. Имя его звучит в нашем народе по-особому. Карлис Зале не просто выдающийся скульптор, мастер пластики, чей талант признан повсюду и чьи работы приобрели качество эталона. Карлис Зале избран нашей историей выразителем идеи Свободы. Вожди приходили и уходили, а Зале останется на веки вечные. Мы можем без

форм, но — символов нации. Творец, устроитель, воплощение. Великие работы Карлиса Зале — Братское кладбище и памятник Свободы — вобрали в себя и вечность пирамид и звук Филадельфийского колокола и дыхание Шартрского собора... Здесь национальное подает руку универсальным, всеобщим человеческим ценностям.

Образы, созданные Карлисом Зале, как, доднневно напоминают нам основные поня-

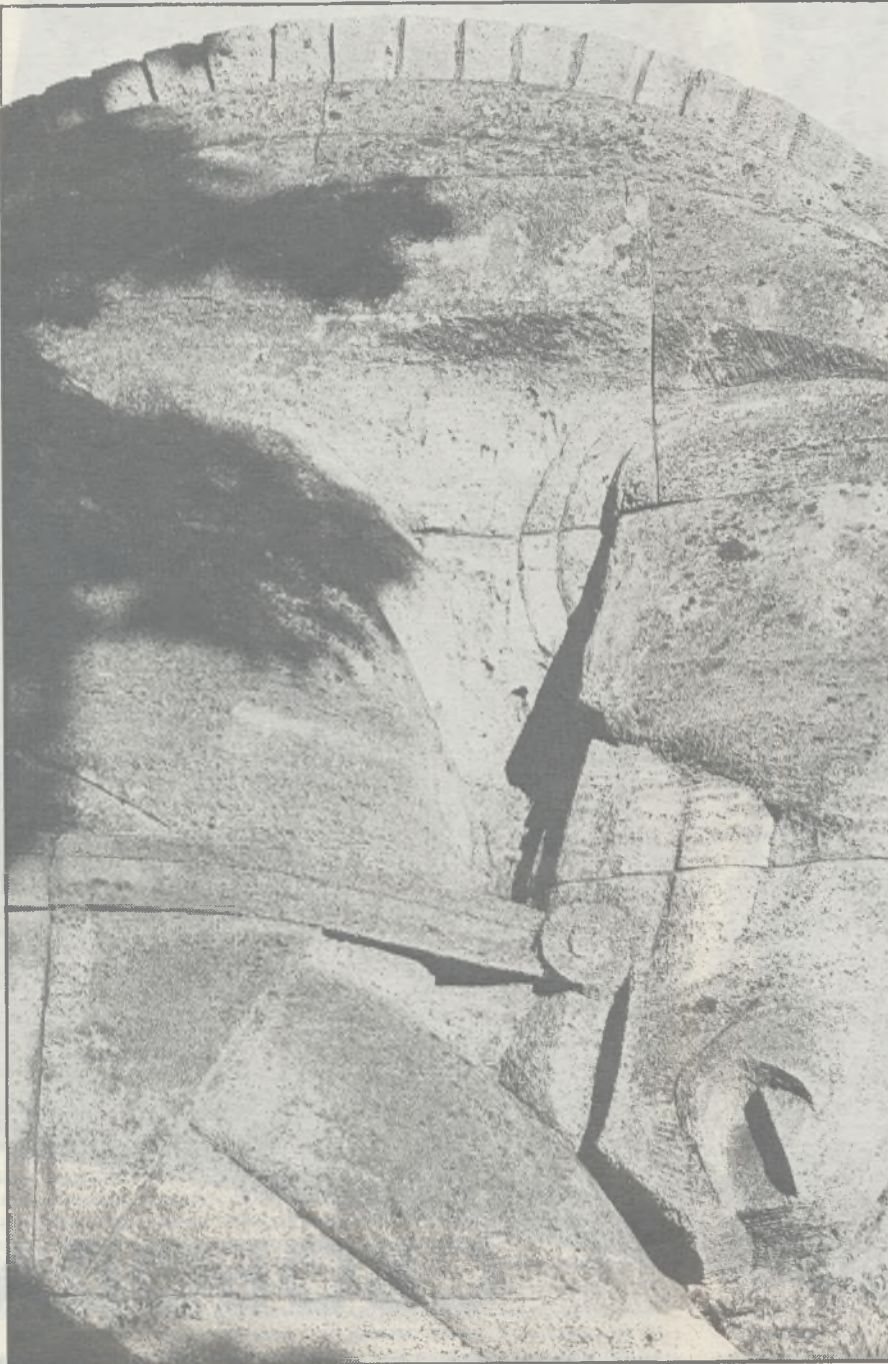
того времени. Но нет, там не только удостоверяется дух стрелков и нации. Взгляд Матери Латвии куда более зорок. В нем, возможно, — сожаление о парламенте, разогнанном ~~уничтоженными~~ левыми, предчувствие ужаса ~~пришедшей~~ Бань Гитлера и Сталина, угроз ~~трехдцати~~ лет... Мать погружена в ~~слухавшую~~ задумчивость и взгляд ее ~~направлен~~ ~~идаль~~ — поверх наших голов. Светлая ~~Бома~~, что еще она видит там?

Я вспоминаю свои паломничества к памятникам Зале. Это были уроки истории Латвии, дать которые не могла никакая школа. Был прямой контакт, прямое обращение к уму и сердцу. С исторической вещной наглядностью, конкретностью и осознанием ~~неуловимых~~ понятий. Это были молчаливые разговоры, когда легко, передаваемой словно материнской лаской, приходило понимание Чести, Родины, Свободы... Все это происходило так же просто, как в любви, когда не приходится объяснять, уговаривать, доказывать.

Там, тогда же, познакомился и с цинизмом, глупостью, темнотой, варварством. Все эти жлобские фразы о Милде и трехзвездочном коньяке, доморожденные измышления об освободителях и «прибалтиках», весь этот комаринный перепляс и мычание о «фашистах» и «буржуйских националистах»... В шестидесятые, я слышал, занесли уже руку желающие сноса памятника Свободы. Опыт погромов был накоплен уже немалый. Сначала — культуры, потом — экономики, а затем и природы и человека... Так против идеи Свободы восстал Аппарат — по своей сути иррациональная, саморазрушительная машина, со своими парализующими на поту народном чиновниками, бюрократами, управлялами и муштровальщиками. Памятник Свободы все же выжил — сношенность шестеренок Аппарата время от времени вызывает сбои в его бездушном функционировании. Да в самом ли деле происходило все это в этот век знаний и ума — игра в памятник-невидимку, его долгая и судорожная реабилитация! Мы вроде бы говорим — была. Но разве и теперь, после реабилитации демократии и плюрализма, не происходит по некоторым дням истерически-нервная толкотня вокруг памятника Зале, не тянутся, разве, чьи-то руки к дубине! Кажется, будто постоянные интересы всех латвийских дорожников, ремонтников, благоустроителей, регулировщиков движения и охраны порядка сконцентрировались на пяталке вокруг памятника Свободы. В самом деле — похоже, что противники демократии с каждым новым витком своей активности становятся все более гротескными.

Синдромы страха и старых догм все еще в силе. Все еще, хотя и растерянно, действуют прежние жрецы Аппарата. Перестроились! Наверное, нелегко свыкнуться с мыслью, что Свобода не предназначена для избранных, что она не есть элемент начальнических привилегий и не выдается в спецраспределителях. Свобода снимает границы между людьми.

Если есть Свобода — не может уже быть чиновников, которые одергивают и поучают художнику, надсмотрщика — крестьян, хозяев — рабочих. Если есть Свобода — возможны только со-граждане, у каждого из которых свои человеческие стремления и каждому обеспечены права на счастье и соучастие в труде объединения. Это означает, что не существует более касты всезнающих главноуправлятелей, узурпировавшей права на «воспитание», командование и управление



рения, мы можем отдаться наслаждению их формами, но для каждого латыша здесь первична значимость идей: Народ, Отчизна, Труд, Просвещение, Борьба... И все они сходятся в одном понятии — Свобода.

Карлис Зале свою значимость для нашего народа обрел не просто, не только как хороший художник, но, прежде всего, как лучший выразитель его стремлений. Он был творец не только художественных

тия, которые — как склоны древней долины — содержат в себе и направляют порожистые потоки народной жизни. Они как свет маяка в ненастье, как сигнал поверки в тумане забот, как спокойствие матери среди разухабистого веселья.

У каждого из нас свой взгляд на события, происходившие у подножья этого монумента. Возникновение памятника Карлиса Зале нередко связывают, главным образом, с общественными процессами

этим «глупеньким», ведомым ими стадом. Я не могу быть свободен, если не свободен мой оппонент, если я не вижу в нем такое же мыслящее существо, каким кажусь себе сам. Если в его замечаниях, возражениях, альтернативах и протестах не нахожу отражения своих ошибок или не обнаруживаю возможности диалектического единства противоположностей. Советы это — где разные, различные собираются вместе держать совет. Где нет более приказа начальника и дубинки «блюстителя» порядка. Там начинается Свобода.

Но поучение монумента Карлиса Зале не сводится лишь к тому, что следует изгнать из себя дух рабства во всех его обликах — угодливом послушании, потребительской слепоте, шовинистической заносчивости...

Оно напоминает и о статусе нашей нации, нашей страны. Невозможно поверить, что республика средних европейских размеров обладает меньшими правами, нежели всемерно уважаемые острова Фиджи или какой-нибудь иной «Юрмалы» с его тысячью обитателей. Не допустимо смириться с положением меньшинства в своем доме. Мы здесь не гости. Гости здесь — не мы. Утверждения, что подобные устремления приведут к «буржуазному игу» и инспирированы «националистами» нас не убедят. Здесь нет противоречий ни с социализмом, ни с интернационализмом. Свобода не нормируется побочными условиями. Свобода складывается из свободы отношений между гражданами, народами, государствами. Я не свободен, если в любое время и по своему усмотрению не могу встречаться, разговаривать, сотрудничать со своими сподвижниками — живущими в любой точке планеты. Если сам я — заложник Apparata или если мой брат по планете ограничен от меня, заключен, запуган. Я не свободен, пока голодает африканец, пока у палестинца нет пристанища, пока истекает кровью афганец, пока заключен диссидент. Эти всемирные стрессы отзываются и в самых свободных из нас. Я не свободен, если страдает мой близкий или согражданин, латыш, поляк, еврей, русский, армянин, татарин... Я не свободен, пока вокруг меня существуют «белые пятна» истории, пока в Шмерли, в Литене, в Катыни, в Гулаге и еще в тысячах «полях смерти» не произнесено окончательное слово прощания.

Нам говорят — «империя зла». И мы в наигранном ужасе обижаемся. Но и [теперь] смотрим и всматриваемся в зеркало своей истории. Мы в ужасе не узнаем себя. Все враги вместе взятые не в силах были сотворить столько зла, сколько «свои» — своим согражданам. Все нероны, гитлеры, полпоты — бледнеют в сравнении с мировыми рекордами «наших». Наши лидеры оказались убийцами, авантюристами, насильниками, ворами, грабителями, стяжателями, дураками и, за десятилетия, — весь уголовный кодекс. Рядовых преступников постигает гнев и кара закона, а тут мы позволяем себе взвешивать: вот ведь, его именем творились и великие дела, построены [на горах трупов] заводы, города, выиграны войны... Чему удивляемся. Даже жертва иной раз трудно жалеть, потому что над живыми из них — возмездие «кармического правосудия». Цепная реакция зла, эскалация зла, омут зла, цветы зла... Самое тайное преступление будет однажды разглашено с самых высоких крыш. Я не свободен... Я не... не... Сколь разнообразны формы не-сво-

боды и сколь однозначна Свобода. Как мы еще отдалены от нее.

И еще несколько уроков памятников Карлиса Зале: — там рабочие Пятого года, дерущиеся с казаками. Там латышские воины бьются с немцами. Еще — напряжение боевых коней, образы павших стрелков, братья... И еще — символ меча. Совсем простое напоминание — за Свободу надо бороться. Ее либо защищают, либо утрачивают. Везде, всегда, во

нища, Свобода Эмиграции и Иммиграции, Свобода Образования, Свобода Отдыха и Здоровья, Свобода Совести... Целое собрание Свобод. И никогда не бывает Свободы слишком много. Пусть не морщится сомневающийся — анархия возникает именно там, где Свобода в недостатке. Пусть не говорит — эти де еще не выросли, не оценят, не сумеют с нею совладать. Свободой нельзя насытиться. Пусть не приписывают Свободе монополий



ФОТО ВАЛТСА КЛЕЙНСА И АЛЕКСАНДРА БИТЕ

всех формах. Свободу можно предать. Свободу можно грубо отнять. Свободу можно выменять на лишнюю порцию гуляша. Свободу можно усыпить. Но тот, кто однажды наслаждался поцелуем Свободы, ее не забудет уже никогда.

И все же и Она, единственная, несколько разнообразна: Свобода Слова, Свобода Личности, Свобода Собраний и Демонстраций, Свобода Труда, Свобода Выбора, Свобода Перемещения, Свобода Приста-

угнетателей и добродетелей разрушителей. Свобода — только творчество, только жизнеутверждение.

Идите, смотрите, учитесь, помните о Свободе. Следуйте Свободе. Все это присутствует там — как вечное напоминание — в Братском кладбище Карлиса Зале, в Памятнике Свободы Карлиса Зале.

Перевод АНДРЕЯ ЛЕВКИНА

КНУТС

СКУЕНИЕКС: «ТАМ Я ОЩУЩАЛ, ЧТО ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ...»



С ПОЭТОМ БЕСЕДУЕТ ГУНТАРС ГОДИНЬШ

Может, у каждого времени есть своя мера честности? Может, страдания, как и наказание, имеют срок давности? И долго ли оправдывать несправедливость замалчиванием? Почему зло, рожденное на троне повелителя, благословляется услужливыми руками придворных?

Вот вопросы, ответы на которые я не хочу выслушивать, потому что в ответах обычно полным-полно морали, а мораль — это воображаемая кем-то точка зрения на то, что считать правильным. Это — вопросы, которые нужно оставить во власти евангелия или ветра. Много грязи в нашей истории, и, прежде чем рас-

суждать о высоких категориях, надо признаться во всем. Прочитав книгу английского писателя и политика Роберта Конквеста «Большой террор», я понял, что наша жизнь во времена Сталина зависела только от капризов и интриг руководства. И ни один историк не убедит меня, что сразу же после сталинских времен кто-то там, «наверху», вообще думал о людях. Слишком много зла я вижу и теперь, чтобы считать его «случайным». Это потому, что умолчание — это тихая надежда вернуться к прежнему злу. И непростительно, что избегают упоминать тех, кто несправедливо был загнан в лагеря, причем уже не при Сталине, а при наследниках его традиций, в совсем недалеком прошлом.

Одной из жертв этого периода был поэт и переводчик Кнутс Скуениекс. Если теперь из ящиков письменных столов извлекаются запыленные, неопубликованные, более или менее удачные рассказы и стихи, то, на мой взгляд, только книга К. Скуениекса «Семя в снегу» — одно из самых серьезных произведений, появление которых во время перестройки — насущная необходимость. Ибо это не только свидетельство времени и судьбы, но и явление в литературе.

Г. Г.: — Улдис Берзиньш, анализируя в журнале «Дружба народов» положение дел в современной латышской литературе, обмолвился, что недавно издана твоя книга «Семя в снегу», написанная во время «длительной творческой командировки». Что это была за командировка?

К. С.: — Это была такая командировка, что в какую сторону ни посмотри — увидишь такой декоративный элемент, как колючая проволока. Это лагерь, конкретно — лагерь в Мордовской АССР, а время — с 1963 по 1969 год. Но у метафоры Улдиса есть и реальная основа, потому что меня пригласили «для небольшой беседы» из вентспилсской гостиницы, где я действительно находился по заданию газеты «Литература ун Максла»; так газетная командировка превратилась в «длительную творческую».

Г. Г.: — В чем же ты согрешил и как было сформулировано «дело К. Скуениекса»?

К. С.: — В обвинении фигурировали две статьи: первая — традиционная шестьдесят пятая, которая, к сожалению, до сих пор существует в нашем законодательстве как некий жупел, это статья об антисоветской агитации и пропаганде. Эту статью можно инкриминировать любому советскому гражданину и при любой степени лояльности. Мне пришлось хранение дома британской энциклопедии, хотя она спокойно лежала на книжных полках всех крупных библиотек и книголюбов. Правда, позднее ее изъяли из оборота. Дошло даже до такого абсурда, что пострадали и те, кто вообще не знал английского языка. Вторая статья была восемьдесят четвертая — статья о недонесении о государственных преступлениях. Это мне служило к чести. Как выяснилось, это было только формальной причиной.

Г. Г.: — Значит, дело было совсем не в этом?

К. С.: — Когда я был уже по дороге в Мордовию, в Рузаевке — городке, который Чак упомянул в поэме «Возвращение стрелков», — в мои руки случайно попала «Литературная газета», и я прочитал материалы идеологического пленума 1963 года. Тогда и забрезжил свет истины. Как раз перед этим идеологическим пленумом должны были состояться съезды республиканских писательских союзов, а потом и всесоюзный писательский съезд. Это было время активности не только в Латвии. Я тогда еще не был членом Союза писателей, только что окончил московский Литинститут, но вместе с коллегами включился в преждевременную перестройку. Мы много думали, как добраться до почтенных руководителей Союза писателей, как наладить предвыборную агитацию, каких кандидатов выдвигать. Все это обсуждалось пусть и не в очень широкой, но все же в аудитории, а в ней, как выяснилось, были профессиональные «глаза и уши». Все выплыло на по-

верхность, и в руководстве республики уже обсуждали, сколько писателей репрессировать, однако в конце концов приняли соломоново решение — посадить меня одного, во утешение прочим. Это я понял уже потом, когда, знакомясь в суде со своим делом, нашел протокол обыска квартиры Визмы Белшевицы, а также материалы заседания партийной и комсомольской организаций Союза писателей. На этом заседании Янис Ниедре увлеченно читал и анализировал фрагменты моих стихов. Фрагменты — потому, что полный текст вызвал бы недоумение — а где же тут антисоветизм? Интересно, что этот протокол остался без окончания, ведь не было закончено, как я узнал потом, и это собрание, потому что О. Вацитис сказал, что такие действия противозаконны, ведь существует презумпция невиновности, и нельзя хулить того, кто еще не осужден. Но тогда было много подобных акций. Это можно считать волей террора Пельше. Это был тихий террор, которому люди дивились — ведь сталинские времена уже окончились.

Г. Г.: — Но начался новый этап — стремительно росло число осужденных, на людей ставили политическое «клеймо». В Москве это был Евтушенко, Вознесенский, спор Хрущева с молодыми художниками, в Риге была клевета на писателей в газетах...

К. С.: — То, что теперь вызвало бы легкое пожатие плечей, тогда считалось жутким криминалом. Например, достаточно было рассуждений, как бы выглядела Советская власть в Латвии, если бы она была установлена после войны. Нельзя было и заикнуться о том, что в 1941 или 1949 годах кто-то был незаконно депортирован. Во время суда мой прокурор провозгласил даже, что каждый, кто осмеливается утверждать, будто хоть один депортированный пострадал безвинно, бесовский лжец. Этот бескровный террор был не легче сталинского, потому что в людях сохранялось чувство страха.

Г. Г.: — Чувствовался ли на твоём процессе человеческий и юридический шантаж во имя «высоких» идеалов?

К. С.: — С профессиональной точки зрения мой процесс был проведен на очень низком уровне. Как оказалось, для моего суда это был пробный процесс. Может, поэтому он так грубо вел себя на суде, оскорбляя свидетелей и даже угрожая им, и шантажа там хватало, он оказался подходящим приемом для осуждения невиновных. Когда генеральный прокурор СССР квалифицировал этот процесс как брак, мое дело стали пересматривать, активно меня обрабатывая, чтобы я просил о помиловании, таким образом морально и юридически санкционируя свою виновность. Конечно, я не сделал этого, потому что главное — человек не имеет права плавать в лицо ни себе, ни другим.

В 1965 году состоялся, хотя и с опозданием, съезд Союза писателей Латвии, и когда я там, вдали, присел на солнышке возле барака, раскрыл «Литература ун Максла» и увидел новый состав правления и секретариата, на душе полегчало. Значит, и дело, которое мы начинали, и мое пребывание в лагере были не напрасны.

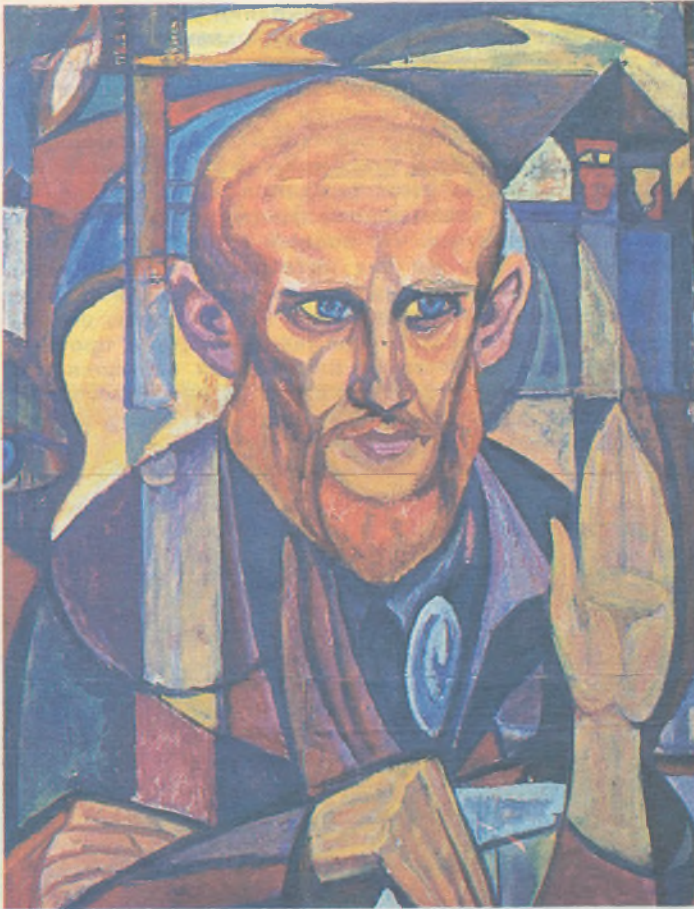
Г. Г.: — А тебя вообще вспоминали в Латвии?

К. С.: — Я все время чувствовал свою связь с коллегами. Дважды — в 1965 и в 1968 годах — секция поэзии Союза писателей официально обсуждала написанные мною там стихи.

Г. Г.: — Я узнал о лагерях (слава богу!) только из произведений писателей, из мемуарной литературы. Это были А. Солженицын, Алдан Семенов... а каково твое непосредственное впечатление?

К. С.: — Теперь больше пишут о сталинских лагерях, а о хрущевских и брежневских (я пережил и те, и другие) практически не говорят. По сути они похожи, отличается только механизм.

Что могу сказать о месте? Это еще Европа, а не Азия. Мордовия славится своими лагерями с 1918 года, когда там появились первые заключенные. Там боло-



тистые речные берега, маленькие поселки. Вообще впечатление трудно передать словами, там сложилась фантастическая и гротесковая ситуация. Во всех разговорах о перевоспитании и исправлениями ножницы между словом и делом проявляются еще ярче, чем в жизни за пределами лагеря, ибо я обнаружил, что лагерь — это сконденсированная до схемы модель государства. Находясь в полной изоляции, мы каждой клеточкой чувствовали изменения в международной ситуации. Знали о событиях 1968 года в Чехословакии. Это звучит неправдоподобно, но мы там даже читали чехословацкий манифест «2000 слов».

Вот еще эпизод, подтверждающий мои слова о гротесковости ситуации. «Чистка общества» мало коснулась процесса Берии, но несколько «берийцев» в лагере все же были. Это были или бывшие следователи, или сотрудники министерства внутренних дел, которые сравнительно быстро нашли общий язык с бывшими следователями из SD. Все они дружески разгуливали парочками, обращались друг к другу — «товарищ», и на Октябрьских бодро исполняли «Бухенвальдский набат».

Г.Г.: — Я вспоминаю порой слова Элберта Харбарда: «Не относись к жизни слишком серьезно, все равно живым из нее не выберешься». Не пригодилось бы там такое изречение?

К.С.: — И как еще. Расскажу об офицере, которому были доверены наши тела и души. Официально он назывался начальником отделения. Как-то он упрекнул

нас: «Почему, ребята, не ходите на политзанятия? Неужели вам трудно раз в неделю полчаса на эту ерундовину уделить?» Он же — автор такого гениального определения: «Коммунистический способ распределения — от каждого по способностям, каждому — по возможностям!» Остроумие, шутки, черный юмор — это было необходимо.

Г.Г.: — Было бы время, свободное от демагогических речей, перевоспитания, тяжелого физического труда и карцера?

К.С.: — В лагере собрались люди со всех концов страны, самых разных профессий, с самыми разными интересами. Начиная с колхозного пастуха, который кроме коровьих хвостов ничего в жизни не видел, а статью за политический террор схлопотал, отлупив спьяну председателя колхоза, и кончая кандидатом исторических и философских наук, который хотел учить марксизму по Марксу, а не по другим учениям. Были там и профессиональные литераторы — и знакомый литературовед Андрей Синявский, и писатель и переводчик Юлий Даниэль. Публика собралась очень пестрая. Каждая национальная группа отмечала свои праздники, в том числе пасху, рождество, на которые приглашали всех. Это действительно была образцовая модель интернациональных отношений. Мы, латыши, регулярно устраивали в сентябре дни Райниса, украинцы — праздник Шевченко. Предварительно готовились подстрочки, и стихи звучали на всех возможных языках. Юлий Даниэль, побывав на первом таком мероприятии, даже сказал, что стоило бы показать все это в Колонном зале.

Г.Г.: — В годы заточения у тебя копилось стихи, постепенно формировалась книга, которую можно публиковать только сейчас.

К.С.: — Стихи я писал потому, что это было единственной возможностью выжить самому и помочь выжить товарищам. Я чувствовал также социальную поддержку и ответственность. Именно в лагере я понял, что стихи должны иметь конкретный адресат, и этому принципу старался следовать и позднее. Примерно за полгода до возвращения мою фамилию можно было частенько услышать в заграничных радиопередачах, и это помогло быстрее включиться в литературную жизнь, потому что руководство республики было заинтересовано в укреплении мнения, будто все в порядке и никаких репрессий против меня нет. Но книга тогда все равно не вышла, хотя у нее было целых три рецензента — А. Балодис, О. Вацетис и А. Григулис. О рецензии Ояра сказали, что она слишком положительная, а А. Григулис поделил стихи на публикабельные и непубликабельные, про название же сказал, что от него слишком пахнет тюрьмой.

Но я теперь убежден, что последний вариант этой книги — оптимальный. Я выкинул много стихотворений, в которых чувствовалась недоработанность или желчность. Одному я в лагере все же научился — писать концентрированно, точно излагать свои переживания. Может, так бывает, если слишком долго смотришь в одну точку? Эта традиция продолжается — мне часто приходится теперь смотреть в больничное окно. Я вывез из Мордовии тяжелую и неизлечимую болезнь, и она преследует меня, как черное наваждение, как вечное напоминание.

Г.Г.: — Несколько твоих песен, сочиненных в лагере, бродят по свету, как легенды, и уже успели «уйти в фольклор».

К.С.: — И во время следствия, и потом, в тюремной одиночке, мне не давали карандаша и бумаги, и я сочинял песни, и хранил их в голове. Мелодии заимствовал у романсов. Эти песни были с нами в лагере, потом, уже на свободе, люди пели их, часто не зная, кто автор. Я их делю на две категории — «яд» и «противоядие».

Г.Г.: — Спой что-нибудь «ядовитое».

К.С.: —

Над крышами всходит солнце, шумят свободные леса,
Над зелеными полями — теплые дожди.
А у нас — голые камни и голая жизнь,
И грустные воспоминания вянут, как былинки.

Когда в тихих долинах ветер разносит цветы черемухи,
Перед нами эта белизна встает лишь во сне.
Наши девушки идут на свидания с другими,
и давно уже нам не на что надеяться и не по кому тосковать.

Так проходит весна, так проходит лето,
Так проходит молодость и исчезает любовь.
Только скупая слеза во мраке ночи,
Как раскаленный уголь, пылает на щеке.

Когда-нибудь распахнутся ворота к светлой свободе,
В глазах будет вечер, в волосах — снег,
И кому будет нужна эта голая жизнь?
Ты будешь вытолкнут из нее, ты будешь лишним.

Теперь это, возможно, звучит страшно пессимистично,
но такие песни без иллюзий закаляли людей.

Г.Г.: — Ты часто видишь лагерь во сне?

К.С.: — Вижу, но не очень часто. Могу рассказать два сна. Один такой: я отсидел весь положенный срок, а меня не выпускают, и я никому ничего не могу доказать. Второй сон еще диковинней. Я возвращаюсь в лагерь, нахожу свой барак, но не могу отыскать свою койку.

Г.Г.: — А не хотел бы ты когда-нибудь побывать в тех краях?

К.С.: — Я хотел бы попасть в зону, взобраться повыше и глядеть сквозь забор, как между вершинами елей заходит солнце. Там я физически ощущал, как вращается земля. Тогда я оставался в цехе последним для уборки и неделями наблюдал, как перемещается солнце. Это было моим настоящим календарем. Я читал «Волшебную гору» Томаса Манна, но читал ее очень медленно, чтобы ощутить вкус каждой страницы, почувствовать каждую ситуацию. Человек в неволе не стареет, потому что там время вроде бы останавливается.

Г.Г.: — Может, стоило бы назвать это место краем горьких иллюзий, где каждый хранит в душе злость и внутреннюю месть?

К.С.: — У меня эта горечь, возможно, изливалась в стихах, но я все время осознавал, что нахожусь здесь из-за дурацкого стечения обстоятельств, как жертва несправедливости. Но многие пытались создать себе более героическую биографию, пытались втиснуть себе и другим, будто посажены не напрасно. Я понял, что все это не катастрофа всей моей жизни и не звездный час, а тяжелый, трудный этап.

Г.Г.: — Приходит на ум высказывание Будды о том, что победа — причина ненависти, и победитель несчастен. Ты не узнаешь, были ли эти твои «победители» тоже несчастны, но можно надеяться...

К.С.: — И мой прокурор Паже, и судья Р. Бризе скорее уж были марионетками в руках тогдашнего высокого начальства. Как нам теперь известно, эти победы были грязными и лживыми. Поэтому я теперь не возражаю против пересмотра моего дела, а хочу, чтобы восторжествовала справедливость, пусть и много лет спустя. Я слышал, что местная прокуратура этого сделать не может, что, как это у нас постоянно, все пути ведут в Москву. Это потому, что протест генерального прокурора тогда был отклонен пленумом Верховного суда СССР. Теперь все это надо решать на более высоком уровне.

Г.Г.: — Я все время удивлялся — почему, говоря о «литературных судах» шестидесятых лет над О. Вацетисом, Э. Вилксом, В. Белшевицей и прочими, не упоминают тебя.

К.С.: — Думаю, тут есть две причины. Во-первых, были распущены слухи, будто я связан с какой-то группой,

а во-вторых, все время избегали самого слова «лагерь», и у моих стихов, написанных в Мордовии, даже вычеркивали дату. Я хочу поблагодарить за смелость моих коллег. Я знаю, что они даже пытались собирать подписи в мою защиту. Но это дело сразу прикрыли. И В. Белшевица, и И. Аузиньш, и М. Чаклайс, рискуя своими репутациями, писали мне письма и посылали свои книги. Это помогло мне выдержать.

Г.Г.: — Помощь, конечно, важна, и все же человек остается наедине со своими сомнениями, страданиями и надеждами...

К.С.: — Потому-то больше всего помогала мысль о смерти. Достаточно было взглянуть на морг или лагерное кладбище, и сразу же возникала странная мысль — если помрешь в лагере, не досидев срока, твой труп не выдадут близким, и останешься ты в этом захолустье на вечные времена. Главное в таких условиях — выстоять. Тем, кто в лагере не бывал, это ощущение можно растолковать при помощи экзистенциализма — философии для условий войны, заключения, оккупации. Испанский философ Ортега-и-Гассет, говоря о концепции Кальдерона «жизнь есть сон», высказал такую мысль (точно не помню, но смысл таков): даже если жизнь действительно сон, ее нужно прожить достойно. Если я осознаю, что в любое время могу покончить с собой, что я хозяин своей жизни и смерти, что мне принадлежит последнее слово, — это дает очень много.

Г.Г.: — Сохранилась ли у тебя хоть одна фотография лагерных времен?

К.С.: — Фотографировать запрещалось, но это не значит, что не фотографировали. Но мне удалось сохранить и нетронутой вывезти оттуда картинку украинского графика и пейзажиста Опанаса Заливахи. Там изображен я в окружении довольно привычной символики — дремлющее око часового на башне, гитара, а на груди светлое пятно. Это — ложка, которая всегда должна была быть при себе. Мы носили ее не по старинке, за голенищем, а в нагрудном кармане, как орден. А вообще в лагере рисовали многие, пока это не запретили. Потом начали беспокоиться, что многие портреты попадают на свободу, и начались чуть ли не «иконные бунты». Мой друг Опанас рисовал эту картину на кусочках ватмана, которые с обратной стороны склеивались. Ее можно было разобрать, и я пытался переправить ее нелегально в разобранном виде на свободу с одним из освобожденных. Но все пошло прахом, и, поскольку можно было понять, кто нарисовал, я получил пятнадцать суток карцера.

Г.Г.: — Жалеешь ли ты об этих семи годах?

К.С.: — Не жалею. Это мой горький, но крепкий опыт. Конечно, могло случиться всякое, но я теперь понимаю, что и потерял, и приобрел.

Г.Г.: — Ты уже спел одну песню из «ядовитых». Может, в конце разговора споешь и «противоядие»?

К.С.: —

Стволы винтовок смерть сулят,
Охраняют нас, как зверей.
Осенние ветры за стеной рыдают,
Ржавеет колючая проволока.

Вот за этими соснами — край света,
И больше идти уже некуда.
Надо задушить в груди трусливый голос
И покрепче сжать зубы.

Помоги товарищу, упавшему от усталости
Дальше будет еще труднее.
Покуда люди живут на земле,
Вечно им нас вспоминать.

Но, как бы долго нас не отрывали от жизни,
Всегда у нас будет путь, чтоб идти.
Покуда во рту еще зубы есть,
Покрепче надо их сжать.

(Стихи ганы в подстрочном переводе.)

ЧИТАЕМ НАБОКОВА:

«Изобретение Вальса» в постановке
Адольфа Шапиро.

В ту недавнюю (и кажущуюся изжитой) эпоху, когда за театром, скрепя сердце, полупризнавали право духовной экстерриториальности, когда под крышей храма Мельпомены можно было при удаче найти что-то вроде эстетического убежища, когда сценическое представление оказалось единственной возможностью общественного сопротивления, и постановщики спешно списывали друг у друга вокабулы эзоповой речи (напомним: рабьей по своему анкетному происхождению), — в эпоху ту сам тип спектакля заимствовал повадки своего всеильного противника: спектакль вещал. Новый рижский спектакль по Набокову занимается иным: он читает. Читает медленно, не спеша поставить логические ударения, пока не обозначился конец фразы. Спектакль свободно и внимательно ступает по тексту пьесы, с веселой готовностью погружаясь в жесткую дикцию полузабытого книжного языка, наслаждаясь ритмичкой стародавней официальной речи, накрахмаленными оборотами и по-прадедовски громоздкими шутками, — язык этот специально был избран Набоковым по его позднему признанию для контраста формально-правильных бесчеловечных словес и хаоса, открывающегося за ними.

Театр вместе со зрителем вчитывается в пьесу, догадывается и обманывается, мягко подводя к подстроенным автором ловушкам. Сам спектакль ведет себя, как читатель: послушно идет навстречу смысловым тупикам, добросовестно оглашает не до конца понятные, но интригующие места, заново перечитывает особенно интересные куски и бегло пролистывает те, которые, как ему показалось, не содержат тайн. Иначе говоря, театр подчеркивает свое уважительное без подхалимства отношение к тексту. Собственно говоря, уважение к драматической литературе (к которому в более или менее малограмотных рецензиях и доносах зывали борцы с режиссерским произволом в кажущуюся изжитой эпоху) возможно только в одной форме — живого чтения классического текста.



Каждый спектакль формирует свой тип зрителя, придавая всякий раз особое амплу собравшимся в зале соглядатаям. Зритель может быть очевидцем, третейским судьей, обладателем права голоса на митинге, козлом отпущения, виновником торжества, простаком на ярмарке, последней нравственной инстанцией и так далее. Спектакль «Изобретение Вальса» навязывает зрителю амплу читателя. Со всеми вытекающими правами. И обязанностями.

Эта роль, выпавшая зрителю, вытекает из особой структуры набоковской драматургии. В 1938 году, когда было написано «Изобретение Вальса», современница Набокова-Сирина поэтесса Л. Червинская недоуменно замечала по поводу пьесы «Событие»: «Театральная речь лишена прилагательных, она скорее «глагольная», и здесь стиль Сирина теряет блеск и остроту. Иногда автор, все же верный себе, заставляет своих героев говорить своим языком (неожиданных сравнений и парадоксов). Со сцены это звучит фальшиво и для актеров должно быть трудно-произносимо». Набоков не забыл этого упрека и через много лет отвечал на него в своей американской лекции: «Существует старое заблуждение, согласно которому одни пьесы рассчитаны на то, чтобы их смотрели, а другие — на то, чтобы их читали. Правда, есть два рода пьес: глагольные пьесы и пьесы прилагательных, простые пьесы действия и цветистые пьесы характеристики — но независимо от подобной классификации, представляющей собой просто поверхностное удобство, прекрасная пьеса любого из этих типов равно восхитительна и на сцене, и дома.» На спектакле «Изобретение Вальса» зритель все время вынужден ощущать двойное жанровое гражданство

пьесы, как бы освещаемой одновременно огнями рампы и настольной лампой.

Чтение Набокова — это постепенное погружение в многослойность текста, возвращение к прочитанному и пересмотр его, чередой раздираемых повествовательных завес, подглядывание за игрой автора со своими героями. Более того — это присутствие при самом становлении, «сочинении» персонажа. Набоков как-то защищал «сочиненность» действующих лиц, замечая, что она «на самом деле гораздо живее мертвой молодцеватости литературных героев, кажущихся среднему читателю списанными с натуры. Натуру средний читатель едва ли знает, а принимает за нее вчерашнюю условность». По Набокову, вымышленному герою идет «творческая печать легкой карикатурности. Я упортебляю это неловкое слово в совершенно положительном смысле: усмешка создателя образует душу создания».

Главный герой этой пьесы «сочиняется» способом смыслового взрыва. Подобно тому, как устроено принадлежательное ему изобретение («...найденны два луча или две волны, которые при скрещении вызывают взрыв... необходимо только заставить их скреститься в выбранной на земном шаре точке»), он и сам порожден вспышкой скрестившихся литературных волн. Из чего сложился так и не открывший своего подлинного имени измученный человек-любов, взявший себе псевдонимом имя Сальватор (то есть — Спаситель), а фамилию — Вальс? Один из первых критиков пьесы назвал его «помесью Бела Куна с Хлестаковым». Действительно, в самозванном спасителе сквозят черты неистовых интернациональных освободителей, беззаботных на счет чужих жизней, а призрак «Ревизора» витает над

всеми эпизодами пьесы (и сцена Вальса с генералами ставилась режиссером по образцу сцены Хлестакова со взятками). Но бархатную темноту набоковского замысла пронизывают и другие цитатные лучи. Министру долго не дается имя последнего посетителя: «Что, пришел... как его... Сильвио... Сильвио...». Обмолвка старого вояки вводит тоненький лучик подсказки — пушкинский невольник мести, кавалер сюжетного круга, годами лелеявший мечту о выстреле реванша. Выстрелом оказался поврежден швейцарский ландшафт (то есть, как известно, горный), подобно тому, как изобретение Вальса покорежило гору в раме министерского окна. Впрочем, пушкинская подсказка могла прозвучать в пьесе еще и раньше. «Под такую фамилию хоть танцуй», — находчиво пошутил министр, при этом, наверное, не ведая о цитате, которая всегда была внятна сочинившему этого министра автору, — в набоковском рассказе «Письмо в Россию» говорится: «Помнишь, как Пушкин написал о вальсе: «однообразный и безумный»». О безумии Вальса догадался Полковник, опереточный фат, но не был услышан ни своим Министром, ни зрителями. Об однообразии же знал только автор. Безумный реформатор явился с идеей окружить мир оградой угрозы всеобщей гибели, а внутри этой ограды должны наступить полная свобода, мир и тишина. Он исповедует веру в спасительность круга и сообразно со своими геометрическими симпатиями превращает голубой конус за окном в «нечто вроде Столовой Горы». Но, присягнув Кругу, он уже не может уйти от законов однообразных исторических кругооборотов, когда принудительное благоденствие человечества вальсообразно переходит в попытки

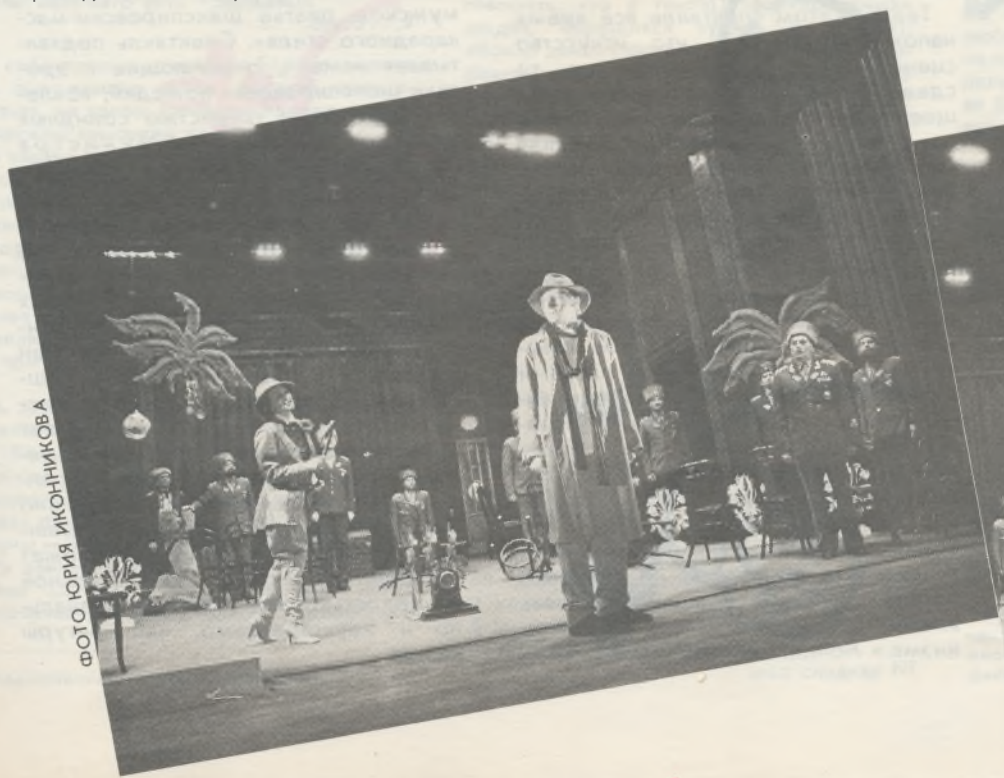


ФОТО ЮРИЯ ИКОННИКОВА

и казни. Вот смысл танцевальной фамилии, вот почему веберовская формула «Приглашение на вальс» распалась у Набокова на два взаимодополняющих замысла — «Приглашение на казнь» и «Изобретение Вальса». Однообразному циркулярному безумию прекрасноту и насилия противостоит человек-гора с тоже говорящей (на сей раз по-немецки) фамилией Берг. В этой сказке (а ведь автор нас предупредил, что начинается сказка, снабдив одного закулисного персонажа фамилией Перро) выигрывают два дурака: прямолинейный Полковник и старомодный солдафон, столь негибко вцепившийся в свою архаическую честь.

Из того обстоятельства, что зритель на этом спектакле усажен за парту читателя, вытекает одно любопытное социологическое следствие. Из многообразия обладающих досугом горожан спектакль привлекает скорее любителей почитать, чем любителей поглазеть. В значительной степени — это новый зритель (а новый зритель является главной надеждой в поисках обновления театрального языка), тот книжечей, который не без известных оснований отвернулся от сценических убогих эпохи театролюбивой стагнации.

Все сказанное выше не означает, что театр изменил своей зрелищной природе, превратившись в какую-то публичную библиотеку. Если мы и метафорически именуем зрителя «читателем», то надо вспомнить, какого читателя предполагают набоковские книги, каким он неизбежно становится в процессе чтения.

Творчество Набокова, как известно всякому, кто знаком с ним, вызывает к читательской зречести. «Имей глаза...» — так начинается одно стихотворение неизменно любимого Набоковым Владислава Ходасевича. «Сокровища наблюдательности», — как-то обронил Набоков по поводу сочинений коллеги. Текст пьесы «Изобретение Вальса» щедро изобилует образцами набоковской словесной микроскопии, десятками точно подмеченных деталей. Спектакль Набоков предлагает режиссуре начать со сцены извлечения соринки из глаза — с завуалированного офтальмологическими подробностями призыва «Зри!». Если и есть дидактика в набоковском замысле, то она — как показывает спектакль — сводится к простой заповеди: видь и верь очам своим. Дефект зрения содержит в себе возможность нравственной болезни. В ранней молодости персонаж, называющий себя Сальватор Вальс (С. Юдин), засорил глаз и в продолжение месяца видел все в ярко-розовом свете, как сквозь цветное окно. Вылечивший его окулист назвал это явление «оптическим заревом». У сорокалетнего

утописта цветная пелена сменит колорит и станет явственно кровавой, когда кривая вальса вынесет Вальса к тирании, проходя на поворотах предусмотренные танцем точки («Вчера я отдал приказ в двухдневный срок очистить остров от его населения и снести к чертовой матери виллы и гостиницы, в которых прохладжались ваши разбогатевшие купцы»). Социальному дальтонику за рулем государства вполне подстать и предназначенный ему близорукий шофер (П. Строчилин).

В середине шестидесятых Набоков подчеркивал, что его пьеса не имела никакого политического «посыла». Как представляется, и эта первая в мире постановка «Изобретения Вальса» не может быть отнесена к политическому театру. Но она предполагает зрителю фиксированную точку зрения на политику и политиков. Спектакль говорит о социальной зоркости. Когда девственник Вальс хочет укрыться под маской во время встречи со своим новонабранным гаремом, ему предлагается выбор: «Рождественский дед, например. Не годится? Ну, а эта — свинья? Не хотите!». Подобно своему герою («Я не решил и общего вопроса: какую дать хребту и ребрам мира гражданскую гармонию, как лучше распределить способности, богатства и силы государства моего»), Набоков не вдается в политическую конкретику: «Социальный или экономический строй идеального государства меня интересует мало. Желанья мои весьма скромные. Портреты главы государства не должны размером превышать почтовую марку». Но одно он знает твердо: «Никаких пыток, никаких казней». Основная гражданская добродетель — социальная зоркость; имеющий глаза должен отличить боров от Деда-Мороза.

Театр в этом спектакле все время напоминает о том, что искусство сцены — искусство для зрячих, то делает видимым пустое место, несущее титул Президента республики, то разглаживает в финале спектакля механическую Психею, душу не то Вальса, не то спектакля, заводной бабочкой пересекающую сцену (сценограф В. Ковальчук). Зрячий, зрячий, видящий сквозь прозрачную словесную перегородку зритель-читатель невольно становится созерцателем чужого сновидения, ибо всплывающие в провалах между словами иллюзорные картинки и кадры сновидения. Для Набокова идеал драматургии — сновидчески (dream-tragedies) «Гамлет», «Король Лир», «Ревизор» и две три пьесы Ибсена: «Я называю «Короля Лира» или «Гамлета» сновидческими трагедиями потому, что логика та, и, скорее, логика кошмара замещает здесь элементы драматического детерминизма.» Концепция эта, может быть,

досталась Набокову по наследству от начала века. В 1918 году в Ялте Набоков подолгу беседовал с Максимилианом Волошиным, одним из наиболее последовательных пропагандистов идеи театра как сонного видения. Волошин писал: «Театр в целом создается из трех порядков сновидений, взаимно сочетающихся: из творческого преобразования мира в душе драматурга, из дионисической игры актера и пассивного сновидения зрителя. Сновидение зрителя является моментом, решающим судьбу театра, так как от его воспринимающих и преобразующих способностей зависит объединение всех элементов, образующих театр». В пьесе 1938 года Набоков все действие и построил на сне. В предисловии 1965 года он объяснил: «Если с самого начала действие пьесы абсурдно, то это потому, что безумный Вальс именно таким образом — еще ДО того, как пьеса начинается — воображает, каким оно должно быть, дожидаясь снаружи, сидя в кресле викингского стиля, — воображает свою беседу, которую ему удалось обтупить с помощью старого Берга, и сказочные последствия этой беседы; беседы, которой в реальности он удостоится только в последней сцене последнего акта. По мере того, как его грезы в приемной развертываются, прерываемые паузами забвения между козырями его фантазии, то там то сям наблюдается внезапное истончение фактуры, протертые места на яркой ткани, позволяющие увидеть мерцание дальней жизни». Автор «Изобретения Вальса» хотел видеть в своей пьесе отголоски шекспировских снов и своего Сона (И. Федорова) в английском переводе обозначил так: «Виола Транс — репортер и доверенное лицо Вальса; она изящная женщина лет тридцати в черном мужском платье шекспировски-маскарадного стиля». Спектакль подхватывает намеки, отсылающие к эротике шекспировских комедий, вовлекая в озорную трагедию солидных военнослужащих — Министра (В. Плют) с Полковником (Е. Гамбург).

Но за всеми этими вывертами и капризами сновидения нельзя не заметить, что сон этот может относиться к разряду тех, о которых говорят — в руку. Ибо зрячий зритель, внимательный читатель должен провидеть неизбежный финал пошлейшей из эротик, «мирового донжуанства» (как говорит Сон в ответ на заявление Вальса о любви к человечеству): переделка мира инфантильными маньяками (не случайно Вальс в последних фразах апеллирует к «отсталому ребенку») может завершиться только инфантильной жестокостью. Это очевидно, банально и неустареваемо, как фигуры вальса.

ROCK IN THE USSR

У Владимира Высоцкого не было контактов с рок-миром, и в этом была вина рокеров, которые по наивности своей и беспечности просто не доросли до той степени осмысления мира и его боли, что питала творчество Высоцкого. И потом, мы слишком любили музыку, и большинство мало интересовалось «словами». Многие продолжали воспринимать пение по-русски как неприятную повинность, и отбывали ее исправно, но без всякой заинтересованности. Да, английский стал старомоден и непрестижен, к тому же улучшившееся качество голосовой аппаратуры раскрывало все недостатки произношения. Но большинство русских текстов были настолько формальны, а часто и безграмотны, что Макаревич, при всей его пресной дидактичности, оставался единственным осмысленным поэтом.

С приходом «новой волны» положение начало меняться. Гребенщиков был первой ласточкой «не-невинной» текстовки. Он же однажды тем летом привез мне кассету парня, которого отрекомендовал как «Майка», своего приятеля. Нажав кнопку, я услышал следующее (в ритме быстрого рок-н-ролла, но под акустическую гитару):

«Я сижу в сортире и читаю «Роллинг
Стоун»,
Венечка на кухне разливает самогон,
Вера спит на чердаке, хотя орет
магнитофон,
Ее давно пора будить, но это будет
моветон,
Дождь идет второй день.
Надо встать, но вставать лень.
Хочется курить, но не осталось папирос.
Я боюсь спать, наверное, я трус
Денег нет, зато есть природный
блюз...»

Да, собственные сочинения Бориса, только что поражавшие своей уличной шершавостью, на таком фоне выглядели академическим «высоким стилем».

В нашем роке появилась струя «низменного» реализма, даже натурализма. «Пригородный блюз» стал одним из гимнов «новой волны» и одновременно жупелом, которые активно носили все поборники «чистоты» — включая, кстати, многих рокеров. На кассете были и другие песни не менее курьезного содержания, и мы договорились, что Боб привезет Майку в столицу при первой возможности.

А Москва, рок-Москва, тем временем совсем опустела. Из заметных групп только «Воскресенье» не попала в профессиональную систему и продолжала давать концерты в подмосковных клубах, запрашивая при этом с устроителей серьезные суммы — как за дефицит. Совершенно ничего занимательного ни в них, ни в еще более скучных группах «второй лиги» («Мозаика», «Редкая птица», «Волшебные

сумерки» и др.) не было, и передовая публика с большей радостью ходила на выступления «Последнего шанса» — очень смешной скиффл-группы, игравшей (помимо акустических гитар и скрипки) на массе детских и самодельных инструментов и закатывавших уморительные шоу с театрализацией, пантомимой, спортивными упражнениями и даже шутивным вымогательством денег у зрителей. Лидер «Шанса», Владимир Щукин, писал прелестные, иногда просто классические мелодии и пел трогательным голосом бродячего сказочника. Они использовали отличные стихи детских поэтов — забавные, парадоксальные, наивно звучащие, но отнюдь не глупые. Моей любимой была песня «Кисуня и крысуна»: педантичная крыса поучает кошку, как надо правильно и красиво вести себя на улице и в обществе; та выслушивает ее и без комментариев съедает.

По традиции, осенью надо было что-то устроить, но о фестивале речи не шло: знаменитости в этом больше не нуждались, а «шпаны» было слишком мало. Поэтому состоялся один большой концерт, где выступили «Последний шанс», «Аквариум», А. Макаревич (соло), Костя Никольский (лидер «Воскресенья» — тоже под гитару), Виргис Стакенас и Майк (настоящее имя Михаил Науменко). «Аквариум» к этому времени уже вступил в фазу реггет, притом без единого электрического инструмента. Две трети ансамбля переключилось на перкашин, а Борис сидел на стуле с акустической гитарой. Было много хороших новых песен: «Чтобы стоять, я должен держаться за корней» (тбилисские впечатления), «Кто ты такой (чтобы мне говорить, кто я такой?)» (о «солидных» людях, берущихся судить о группе), «Контр данс» (грустное посвящение Макаревичу, ставшему солидным и теряющему «корни»), «Мой друг музыкант» (могла бы быть посвящена очень многим — песня о том, что милые рокеры больше пьют и разглагольствуют, чем занимаются делом) и «Сегодня ночью кто-то ждет нас» (немного параноидальная песня о богемной жизни «в бегах»: «Из города в город, из дома в дом по квартирам чужих друзей (Наверное, когда я вернусь домой, это будет музей»). «Аквариум» принял прекрасно. Однако звездой вечера стал Майк.

Это было первое в его жизни выступление в большом зале. Он вышел носатый, в темных очках, и гнусоватым голосом для начала объявил, что рекомендует всем ленинградский «Беломор» и ром «Гаванаклаб». Затем запел «Сладкую N»:

«Я проснулся утром одетым, в кресле
В своей каморке среди знакомых стен.
Я ждал тебя до утра —
Интересно, где ты провела эту ночь,
моя сладкая N?»

Кое-как я помылся и почистил зубы
И, подумав, я решил, что бриться мне лень,
Я вышел и пошел, куда глядели мне глаза —
Благо было светло, благо был уже день —
И на мосту я встретил человека,
Он сказал мне, что знает меня.
У него был рубль, и у меня четыре.
В связи с этим мы купили три бутылки
вина...

И он привел меня в престранные гости:
Там все сидели за накрытым столом,
Там пили портвейн и резались в кости,
И называли друг друга дерьмом.
Там было все, как бывает в мансардах:
Из двух колонок доносился Бах!
И каждый думал о своем — кто о трех
миллиардах,

А кто всего лишь о пяти рублях.
И кто-то как всегда гнал мне о тарелках,
И кто-то как всегда проповедовал дзэн.
А я сидел пень-пнем и тупо думал.
С кем и где ты провела эту ночь, моя
сладкая N?»

Эта еще не вся песня, примерно половина. Но большой цитаты не жаль: тексты Майка имеют несомненную познавательную ценность, поскольку дают реальное представление об образе жизни и духе ленинградских «мансард». Можно было предвидеть, что Майк сильно удивит зал, но спонтанность и сила реакции превзошли все ожидания. Когда он пел свой коронный номер — медленный тяжелый блюз под названием «Ты дрянь», публика кричала «браво», улюлюкала и аплодировала буквально после каждой пропетой строчки (сохранилась запись). Это было невероятно — тем более, что в зале сидели не экспансивные грузины, а цивилизованная и снобистическая столичная молодежь. Чем же Майк ее так взбудоражил? Возьмем любой куплет «Дряни» — все они примерно одинаковы и посвящены описанию аморального образа жизни героини песни и ее болезненных взаимоотношений с автором.

«Ты спишь с моим басистом
И играешь в бридж с его женой.
Я все прощу ему, но скажи —
Что мне делать с тобой?
О, мне до этого давно нет дела —
Вперед, детка, бодро и смело!
Ты дрянь!»

Ничего особенного, правда? Ни прекрасного, ни ужасного. Тем не менее, на одних это производило впечатление откровения, а других смертельно шокировало. И все лишь по той простой причине, что у нас об этом петь не принято. Зарифмовав, даже не без изощрения, полночасные разговоры, пьяные признания и выведя в качестве героев абсолютно неприукрашенную сегодняшнюю рок-богему, Майк открыл нашим ребятам совершенно новую эстетику, эстетику «уличного уровня», поставил пе-

* Майк тоже не избрал все сам — будучи, как и Гребенщиков, грамотным рок-фэнном, он много лет методично переводил тексты Боуи, Дилана, Болана, Рида, Заппы и т. д.

ред ними зеркало, направленное не вверх, не вбок, а прямо в глаза. И символично, что эта эстетика оказалась ближе к Высоцкому, чем к Макаревичу...

Наконец, будучи человеком девственно несведущим о законах «официальной» культуры, Майк ненароком потревожил Большое табу, «скелет в шкафу» нашей рок-музыки, да и всего искусства — секс. Далеко не все вещи он называл своими именами, но даже такая степень «полуоткровенности» у нас до сих пор встречалась только в сугубо нецензурных «блатных» песнях.

О чем петь нельзя? О чем петь нужно?.. Группы сторонников и противников Майка подрались на улице после концерта (еще вчера они не знали не только друг друга, но и самого провокатора спора). «Левые» режиссеры, драматурги и писатели ходили с обалдевшим видом и повторяли, как заклинание: «Очень интересно, очень интересно», а иногда и «просто потрясающе». Больше всех обалдел сам Майк, дебют которого оказался сродни первому показу Элвиса по телевидению. Через пару дней он написал об этом песню со словами: «Слишком много комплиментов. (Похоже на лезть.) Эй, Борис, что мы делаем здесь?»

Макаревича я никогда не видел еще таким раздраженным. «Как тебе?» — «Омерзительно. Я считаю, что это хулиганство». Я ничего не мог ответить. Я понял — что-то уходит в прошлое навсегда.

Из Оды ванной комнате:

«Ванная — это место
Где можно раздеться.
Совсем догола.
Вместе с одеждой сбросить
Улыбку, страх и честь.

И зеркало —
Твой лучший друг —
Плюнет тебе в глаза.
Но вода примет тебя
Таким, как ты есть...»

ГЛАВА 6

«По субботам
Я хожу в рок-клуб.
В рок-клубе много
Отличных групп.
Я гордо вхожу
С билетом в руке,
И мне поют песни
На родном языке.»

[Группа «Зоопарк», «Песня простого парня»].

Был февраль 1981-го. У меня оставалось две недели от прошлогоднего отпуска, и срочно надо было их использовать — как угодно. Тайм-аут получился очень жалкий. Сначала мы с Борисом Гребенчиковым полетели в Тбилиси — Бобу обещали там устроить шикарные сольные концерты. Вместо этого маленькая местная девушка бесцельно водила нас по дешевым закусочным, где мы ели хачапури. Разочарованный лидер «Аквариума» отбыл в Ереван, а я остался в городе, где дожидался «Машины времени». Мы вместе ходили на футбольный матч «Динамо» (Тбилиси) — West Ham United (или что-то в этом духе). Нас почему-то принимали за английских болельщиков, но относились очень дружелюбно. На следующий день мы поехали в горы, в Бакуриани, где вся «Машина»

начала заниматься горнолыжным спортом, а я не знал, куда себя деть. Макаревич был увлечен своим первым кинопроектом, фильмом «Душа», и все разговоры велись вокруг съемочных интриг (Алла Пугачева, которая должна была играть главную роль, развелась с режиссером фильма; кто мог бы ее заменить? — и т. д.), а также длины лыж и марок креплений... Более стимулирующей была компания жившей в соседнем отеле Мананы Менабде, отличной певицы в стиле декадентского кабаре, исполнявшей жестокие романсы и джазовые баллады низким мужским голосом.

Спустя несколько дней я оставил творческую молодежь и вылетел в Ленинград, поскольку был приглашен на день рождения тамошнего уроженца, некоего Свиньи. Знакомство со Свиньей (настоящее имя Андрей Панов) стало финальным аккордом богатого на события 1980-го года. Он возник на пороге нашей квартиры в декабре, около полуночи и без предупреждения. Одет он был, как персонаж с плаката «Sex Pistols», но в утепленном «русско-морозном» варианте: я запомнил массу булавок и цветной галстук, торчащий из-под засаленного полупальца. Он сказал, что он панк (это было заметно), и достал завернутую в целлофан катушку: «Это наша бомбочка». Точнее, это была запись квартирного выступления группы «Автоматические удовлетворители», в которой Свинья был вокалистом и автором песен. Олята средней темп, массивный звук фазз-гитары и голос, будто пробивающийся сквозь обилие слюны в ротовой полости. Программный текст гласил:

«Появились панки в Ленинграде.
То ли это люди, то ли гады.
Они танцуют твист и пого.
Покажите к Роттену дорогу!»
другие запомнившиеся фразы:
«Шуточки, шуточки — я смеюсь, как зверь.
Шуточки, шуточки — хватит шутить
теперь!»
или: «Зашел я на помочку
И нашел там баночку.
Черная, черная икра!
Черная икра, дорогая»...

После Гребенщикова и Майка это слушалось, как детский лепет. Я люблю наивное творчество, но здесь и наивность была какой-то надуманной. При чем тут черная икра?.. Некоторые песни были бредово абсурдными, и это получалось смешнее и даже достовернее:

«Я пришел домой,
Пока суп варился.
Сосед за стеной
Из ружья застрелился.»

Как и все советские «панки», Свинья не имел никакого отношения к пролетариату и вряд ли был «уличным» ребенком. Его отец — хореограф, мать — балерина, и вырос он, по его собственным словам, «среди полуголых женщин». Он понравился мне больше, чем его песни: странный, не лишенный болезненного обаяния персонаж, и, к тому же, совсем неплохой певец. Выслушав мою критику записи, Свинья, естественно, сказал, что «живьем» это все в сто раз круче и что я должен

¹ «Машина времени» выступила в фильме в качестве безымянного ансамбля, аккомпанирующего двум признанным поп-звездам — Софии Ротару и Михаилу Боярскому. Фильм получился плохой. Проект оправдывало только наличие в фонограмме нескольких песен «Машины». Но даже гонорар за музыку к фильму у Андрея украли из квартиры.

бывать на их концерте... Так образовалось приглашение на день рождения, обещавшее вылиться в фестиваль панк-рока.

Вечеринка имела место в затрапезном ресторане под названием не то «Корма», не то «Трюм». Присутствовала вся ленинградская панк-община в количестве человек двадцати и примерно столько же любопытных /сочувствующих. «Автоматические удовлетворители» быстро доказали, что они не умеют играть вообще. Что еще хуже — им не доставало энергии. Вялая анархия на сцене сопровождалась раздражением зрителей, плевками во все стороны и битьем подвернувшейся посуды. Свинья показал себя уверенным шоуменом-импровизатором в стиле стопроцентного хамства. Образ был убедительным, но неинтересным. «Хорошо, послушайте ваших кумиров — «Sex Pistols». Они не просто пьяные гнилые отщепенцы, — они играют заводную музыку, у них масса энергии... Они нигилисты, но они озбочены социальными проблемами, они не строят из себя клинических идиотов», — я пытался как-то расшевелить Свинью, но безрезультатно. Он был искренне равнодушен ко всему этому и не пытался притворяться. «Да, вот такое я никчемное дерьмо... А что делать?» — таков был его универсальный ответ на все претензии. Майк (единственный уважаемый в среде «гнилых» не-панк) точно подметил этот стоицизм ущербности и посвятил Свинье песню под названием «Я не знаю, зачем я живу, ну и черт с ним.»²

Убоявшись столь беспокойной компании, администрация поспешила закрыть ресторан, и мы продолжили праздник в каком-то большом светлом кафе. Там было много посторонних людей, поэтому «Удовлетворители» удовлетворялись танцами «твист и пого» с незнакомыми взрослыми женщинами. Это было значительно веселее, чем их сценический акт.

Оркестр освободил сцену, и началась «акустика» — Майк и парочка совсем молодых ребят. Виктор Цой из группы «Палата № 6» спел первую и единственную сочиненную им к тому времени песню — «Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у ливных ларьков». Восемнадцать лет, ужасная дикция, корейская внешность — и отличная, трогательная-правдивая песня про бесцельную жизнь городских подростков с рефреном: «Мне все равно, мне все равно...»

Затем — Рыба (Алексей Рыбин), тощий бледный первокурсник с одним глазом больше другого. Быстрый одноминутный рок:

«Не хочу быть лауреатом,
Не хочу в «Астории»³ жить.
Мне плевать, что никогда я не буду
В номере «люкс» шампанское пить...»

² С тех пор я встречал Свинью еще несколько раз. Он продолжает петь те же песни, причем делает это хуже год от года. Поскольку новых ярких талантов в этом стиле так и не появилось, он остается главной, если не единственной реликвией российского квази-панка. Это «человек из легенды»: его мало кто видел, но все слышали, как Свинья демонстрировал свой член во время выступления. (Что вполне возможно, учитывая, что концерты проходили, в основном, в частных квартирах или мастерских). Последний раз я встретил Свинью в ноябре 86-го; он сильно похудел и сказал, что хочет легализоваться и вступить в городской рок-клуб. На нём были грязные белые брюки, матросский бушлат и тельняшка.

³ Фешенебельная гостиница в Ленинграде.

Потом он спел «Звери» — одну из самых сильных песен в советском роке. Удивительно то, что в отличие от Цоя, Рыба с тех пор практически ничего не написал... Но эта первая проба стала классикой:

«Подставляй стаканы
наливай скорее
А что дальше будет
Ты увидишь сам
Только мне вопросов
Не задавай:
Знай, что люди — как звери!
Все мы — как звери!
В темном лесу...»

... Твои кости остры
Мои зубы целы
Нас пока еще непросто
На части разорвать
Хоть мы звери —
Мы не хуже многих тех,
Кто жестоки — как звери!
В диком лесу»

Дело тут не в тексте: захватывающая мелодия словно катапультировала слово «звери», которое просто невозможно было не петь всем вместе. Если бы провести сейчас опрос на тему «Какая из советских рок-песен подошла бы вам в качестве гимна?» — большинство, я думаю, назвало бы «Рок-н-ролл мертв» «Аквариума»... Я назвал бы «Звери» — произведение безвестного Рыбы — несмотря на ее нелестную аллегоричность.

На следующее утро Гребенщиков, у которого я остановился, дал мне почитать два свежих документа под заголовками «Устав рок-клуба» и «Положение о рок-клубе». В абсолютно казенной манере там перечислялись по пунктам цели и задачи, права и обязанности, привилегии и штрафы, иерархии и функции. Изредка попадалось слово «рок», и оно выглядело диковато в этом контексте. Скажем, такая фраза: «Рок-клуб ставит перед собой задачи по привлечению молодежи к широкому самодеятельному творчеству, повышению культуры зрительского восприятия и идейно-художественного уровня исполняемых произведений, а также по выявлению и пропаганде лучших образцов отечественной и зарубежной музыки данного жанра». Эти бумаги означали, что в Ленинграде была предпринята очередная, шестая по счету, попытка создать официальную организацию для неофициальных групп.

Спустя пару лет Николай Михайлов, президент рок-клуба, объяснил мне мотивы его создания следующим образом: «В начале 1981 года количество «сейшенов» в городе резко сократилось — «легальных» концертов почти не было, поскольку группы не имели официальных разрешений на выступления, а «нелегальные» администрация и милиция научились достаточно эффективно пресекать. Однако в Ленинграде было порядка пятидесяти групп и колоссальная нерезализованная тяга к выступлениям и общению. К тому же, после Тбилиси отношение властей к року как будто смягчилось... Поэтому музыканты и устроители концертов настойчиво атаковали городские организации, требуя решить эти проблемы. В конце концов, Дом самодеятельного творчества⁴ пошел нам навстречу. В то время там сменилось все начальство во главе с директором, и руководителями стали женщины... Они шутили — если мы из-за вас погорим, наши мужья нас прокормят.» Я думаю, впрочем, что городские власти

пошли на сознательный и умный компромисс, ибо контролировать ситуацию было совсем не просто — как доказывал только что прошедший «день рождения» Свины. Но в то утро я долго хихикал и банально высмеивал бюрократические параграфы «Устава», как очевидный анекдот. В этот раз интуиция начисто изменила мне — или я просто недооценил со своими московскими мерками силу и сплоченность ленинградских рокеров.

Вообще, Ленинград и Москва — два совершенно разных города — и внешне, и по духу. Физически я не переносу Ленинград: он театрально-красив, но абсолютно плосок и прям, как шахматная доска. Единственные отступления от плоскости — это арки мостов, единственные нарушения прямизны — это изгибы рек и каналов. Петербург был построен на пустом месте среди болот, и эта напряженная искусственность, кажется, давит и по сей день. Можно восхищаться архитектурно-геометрическими прелестями Ленинграда и одновременно сходить с ума от какого-то клаустрофобического чувства. Похоже, что это стимулирует творческий процесс (Вспомни Гоголя и Достоевского). Кроме того, Ленинград — более «западный» город, чем Москва. Наличие порта и обилие иностранных туристов (особенно, скандинавов, приезжающих тысячами на уикенд) не только создали огромную паразитическую индустрию фарцовки, но и способствовали более оперативному проникновению в массы молодежи всевозможных новых заграничных веяний.

При этом Ленинград заметно меньше Москвы (в два раза) и, несмотря на утонченность, в чем-то провинциальнее. Москва — гигантское столпотворение, ворох несвязанных между собой клубков; это место, где можно жить годами, так и не зная, что вокруг происходит. Ленинград более статичен, там все «на виду». Частным проявлением этого стало то, что в Ленинграде сформировалась единая община рок-музыкантов и примыкающей к ней богемы. Как в большой деревне, там есть места, где каждый, не договариваясь, может увидеть каждого. Главное из таких мест для рокеров, хиппи, панков, художников-авангардистов и т. д. — знаменитое кафе на углу Невского и Литейного проспектов, имеющее неформальное наименование «Сайгон»⁵. Каждый представитель местной богемы хотя бы раз в день там отмечается, а от пяти до шести вечера у малокомфортальных стоек с кофе можно найти почти всех и узнать все городские новости и сплетни. Для меня это забавно и не очень понятно, для Ленинграда это святыня. («Сайгон» упоминается в бесчисленных рок-произведениях; у какой-то группы даже есть песня «Мы — дети «Сайгона»). Многие считают, что на этом углу какая-то особая энергетика. (А большое зеркало у входа прозрачно с противоположной стороны)...

Итак, «дети «Сайгона» объединились в рок-клуб, и 7 марта состоялся первый концерт. Главными группами Ленинграда тогда были «Россияне», «Пикник» и «Мифы».

Два последних ансамбля почти идентичны — они играли хард-рок и блюз и пели нечто, очень напоминающее Макаревича; штампы семидесятых проникли в них максимально глубоко, хотя Юрий Ильченко уже давно не играл.

«Россияне» были, бесспорно, оригинальны, по-своему очень обаятельны и вызывали жестокие споры среди фанов и экпертов. Если можно вообразить нечто между бесшабашной застольной песней и «heavy metal» — то именно таков был их стиль. Дремуче длинноволосые и беспредельно развязные на сцене, они источали массу энергии и доводили залы до экстаза. Их гитарист и певец Георгий Ордановский, редко выступавший трезвым, выделялся на сцене такие спонтанные акробатические номера, что Лофгрэн и Спрингстин могли бы позавидовать. У их бас-гитариста по кличке Сэм на правой руке не хватало трех пальцев. С «Россиянами» было очень весело и свободно, они могли бы быть законченным образцом аутентичного «русского рока» — но им не хватало даже элементарной «осмысленности». Поэтому «Россиян» презирали интеллектуалы, и даже далекий от эстетизма и снобизма Коля Васин назвал их «талантливыми бездарностями»... Тексты были простоваты и минимальны, а музыка, казалось, состояла из одних припевов. Разумеется, это не мешало им быть настоящей «народной» группой. После легализации «Россиян» рок-клубом на их летние концерты под открытым небом собирались тысячи людей. Ходило даже словечко «россияномания».


Да, с весны 81-го концерты начались и проходили с повальным успехом, но это не означало, что рок-клуб⁶ решил проблемы все и для всех. Во-первых, группы могли выступать только бесплатно (такова — до середины 80-х — была официальная доктрина в отношении «любителей»). Надежды «коммерческих» групп («Аргонавты», «Дилжанс»), таким образом, не оправдались, и они вскоре откололись от рок-клуба, предпочтя провинциальные, но профессиональные филармонии. Во-вторых, у рок-клуба не было ни собственной аппаратуры, ни отдельного помещения: зал ДСТ на улице Рубинштейна, 13 приходилось делить с народным театром и прочей городской художественной самодеятельностью. Эти нищенские условия поставили рок-клуб перед необходимостью балансировать между чистым энтузиазмом и традиционными для «сейшинов» хитрыми махинациями.

(Продолжение следует)



⁴ Невероятное количество знакомцев в возрасте от десяти до сорока лет, атакующих прямо на улице с требованиями что-то купить, продать или поменять, очень угнетает. Просто стыдно за нас... Странно, что вся милиция при этом, похоже, дежурит на концертах.

⁵ О происхождении названия существует множество одинаково правдоподобных версий. В любом случае, оно восходит к 60-м годам.



ПУБЛИЦИСТИКА

ТОЛЬКО БЫ ХВАТИЛО СИЛ И ТЕРПЕНИЯ!

Марина КОСТЕНЕЦКАЯ,
писатель, лауреат премии Николая
Островского и Премии Ленинского
комсомола Латвии

Мне больно. Мне больно за судьбу латышского народа, мне больно за судьбу русского народа.

Вопросы и двуязычия, и миграции меня, представительницу русской интеллигенции в национальной республике, волнуют так же, как и коренных жителей.

Немного о шовинизме и национализме.

Русский народ — как этническая группа на нашей планете — не хуже и не лучше других народов. Русские, так же, как и латыши, претерпели неимоверные страдания за последние семьдесят лет, и было бы несправедливостью забыть то, что именно русский народ на этом этапе своего исторического развития стал жертвой геноцида, как по отношению к крестьянам и рабочим, так и по отношению к интеллигенции. Самые яркие представители русской литературы и искусства (выражавшие в то время народную совесть и воспитывавшие нравственность) или эмигрировали на Запад, или в вагонах для скота были отправлены на восток. Доктор экономических наук Лемешев здесь вчера говорил о Черноземье и огромном бульдозере, которым мы фактически вырываем пласты из своей плодородной земли, чтобы в конце концов могли всю ее скрыть. Мне кажется, что этот бульдозер уже долгое время успешно выполняет свои задачи в России: самый плодородный слой моего народа уничтожен, началась эрозия, и ветер, как песчинки, гонит людей до самых дальних западных рубежей нашей родины. То, как мы ведем себя у себя дома, не может быть объяснено ни шовинизмом, ни кровной ненавистью, а тем, что человек свято верит тому, что ему в течение десятилетий внушалось в детских садах, школах, на политинформациях по месту работы — то есть: русский народ освободил народы всех союзных республик и в конечном итоге принес им культуру. Над этим можно смеяться, но мне хочется плакать, когда я вижу, с какой ловкостью мой сердечный, душевно богатый народ втиснут в примитивную формулировку, вызывающую ненависть.

О причинах и корнях миграции можно говорить долго и много, но, учитывая регламент, позволю себе высказать только один аспект своей точки зрения. Есть люди, которым рано или поздно, но обязательно придется предстать перед судом истории, отвечая и за опустевшие русские села, и за наплыв мигрантов, заполнивших перенаселенные города и села Латвии. И на скамье подсудимых будут представители различных национальностей. Всех их я выделяю в эту свою своеобразную этническую группу, которая географически обитает в Москве, и в которой, рядом с русскими, грузинами, украинцами, азербайджанцами и представителями других народов, свое «почетное место» смогут занять и такие латыши, как Арвид Пельше и Август Восс.

О двуязычных школах в нашей республике. Как писательница я была во многих из них на встречах, потому что в последнее время в Бюро пропаганды художественной литературы поступает много заказов на Костенецкую — интернационализм надо воспитывать на живых примерах. В смешанных школах у меня самая тяжелая аудитория. Больше нелепости, чем такое укрепление дружбы народов в таких учебных заведениях, я и представить себе не могла! Может быть, мне просто не везло, но до сих пор в Латвии была только одна школа с двумя потоками, высшие достижения которой хотя бы частично соответствовали представлениям о таком учебном заведении, куда Иммануил Зиедонис был согласен послать своих внуков. Это смешанная школа в Саулкрасты. Русские школьники встретили меня в зале песней по-латышски «Я, уходя на войну, оставил свою колыбель». Затем последовал литературно-музыкальный монтаж. Русские ребята с красивыми карточками (я специально принесла их сюда, чтобы, если кто-то захочет, смог сам убедиться) читали по-латышски мысли о языке. Ради примера прочитаю хотя бы одну:

«Любя, ухаживая и развивая материнский язык, у человека всегда появляется горячее желание овладеть языком и другого народа. Хочется понять известия, которые принесла ласточка с другой стороны небосвода. Хочется пойти по другим мосткам, которые ведут к озерам, лежащим за пределами родной стороны, в леса и города. Хочется понять и землю другого народа, и его книги.»

Когда в той смешанной аудитории я спросила, могут ли я говорить по-латышски, все ли поймут, то получила ответ — да. И все же пока такая школа в нашей республике носит скорее экзотический характер.

Участвуя в конференции, проходившей в Детской клинической больнице, «Какое ты, милосердие!», была свидетельницей такого эпизода. Директору 45-й рижской средней школы, Герою Социалистического Труда Лидии Рейзинь из зала был задан вопрос, как она относится к подобным школам. Товарищ Рейзиня ответила, что в свое время она работала в такой школе, и никаких национальных конфликтов между ребятами не было. Негативная реакция зала на это заявление была неоспорима. Позже один знакомый сказал мне, что именно в это время он учился в этой школе — и «русские били латышей, а латыши русских так, что только держись!».

Вчера товарищ Пуго сказал, что компетентные лица изучат вопрос о двуязычных школах, и окончательное решение будет принято по предложениям этих товарищей. Было бы хорошо, если бы общественное мнение в этом вопросе зафиксировало тесную связь и слишком агрессивные сжатые кулаки, и слишком гибкие позвоночники.

Мы два дня в этом «закрытом» помещении — и нам хватает кислорода. Но завтра мы выйдем из этих стен туда, где пока в загрязненной атмосфере живут массы людей. И только бы нам хватило сил и высокого гражданского достоинства донести правду об истории тем людям, которые в своем образе мышления стали жертвами времен стагнации и сталинизма!

НЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

Андрис КОЛБЕРГС,
секретарь правления Союза
писателей ЛССР, заслуженный
работник культуры республики.

Во время праздника Победы я вошел в электричку. На всех скамейках большими буквами было написано: «Бей гансов!». Я вспомнил и другие надписи: у Восточного телефонного узла — «Гансов ненавижу!». В Старой Риге — «Убивайте гансов!», на автостанции — «Русским Ригу, гансам — фигу! Каждый убитый латыш — одно посаженное дерево. Озеленим город Ригу!». Транспарант «Бейте гансов!» был поднят во время финального матча между рижским «Динамо» и ЦСКА. Самый обычный шовинизм, так сказать, бытовой шовинизм, с которым приходится сталкиваться достаточно часто, — только выраженный в письменной форме.

Я хочу говорить о другом. 9 августа 1987 года. Межапарк. На двух девушек-латышек напали комсомолец Юмис и Багулина, которым помогали еще четверо девушек, говорящих по-русски. Причина — латыши не имеют права здесь ходить. Рвали за волосы, били, пинали ногами. Медэкспертиза констатировала телесные повреждения, уголовное дело не было возбуждено, материалы не были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Отметим этот факт и пойдем дальше.

8 февраля 1986 года. Старая Рига. Организованная группа напала на школьников-латышей и избила их. Задержанный комсомолец Ананьев пояснил: «Пошли гулять по Старой Риге, чтобы бить латышей». Уголовное дело не было возбуждено, так как была принята во внимание незначительность состава преступления и чистосердечное признание Ананьева. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

20 апреля 1987 года. Межапарк. Тот же самый комсомолец Ананьев избил вместе с другими граждан Вьетнамской Демократической Республики, за что был осужден с отсрочкой исполнения приговора. Отметим этот факт и пойдем дальше.

8 сентября 1987 года. Саркандаугава. Четыре ученицы вечерней школы в перерыве зашли в магазин. Их остановили Иванов и Ананьев. Да, опять тот же самый Ананьев. Он по-русски попросил сигарет, девушка по-латышски ответила «Я не курю». За это Ананьев стал ее бить и поволок на ближайшую лестничную клетку, угрожая сделать с ней то, что делают с женщинами в порнофильмах. Но девушке у дверей площадки удалось вырваться, она побежала и споткнулась. Тогда Ананьев — по-прежнему еще был комсомольцем — стал ногами бить ее в лицо. Суд состоялся под председательством Я. Лаукрозе. В тот же самый день было опубликовано постановление, которым ему было присуждено почетное звание заслуженного юриста ЛатвССР. Но Ананьеву опять было назначено наказание без лишения свободы. На такой гуманный шаг подействовала, скорее всего, «гармоничность» личности Ананьева. Несчетное количество раз наказанный в административном порядке, нигде не учащийся, характеризующийся с предшествующих мест работы исключительно отрицательно, состоящий в психоневрологическом диспансере как наркоман, а также на учете в венерическом диспансере. Отметим все это и пойдем дальше.

27 марта 1987 года. Саркандаугава. Молодой человек с маленьким ребенком идет по улице, у него просят закурить Лазарев и Савельев. Он отдает им всю пачку сигарет и продолжает свой путь. Но его догоняет ком-

сомолец Савельев. Результат — тяжелые повреждения, которые угрожают жизни потерпевшего. А Савельеву назначается мера наказания, которая не предусматривает лишения свободы. Учитывая тяжесть преступления, наверно, в первый раз в истории республиканского суда. Отметим и пойдем дальше.

8 апреля 1987 года. Дом культуры в Зиемельблазме. Организованная вооруженная шовинистическая группа в 200 человек (почти все комсомольцы) под лозунгом «Бить латышей, бить фашистов!», без всякого предлога, я подчеркиваю это — без какого бы то ни было предлога — бьет и избивает ногами учеников Рижской школы прикладного искусства. Травмы тела, долгое лечение, ограбление, но назвать точное число пострадавших нет возможности. Но из Октябрьского райотдела внутренних дел Риги поступает в инстанции документ, который требует призвать к ответственности педагогов Рижской школы прикладного искусства.

Происшествие было подвергнуто умолчанию. Где, почему, на каком уровне? На свет божий его вытащила прокуратура. В августе, квалифицировав происшествие как хулиганство, хотя, на мой взгляд, все происшествие надо было бы рассматривать как массовые беспорядки. Следствие было не очень успешным, так как прошло много времени. До сего дня оно то приостанавливается, то снова возобновляется. Все это напоминает старый анекдот, когда потерянный ключ ищут под фонарем, потому что там светлее. Потому что не ищут самое главное — организаторов нападения, вдохновителей его и тех, кто скрывает происшедшее. За что, кстати, в уголовном кодексе есть пункт, предусматривающий ответственность за подобные действия. И никого из нападавших не осудят. Можно не сомневаться. (Примечание редакции: ждем ознакомления с точкой зрения прокуратуры г. Риги относительно фактов, сообщенных писателем.)

Думая, что все эти происшествия большей частью относятся к рижанам, которые говорят по-русски, я написал статью по-русски, послал ее в редакцию газеты «Советская Латвия». Трижды посылал и трижды получал обратно. Тогда послал ее в комиссию по национальным и межнациональным отношениям. Получил благодарность за объективность, но не в письменной форме. Информацию для материала я собирал отнюдь не тенденциозно, совсем наоборот — обратился в прокуратуру с вопросом, нет ли подобных преступлений, совершенных латышскими буржуазными националистами. Нет, таких уголовных дел не существует.

Кончим собирать факты и посмотрим, сколько пострадавших и сколько наказанных. Пострадавших много, а наказанных — двое. Да и у них ни волоска с головы не упало. Все происшедшее не обсуждалось, тому не была дана оценка в горкомах — ни ЛКСМ Латвии, ни КП Латвии.

Пойдем дальше. Пойдем на пленум ЦК КП Латвии 5 мая, посвященный национальным отношениям. В каждом выступлении — о национализме, а о шовинизме — ни слова. Неинформированность? Тенденция? Может быть, инерция. Но ведь уже больше трех поколений бюрократов самых разных национальностей в Латвии делали свою карьеру и обеспечивали материальное благополучие на призывах к борьбе против латышского национализма. Ведь они сумели сделать латышским националистом даже русского Александра Никонова, тогдашнего министра сельского хозяйства Латвии, а ныне — президента Всесоюзной Академии сельскохо-

зайственных наук имени Ленина. Но весь комплекс этих мероприятий в целом они называли то развитием межнациональных отношений, то совершенствованием дружбы народов, закрывая то один глаз, то второй, то оба вместе. Предлагаю внести в Резолюцию пленума: Агрессивные шовинистические группировки в Риге распространяют призывы уничтожить жителей латышской национальности. Есть нападения, совершенные из-за шовинистических причин, которые связаны с насилием, и случаи, когда власти скрывают эти групповые преступления. Средства массовой информации

молчат о случаях проявления шовинизма. Партийные комитеты не дают принципиальной оценки положения, создавая атмосферу безнаказанности вокруг таких шовинистических группировок и способствуя появлению новых инцидентов. Как одно из средств для нормализации межнациональных отношений считать высылку наиболее активных поджигателей и идеологов межнациональной вражды на прежнее место жительства, как предусмотрено статьей 25 Уголовного кодекса Латвийской ССР.

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?

Петерис ЦИМДИНЬШ,
эколог, доктор биологических наук

Основа концептуальной оценки экологической ситуации в республике зиждется на наблюдениях за регионально-территориальной спецификой, а критерии оценки — на том, насколько социально-экономическое развитие отвечает экологическим особенностям территории и культурно-историческому типу. Теперь конкретно. Первое — территория. 41 процент ее в Латвии покрыт лесами. Об их состоянии добавлю лишь то, что, самое малое, примерно половина из них в республике подвергается влиянию кислотных дождей. Данные об этом и вообще о загрязнении окружающей среды в республике, так же, как и цифры, что я буду упоминать, — я и сам сильно сомневаюсь в них, скорее они приукрашивают положение, а не наоборот, — взяты из официальных источников в республике, а также из тех, что предназначены для служебного пользования. Определяя потребительскую стоимость и цену, необходимо рассматривать леса как богатство, сохраняющее окружающую среду. Правда, на этой территории ветры, которые выше четырех метров в секунду, поднимают в воздух песчинки, диаметр которых больше трех миллиметров, то есть, на этих территориях невозможно ни существование, ни сельскохозяйственное производство, ибо леса эти как средство охраны окружающей среды гибнут. В настоящее время нельзя еще сказать, что даст нам еще большее загрязнение атмосферы, идет ли оно из Донбасса, как думают эстонцы, или из Ленинграда, из Эстонии или с Запада. Вопрос этот надо выяснять, и исследовательские работы надо проводить немедленно и конструктивно. Если верить данным, которые предоставляет республиканский Комитет по контролю природной среды, то 70 процентов загрязнения атмосферы республики дает автотранспорт. То есть, нет оснований беспокоиться о каких-либо промышленных выбросах. Естественно, эта ситуация вызывает у меня сомнения. 45 процентов земель республики отвечают категории интенсивно используемых в сельском хозяйстве. То есть, Латвийская республика независима в аграрном смысле. И зависима в индустриальном смысле, неважно, какой на ее территории представлен тип общественно-экономической и культурно-исторической формации. Это означает, что в любой ситуации мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить себя продовольствием и что продовольственная продукция должна стать тем товаром, что мы на паритетных принципах обмениваем с соседними регионами, от которых мы зависим в индустриальном смысле. Ситуация такова, что сегодня более 90 процентов энергии мы получаем со стороны. Получаем сырье, из которого только 20 процентов идет в дело, на нужную продукцию, а остальное — в отходы или на загрязнение; и более 60 процентов готовой промышленной продукции мы ввозим из-за пределов республики. Такое хозяйствование, экологически бесперспективное и экономически невыгодное, не может длиться долго. Следующий ресурс, который у нас есть, — это вода. Мы прибалтийская

республика. 3,5 процента внутренних вод республики имеют не только рыбопромышленное значение, но это запасы, которые поддерживают благоприятный климат, о котором говорят, что, если почвы, наиболее благоприятные для модели интенсивного сельского хозяйства, — на Кубани, то климат — в Латвии. Почвы, подобные кубанским, мы можем создать в Латвии, а вот латвийским климатом обеспечить Кубань — нет. Таким образом, вопрос стоит так: как сохранить в республике ту среду, которая обеспечит нам аграрную независимость. О биофункциональном значении территории. Мы зашли уже так далеко, что не можем обеспечивать себя своей рыбопромышленной продукцией, хотя по всесоюзным данным получается, что годовой доход от уловов в Балтийском море составляет 400 миллионов рублей. Внутренние воды — реки и озера — потеряли свое рыбохозяйственное значение, не могут служить они и целям рекреации. Их надо восстанавливать, за ними надо ухаживать и надо добавить — рыба у нас не растет сама, ее надо выращивать. О качестве продукции. До сих пор никому не ясно, ни в Латвии, ни в Советском Союзе, каков уровень зараженности почвы и продуктов. Если сказать, что из 128 употребляющихся пестицидов и гербицидов наука может анализировать только 22, то нет оснований считать, что здесь, у себя в республике, мы можем анализировать больше. Поэтому остается неясным, насколько полезно то продовольствие, которое мы употребляем. Второй вопрос — жизненное пространство. В настоящее время развитие лимитируется жизненным пространством, его площадью и его качеством. Третий вопрос — сохранение генофонда планеты и региона. В регионе Балтийского моря та территория, которая сейчас у нас под ногами, — это путь миграции птиц от Балтийского до Белого моря. Эта весна доказала, что не стихия явилась причиной гибели птиц, а неправильный культурно-хозяйственный тип. Птицы, у которых отсутствует понимание ситуации, не могут к ней приспособиться и понять, что больше уже не существует хуторов, на которых можно было бы переждать трагическую ситуацию. О прибрежном рыболовстве и рыбоводстве. Наши запасы заключены на территории длиной в 500 километров вдоль Балтийского моря. То, что мы не можем организовать обучение морским навыкам на родном языке, — это еще полбеды. Куда большее несчастье то, что мы забросили свой традиционный для этой территории образ жизни, то есть прибрежное рыболовство, соединенное с обработкой рыбы и заботой об окружающем море.

Надо будет снова вызвать к жизни прибрежное рыболовство, рыбацкие поселки, что одновременно обеспечило бы психологическое положение в Балтийском море и сохранило бы то, что является характерным для нашей культурной среды.

О связях с другими регионами. Продовольствие, даже рожь, республика начинает ввозить. Ввозим из государства, в котором удельный вес земель, интенсивно используемых в сельском хозяйстве, составляет 27 процентов (у нас — 45 процентов). Критический рубеж, за которым

начинается балансирование на грани голода, составляет 24 процента. Таким образом, есть еще время подумать: не обостряем ли мы ситуацию во всей стране, столь непродуманно хозяйствуя на этой, аграрно независимой территории?

Горячие точки. Для нас экологически горячие точки от запада и до востока — это наши портовые города и первым делом то, что у нас нет очистных сооружений. И снова, по самым оптимальным расчетам, могу считать, что 50 процентов очистных устройств не работают в предусмотренном режиме. После самых серьезных научных анализов могу ручаться, что самое малое девяносто процентов очистных сооружений не работают так, как должны были бы. Перегружены не только наши порты, перегружены все наши дороги, как железные, так и шоссе, и даже реки. Почему мы не могли бы брать определенный налог, который пополнил бы национальный доход именно со всех этих перевозок, с экспортно-импортных операций, которые идут через наши порты. Это наше право, ибо в интересах всего государства и Балтийского региона содержать в порядке то окно, что Петр I прорубил в Европу, содержать его чистым и застекленным. В настоящее же время окно это выбито, и все ветры гуляют сквозь него, туда и обратно, как им заблагорассудится.

Следующая и самая большая из наших экологических горячих точек — это наши поля. Они представляют собой экологически деградирующую среду. Совершенно не отвечающую культурно-историческому и культурно-хозяйственному типу, с чрезмерной централизацией и урбанизацией. Энергии мы теряем больше на пути из поселка на поле, из хлева до поля, чем при производстве основной продукции. Все это, конечно, забавно при сравнении с тем огромным количеством энергии, которым распоряжаются Всесоюзное министерство водного хозяйства и «Гидропроект». Но есть такое хорошее выражение — рыба портится с головы, а чистят ее с хвоста. И если мы сами не начнем чистку в нашей республике, то вряд ли останется надежда на то, что кто-то со стороны обеспечит нам благосостояние.

Экология человека. Вопрос, которому мы до сего времени не уделяли внимания. Люди — это популяция, народ, то есть, человеческая общность, которая, живя на определенной территории достаточно долгое время, обрела характерные связи с этой территорией и определенную генетическую преемственность. Народу свойственно определенное территориальное поведение, с которым он входит в сообщество других народов как культурное единство. Последствия урбанизации, ошибок в экологии и централизации в том, что территорию, на которой живем, мы уже не воспринимаем, как свою землю. Наша территория превратилась в нечто вроде делового помещения, по которому мы, словно по универсагу, бегаем в поисках дефицита и отнюдь не занимаемся тем, чтобы ухаживать за землей, дабы оставить ее жизнеспособной в наследство нашим потомкам. Мало просто эмоционально утверждать, что в наши задачи входит сохранить богатство природы и окружающей среды для потомков; вопрос стоит значительно серьезнее. Наша задача — создать жизнеспособных потомков, которые будут жить на этой территории. В последние тридцать лет процент рождения детей с патологией в нашей зоне Западного полушария вырос с 3,5 до 11,5 процентов. Если повреждения системы жизнеобеспечения достигают 10 процентов, то это критический рубеж. По некоторым данным может быть, что в нашей республике, учитывая подлинную экологическую ситуацию, эта цифра вдвое больше, самое малое, в границах 20—25 процентов. Свидетельство тому — множество вспомогательных школ для детей с патологией, которые не могут вести нормальный образ жизни. Можно сослаться, конечно, на алкоголизм, на наркоманию и токсикоманию, только надо понимать, что это заболевания, касающиеся не только индивидуума. Это болезни человеческой популяции, то есть — неправильно организованной социальной среды, неправильно организованной территории. В том пространстве, которое предназначено только для того, чтобы производить в нем определенные действия, человек не может нормально чувство-

вать и вести себя. Он может по нему только носиться как угорелый. Необходима связь с территорией.

Если в Вологодской области вырубают лесов вдвое больше, чем лес способен восстанавливать своими силами, только для того, чтобы доставлять его на Слоский целлюлозный комбинат, который, в свою очередь, ведет к деградации окружающей среды уже у нас, тогда становится видно, что экологический кризис в одном регионе тесно связан с экологическими кризисами в других. И существует такой контингент, который в результате экологической деградации окружающей среды способен бросить свое конкретное место жизни и в погоне за мнимой наживкой благополучия перемещаться к нам сюда, в западный регион. Но прижиться здесь он не в состоянии, и тем самым он оказывает на экономику свое разлагающее влияние. Каков выход? Во-первых, понять, что нам необходима прогрессивная интенсификация, во-вторых, радикальное изменение отношения к своей территории. Разработана такая модель защиты природы, которая предусматривает прогрессивную интенсификацию. А именно, вариант, относящийся к Салацкому биосферному резервату. Сейчас мне доводилось слышать возражения, что Салацкий биосферный резерват не может существовать, ибо нет денег, его нечем финансировать. Но на стихийное хозяйствование, которое сейчас происходит в бассейне Салацы, ведь есть деньги! То есть, вопрос этот нуждается в пересмотре. И в заключение — положения, которые я, как профессиональный эколог, хотел бы выдвинуть перед пленумом для обсуждения и дальнейшего принятия или же отказа от них. Учитывая высокий уровень урбанизации в республике, в дальнейшем социально-экономическом развитии считать главной задачей экологическую оптимизацию территории, для реализации чего необходимо национальные богатства, богатства природы использовать, главным образом, в интересах согласованного развития территории или республики. Это же я могу отнести и к другим республикам. Во-вторых, приоритет в развитии республики отдать тем направлениям, которые отвечают эколого-географической, культурно-хозяйственной и национальной специфике. Третье. Ученым республики разработать и представить для широкого обсуждения общественности проект генеральной концепции развития производительных сил в Латвии, обеспечить защиту и рациональное использование природных богатств, отвечающее решениям о защите бассейна Балтийского моря. В-четвертых, остановить процесс урбанизации, который за последние десять лет приобрел непредусмотренный широкий размах. Разработать и внедрить в республике программу рекультивации и сохранения типичных природных ландшафтов, отдавая приоритет децентрализации в сельском хозяйстве. В-пятых, развивать научные исследования, ведущие к решению экологических вопросов в регионе, предусматривая тесное сотрудничество со странами Балтийского моря и конкретизацию их обязанностей, что зафиксировано в международных договорах о Балтийском море и его бассейне. В этой связи хочу добавить, что сегодня в Таллине начинается международная конференция об экологической безопасности балтийского региона. Само понятие — мировая экологическая безопасность — выдвинул товарищ Горбачев, и оно утверждено на уровне ООН, и три года, с 1988 по 1990, на том же уровне ООН приняты, как трехлетие, посвященное решению вопросов экологической безопасности Балтийского моря, и в этой программе четко зафиксированы государства-участники, в том числе и Латвия, а также задачи, которые нам необходимо решать, в числе которых — необходимость составить ясное представление об основном составе гражданских лиц, проживающих в республике (коренные жители, мигранты), об основном составе военного персонала (мигранты) и соответствующие вопросы о природе и об оптимизации. Возвращаясь к своим тезисам, скажу, что необходимо учитывать, что исполнение этих обязанностей и право на их конкретизацию нам необходимы. В-шестых, предостеречь причины механического прироста жителей в Латвийской

Социалистической Республике, а также широкую миграцию жителей республики. И последнее — считать неудовлетворительным существующий до сих пор стиль реализации экологической политики в увеличении хозяйственной самостоятельности республики и улучшении экологической

ситуации, проводившийся Советом Министров ЛССР и Государственным плановым комитетом, конкретизировать права законодательных и исполнительных органов в последовательном использовании обязанностей, определенных конституцией.

БЕЛЫЕ ЛИ МЫ В ГРЯЗИ?

Вилнис КАЗАКС,
преподаватель Педагогического факультета
ЛГУ им. П. Стучки

В общем букете нашей культуры самой отставшей является культура среды. Ее неухоженность и запущенность дискредитируют гуманные устремления и прочих видов искусства. Правильность выбора опорных пунктов дальнейшей деятельности должна заключаться, главным образом, в выборе политических, этнографических, экономических, географических и технических аспектов создания среды в историческом разрезе. Только взяв в руки инструмент, человек стал человеком. Ремесленник формирует среду на уровне интересов и способностей человека. Этот уровень прекрасно отражен и в строениях нашего города, и во взаимоотношениях людей. Такая среда, созданная руками мастеров-ремесленников, существует не только в прошлом городов и сел Латвии; это и наша духовная культура, в которой сфокусировалось этнографическое и национальное самосознание. Сейчас народную культуру определяют основные направления промышленного производства. И наоборот — народная культура диктует умение, а также объем, в которых человек владеет техникой. Прimitивная технология, абсурдная стандартизация и тотальная унификация, а также чрезмерная производственная программа привели к вульгаризации вещей, созданных промышленным образом, к их моральной и технической недолговечности. Предметы быта, вещи, мебель, квартиры, то есть, пространственная среда, также произведенная промышленным способом, ныне гармонически не соответствует функциональному, техническому, эстетическому и другим качествам, связанным с нашим культурным наследием. Деградирующая среда ведет к появлению неправильных отношений между людьми. Сказанное наиболее полно проявляется в наших домах, в жилищах, которые тоже стали продуктом промышленного производства. Нас, дизайнеров (и не только) — вполне обоснованно беспокоит облик современной квартиры, ибо он искусственным образом прерывает семейные и родственные связи совместного бытия, которые организуют и держат семью, род, все материальное и духовное благополучие народа. Нас беспокоит желание любой ценой выполнить программу «Жилище-2000». В значительной мере это объясняется воплощением в жизнь новой политики жилищного строительства, которая предусматривает размещение несущих опор жилого помещения в так называемом малом шаге. И хотя он примерно на три метра больше, этого все же мало, чтобы многообразные потребности человека отвечали понятию о комфорте в этой тесноте и однообразии. Я уже не говорю о том, что в такой квартире невозможно разместить мебель, сделанную по типовым проектам. Да почему мы во имя абсурдных экономических критериев (они, в сущности, даже не доказаны) строим дома, не поддающиеся перестройке, которые в истории нашего народа вообще не были известны? Неужели идеологам строительства в республике в самом деле

неизвестно, что дома, построенные в Москве в 60-х годах, ныне перестраиваются в соответствии с требованиями времени?

В Елгаве я каждый день хожу мимо фрагментов памятника Лачплесису. Это потрясает. Так же драматично выглядят фрагменты новой жилой среды рядом с примитивными элементами благоустройства. Мне кажется, что и жизнь тут фрагментарная.

Не меньше беспокоит и то, что оборудование пространства, созданного промышленным способом, представляет собой загрязненный, совершенно не отвечающий интерьеру дома, создававшегося столетиями, который говорит о нашем этносе, о развитии его культуры во времени и пространстве, фон. Подсчитывалось ли, сколько энергии и средств тратит новосел, когда, получив новую квартиру, он радикально меняет ее облик — переклеивает обои, облицовочные плитки, перекладывает покрытия, точнее говоря, старается приспособить квартиру ко вкусам и взглядам своей семьи. Но есть и такие, которые не считают необходимым что-то менять или в силу иных причин не могут переоборудовать механически созданную безвкусную среду. Скажите, какое эстетическое удовлетворение получит ребенок, растущий в такой квартире? Разве они уже сейчас не испытывают стремления бежать из таких помещений? Только бы прочь отсюда — к разрушению, к жестокости, к насилию!

Дизайнеров беспокоит и то, что у наших специалистов нет возможности в полной мере участвовать в гармонизации среды. Всем ясно то отнюдь не самое значительное место, которое отведено дизайнеру в государственно-бюрократическом аппарате управления, в отраслевых художественно-технических советах и творческих экспериментальных мастерских. Самое малое девять десятых нашего жизненного пространства образовано промышленным способом. Это главенствующая основная масса, качество которой необходимо срочно улучшить. Этим не могут заниматься ни случайные люди, ни конъюнктурщики или подхалимы, ни те, кто, демонстрируя свою некультурность, готовы мерить состояние среды только рублем. Художественные советы, которые решают судьбу промышленных изделий и тем самым судьбу жизненного пространства нашего народа, должны быть незамедлительно очищены от тех, кто не в состоянии в них работать! Что может дать латышской культуре такой художественный совет, состав которого интернационален? Точнее говоря, другой национальности. Слишком затянулось всестороннее обсуждение о взаимном обогащении культур разных народов. Доводилось ли вам видеть платочек, который выполнен в традиционных латышских узорах без чисто русского подбора красок? Или наоборот? Культуру какого народа они представляют? Такие изделия производятся массовым порядком. Теоретически все красочные пигменты в сумме представляют собой грязь. А объединение всех основных цветов создает белый цвет.

Какого результата хотим мы добиться, производя такие

изделия, — неужели мы в самом деле надеемся остаться белоснежными в грязи?

Гипертрофированное промышленное производство привело к несогласованности демографических и технических структур, мы прервали естественную культурную преемственность вещей и среды.

Где искать решение?

— Параллельно крупному промышленному производству в Латвии необходимо развивать качественную работу ремесленников, которая должна служить образцом и школой производства вещей.

— На всех уровнях в школах надо уделять особое внимание истории ремесленного производства и закономерностям развития сегодняшней среды. Надо подумать о введении в школьные программы курса культуры вещей.

— Дизайн необходимо признать полноценным компонентом промышленного производства.

— Дизайнеры, как ответственные специалисты, должны участвовать в производстве изделий, начиная со стадии проектирования и кончая выпуском вещи к потребителю.

— В республике должен быть организован институт культуры национальной среды на уровне АН ЛССР, который будет систематически заниматься исследованиями ремесленного дизайна и проблем архитектуры и будет поставлять полноценную научную информацию производственным организациям и руководству.

Мы хотим быть патриотами культуры своего народа. Мы верим, что перестройка государственной политики должна начинаться первым делом со строительства своего дома. Такого дома, в котором появляется желание петь свои народные песни.

ИСТОРИЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, КАК БИРЖА

Миервалдис БИРЗЕ,
писатель

Поскольку я достаточно долго живу, придерживаясь советских традиций, начну с цитаты. Роза Люксембург сказала так: «Свобода — это свобода для инакомыслящих». Может, кому-то это покажется неважным, но все же симптоматично — как выглядит наша Латвия на карте! Послевоенное поколение этого не знает. Каждый день над нами летают спутники, в чужих государствах на картах отмечают даже невнимательность какого-то тракториста, своими гусеницами заехавшего в чужой двор, но Латвии в самой Латвии на картах с латышским языком в последние сорок лет так и не появилось. Даже та схема, что называют картой, и на которой не виден ни Гайзиньш, ни принятые во всем мире горизонталы, обозначающие высоту, ни дороги, ни болота, ни прямые каналы — даже эта бедная схема появилась в магазинах всего 12 лет назад, и сегодня в магазине я могу купить хорошую карту дорог Германии, но карта Латвии, своей земли, продолжает оставаться тайной вот уже для третьего поколения. В Африке даже у тех, кто живет в округе Суахили, есть своя карта. У Латвии такой нет. Это пренебрежение, пока нет официального и удовлетворительного объяснения, случайное ли оно или нарочитое, оскорбляет мои национальные чувства, ибо я чувствую себя словно насильственно изгнанным из культурной среды своего народа.

О некоем терминологическом вопросе. В последнее время в прессе и в речах все чаще употребляется термин «коренное население». В словаре латышского литературного языка это объясняется двояко: коренное население — это то, которого большинство в каком-либо населенном месте. С точки зрения этого толкователя коренное население Риги — русские. Второе разъяснение — коренное население — это то, которое жило здесь издревле. Как пример, в этой книге упомянуты индейцы Соединенных Штатов Америки. У меня создается впечатление, что, когда говорят «язык коренного населения», то стараются обойти слова «латышский язык». Я никогда не говорил и не буду говорить на языке коренного населения, но говорю и буду говорить на латышском языке. Когда я слышу слова «коренной житель», то в памяти всплывают кровавый террор немецкой оккупации, в начале которого, когда на фронте дела еще были хорошо, в официальных документах избегали слова «латыши», употребляли вместо него выражение «vietējie» — местные.

После войны теоретиком Югославского Союза комму-

нистов был Милован Джилас, и ему приписывают следующие слова: «Власть народной демократии представляют три класса — рабочие, крестьяне и бюрократия. Бюрократия — это живой организм. Живому организму свойственно стремление к росту». Придерживаясь традиции тогдашней народной демократии, маршал Тито поместил Джиласа на какое-то время в тюрьму. Я думаю, что у нас в Латвии появился неизвестный до войны и разившийся за последние сорок лет еще четвертый класс — живущих в общежитиях, которым присущ свой образ мышления и образ жизни. Трагическая, порой изуродованная, полная безнадежности психика. Как ее выразить в словах? Ибо ведь сказано — «все у нас делается в соответствии с Государственным планом».

Литература в долгу перед читателями. Мало мы показывали этот пролетариат — без своего угла, который живет в нечеловеческих условиях, без родного места, где стиль жизни определяет пьянство, где процветает старая, непризнанная, но, как выясняется, необходимая профессия — проституция. Нет в латышской литературе трудов, которые показали бы генералов от экономики, руководителей республики, которые со стратегическим подходом и с апломбом обрели на эту судьбу — сидеть на чемоданах — уже многие поколения. Чем эти стратеги отличаются от пасторов, которые вещали — «терпите, на небеса попадут лучшие!» Ибо как-то было признано, что люди ждут и еще будут ждать человеческие условия десятилетиями. В литературе отсутствуют эти явления — хотя бы маленькие дети, которые вечерами в третьей смене в школе уродуют свою психику, становятся неврастениками или безжалостными личностями. Во имя чего? Разве для того, чтобы заполнить белое пятно в истории, не стоило бы издать образную, полную сведений биографию Арвида Пельше! Особенно потому, что его товарищи и соратники по работе полны сил и живут среди нас.

Пару недель тому назад я в Мюнстере осматривал латышскую гимназию и встречался со школьниками последнего, тринадцатого класса. Между прочим, они знают все самое важное о литературе, которая выходит в Риге. Я видел на их столах много ксерокопий из литературных журналов, которые всего две недели назад вышли в Риге. В свою очередь, латышские школьники в Риге свято знают, что за рубежом латышского искусства и литературы нет. Учитель спросил меня, что бы я хотел пожелать этим молодым людям. В спешке я сказал — научиться хорошему латышскому языку и всю жизнь оставаться латышами. Только по пути из Мюнстера через зеленый Вестфален в свое местожительство я подумал, что своим последним

пожеланием я обрек их на тяжелый труд. Ощущать свою принадлежность к латышскому народу — тяжелый труд не только в Мюнстере. Зная латышскую историю несколько лучше, чем разрешено в той школе, я задумался: в XX столетии многие латышские полки сражались с оружием в руках. Начиная с 1905 года, от лесных братьев, у которых были одностволки, выкованные деревенскими кузнецами, с 1914 по 1920 годы с трехлинейками; были полки стрелков, пехотинцев, дивизии, был численно большой добровольческий легион, и у всех павших кровь была красного цвета. И чем дальше от тех событий, озаренных светом северного сияния, тем объективнее их можно оценить. Отдает бессердечием вопрос — много ли латышский народ отдал горячей солдатской крови, которая увлажнила сухую землю! История, к сожалению, как биржа, на которой кровь ценится то выше, то ниже; и страшно слышать, что со временем цена крови меняется. Оружие редко приносило счастье, даже учитывая, что порой драться

с оружием в руках было святой обязанностью. С шестидесятих годов исчезли моя вера в политиков и руководителей Латвии, ибо им часто не хватало настоящей заботы о сохранении латышского народа. Я больше верю тем, кто собрался в этом зале сегодня — писателям, поэтам, музыкантам, художникам и отрядам других работников культуры — это им бороться за сохранение латышского народа. Ибо я не хочу дожить до этого момента и не желаю этого и своим детям, чтобы в какой-нибудь библиотеке рядом с «Илиадой» и «Одиссеей» стояли тома латышских дайн, как доказательство того, что великое искусство переживает свой народ. В свете этих дней я вспоминаю календарь, который листал в молодости, изданный к двадцатипятилетию 1905 года. Там были опубликованы две из жемчужин мысли Райниса. Одна пророчески говорила об опустошенном пейзаже Латвии. Она звучит так: «И тряпка когда-то была хорошей рубашкой». Вторая была элегичнее: «И в своем доме ты сам по себе бобыль».

ГАРАНТИРОВАТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ

Янис РУКШАНС,
редактор журнала «ДАРЗС УН ДРАВА»

Готовясь к этому пленуму, я перебрал в памяти проблемы, о которых надо было бы поговорить, и пришел в растерянность. Наша сегодняшняя жизнь напоминает огромные Авгиевы конюшни, только нет у нас Геракла, чтобы повернуть реку и мощным ее потоком вынести все то дерьмо, что копилось у нас годами. Сегодня в деле защиты природы такие радикальные приемы неприменимы — так нам стараются внушить. Но старания отдельных отщепенцев, которые с вилкой в руках пытаются навести порядок, могут растянуть до пределов вечности процесс очистки, когда мы уже забудем питавшие нас надежды и увязнем или, точнее говоря, утонем в своем дерьме.

Положение в системе образования буквально трагическое. Фанфары времен стагнации, стремление выдавать желаемое за действительное, привели к созданию обманливых стереотипов. К одной из этих нелепостей относится прославление смешанных школ, которое раздавалось с самых высоких трибун. Престиж этих школ, как среди родителей, так и среди школьников гораздо ниже, чем у обычных. Что же касается интернационального воспитания, в этих школах не проходит ни одной перемены без взаимного выяснения отношений.

Обязательным должно стать требование, чтобы количество часов, отводимых на изучение второго языка народа СССР, было равно. Иначе мы придем к ситуации, когда в отдельных школах родной язык будут учить меньше, чем русский.

В Риге катастрофически не хватает мест в латышских детских садах. И в то же время в них принимают детей, которые на понимают по-латышски. Пребывание в среде с чужим языком наносит детям тяжелую психологическую травму — об этом свидетельствуют исследования японских ученых об особенностях овладения родным языком. Но почему в Советском Союзе так категорически запрещается упоминание специфических черт отдельных народов страны — не запрещаем же мы выражения «негритянская музыка», «итальянский темперамент». Разве можно считать нормальным положение, когда в райотделе народного образования

единственный латыш — заведующий отделом, и когда из детских садилов шлют ему отчеты о работе на латышском языке, его сотрудницы получают их с резолюцией на русском языке: «Опять эти идиоты прислали свои каракули».

Второе, о чем я хотел бы поговорить, — это гарантированные Конституцией свободы печати и совести; в данном случае под совестью я понимаю не только религиозные взгляды, но и свободу выражения политических взглядов. Начну с точки зрения Карла Маркса на свободу печати: «Свободная печать — это зоркое око народного духа, воплощенное доверие народа к самому себе, говорящие узы, соединяющие отдельную личность с государством и с целым миром; она — воплотившаяся культура, которая преобразует материальную борьбу в духовную и идеализирует ее грубую материальную форму. Свободная печать — это откровенная исповедь народа перед самим собой, а чистосердечное признание, как известно, спасительно. Она — духовное зеркало, в котором народ видит самого себя, а самопознание есть первое условие мудрости. Она всесторонняя, вездесущая, всеведущая. Она — идеальный мир, который непрерывно бьет ключом из реальной действительности и в виде всевозрастающего богатства духа обратно вливается в нее животворящим потоком».

Цитирую Розу Люксембург:

«Социализм без политической свободы — не социализм. Без свободы не будет ни политического воспитания масс, ни их полного участия в политической жизни. Свобода только для активных сторонников правительства, только для членов партии, как бы многочисленны они не были, это не свобода. Свобода — всегда и единственно — для тех, кто мыслит иначе».

Таковы взгляды основоположников марксизма на прессу, и такими же они были и в первые годы революции, когда советская пресса давала слово и врагам революции. Если партия могла позволить себе свободомыслие дискуссии, когда вокруг была контрреволюция, не смешны ли наши страхи сегодня? В нашей республике зашли так далеко, что в этом году Совет Министров издал решение № 29, которое дополняет Закон об индивидуальной трудовой деятельности. На-

ших ретроградов не волнует, что дополнение никоим образом не согласуется с основной частью Закона: появление журнала «Аусеклис» настолько перепугало бюрократию и стагнократию, что заботы о логике остались на втором плане. Чтобы избавить себя от дополнительных усилий, закон, запрещающий издавать газеты и журналы, был дополнен поистине абсурдным предложением, которое запрещает деятельность в идеологической сфере. Тогда и мы, которые собрались здесь, являемся уголовными преступниками, потому что и наше собрание можно рассматривать как «работу в идеологической сфере». Принятие этого закона означает плевок на Конституцию, на здоровое понимание того, что значит несколько десятков машинописных копий журнала «Аусеклис» по сравнению с массовыми тиражами партийной прессы.

Что же такое Конституция, хотелось бы спросить у руководителей республики — Основной закон государства или запыленная брошюра, которую можно засунуть в дальний ящик стола? 17 мая «Известия» остро критиковали исполкомы Риги и некоторых других городов за принятие временного положения о проведении митингов и демонстраций, как антидемократическое и антиконституционное, но наш Верховный Совет принял постановление, которое еще усиливает это нарушение Конституции. Хоть смейся, хоть плачь — но на критику отреагировали.

Официальная пресса очень медленно освобождается от наследия прошлого: она может опубликовать оскорбительное сочинение прокурора Латвийской ССР Я. Дзенитиса с заголовком «Диагноз: политическая слепота», посвященное Хельсинкской группе. Неужели Дзенитис в самом деле думает, что у людей нет словаря иностранных слов и они не могут проверить, что означает слово «меморандум»? Неужели организаторы этой статьи в самом деле думают, что человек покорно проглотит любую ложь? В этой статье буквально нет строчки, которую нельзя было опровергнуть. И если речь идет о меморандуме, неужели его нельзя было бы предварительно опубликовать, чтобы не попасть в ситуацию, когда о работах Солженицына и о «Докторе Живаго» уважаемая доярка писала: «Читать не читала, но знаю, что это дрянь». Не случайно газета «Падомью Яунатне» 7 мая 1988 года была вынуждена признать: «... Ответы на существенные, актуальнейшие вопросы охотнее ищут в номерах журнала (?) «Аусеклис», передаваемых из рук в руки».

Вспомним 14 июня и 23 августа прошлого года и их исключительное тенденциозное, лживое отражение в официальной прессе. В этих мероприятиях участвовали тысячи человек, которые своими глазами видели, с какой жестокостью вела себя милиция. Нравится нам это или нет, но нельзя однозначно оценивать эти манифестации как дискредитацию демократии. Неоспорима положительная роль этих событий в процессе перестройки, в пробуждении массовой активности народа, в уничтожении почти генетически запрограммированного страха. Таков положительный вклад «календаря волнений» XX-го столетия в процессе перестройки.

В такой ситуации партия обладает абсолютной монополией на прессу. Не смешно ли, что главного редактора даже такого издания, как «Дарзс ун драва», вызывали и предупреждали в ЦК, а также редакторов всех остальных журналов и газет, несмотря на их формальных издателей?

Я убежден, что независимые издания были бы самыми лучшими, самыми надежными гарантами перестройки.

Читатели сами проголосуют, кому они верят больше, и условия такой идеологической конкуренции заставили бы и партийные издания работать лучше, и я сомневаюсь, главной ли задачей прессы в условиях хозрасчета стала бы публикация таких глупостей, как сочинение Дзенитиса.

Руководство республики потеряло доверие. Если комиссия по межнациональным отношениям нашего парламента доверяет дела такому, как Андерсон, который приобрел известность, обвиняя других в национализме, тогда комментарии излишни. В прошлом году перед съездом Союза журналистов мы, главные редакторы, были приглашены в ЦК, чтобы высказать свои точки зрения. Встречу открыл Б. Пуго словами, что нас пригласили сюда без особой подготовки, чтобы каждый мог свободно поделиться своими мыслями — для вящего торжества демократии. Я бы этому поверил, если бы по ошибке не сел не на свое место; сидящий рядом функционер ЦК что-то проворчал, однако не ушел, только перевернул лежащий перед ним листок, что, естественно, возбудило мое любопытство, и в дальнейшем я то и дело косился на этот листик одним глазом. Как вы думаете, что в нем было? Правильно, список. Тот список, в котором были речи, о которых «прежде никто не знал», включая резерв, и даже графа «Взгляд со стороны» с двумя фамилиями в ней. Как я после этого могу верить в честность своего ЦК?

Я не удивляюсь, что пленум ЦК смог выдвинуть Восса делегатом на партийную конференцию, это поистине вседозволенность, полное игнорирование общественного мнения. Выдвинуть делегатом человека, имя которого теснейшим образом связано с периодом стагнации в Латвии, который вместе с А. Пельше заложил основы многих сегодняшних проблем, — это открытый саботаж линии Горбачева, сопротивление призыву выдвигать на конференцию активных сторонников перестройки. И избрание А. Клауцена, который публично призывал надеть узду на прессу, после этого выглядит невинной шуточкой.

В заключение хочу процитировать строчки из последнего номера «Огонька»:

«Идет вечная война. Это война между людьми с творческим складом ума и дураками, между творцами и чиновниками, между новаторами и консерваторами, между энтузиастами и подлецами, между талантами и графоманами, между мыслителями и фельдфебелями, между принципиальными и беспринципными людьми. И счастлив тот, народ, где на всех этапах смены правительства к власти приходят п е р в ы е. И горе и беда тому, где в т о р ы е!»

Партия раскололась — на партию коммунистической перестройки и партию ревизионистской стагнации. У меня нет ни малейшего доверия деятелям, которые мимикрируют под сторонников перестройки. Поэтому необходим чрезвычайный съезд партии, который выберет новый ЦК, и делегатов этого съезда надо избирать в конкретных первичных парторганизациях — только тогда мы получим гарантии необратимости перестройки и демократизации.



ПЕРЕСТРОЙКА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Не много ли я на себя беру? Некоторые мыслители посвятили этому вопросу всю жизнь. Моя попытка может быть воспринята как дерзость несомакритичного человека. Что же, ограничусь одной проблемой, зато мировоззренческой и во многом определяющей нашу ориентацию в окружающем мире.

Противоречит ли обращение к национальному (борьба за расширение статуса родного языка, стремление к восполнению пробелов в истории своего народа, защита среды, где обитает коренное население, и т. п.) понятиям «классовое» и «социалистическое», которые десятки лет считались оселком прогрессивности всех деяний? Совместимо ли активное движение (и сегодняшнее, и будущее) за языковую, культурную, территориальную и организационную самостоятельность нации, то есть борьба за сохранение национальных различий, с торной тропой ко всеобщему равенству и братству? Уживается ли обособление с коллективизмом? И независимо от субъективных намерений представителей этого пестрого и неоднородного движения не льет ли воду на мельницу буржуазной реставрации подчеркнутое внимание к национальным ценностям? Да или нет?

Прежде всего, нельзя говорить о межнациональных отношениях, оставляя в стороне культуру, образование, политику и экономику. Изучать соответствующие тенденции, конечно же надо, но этого мало — мы должны, мы просто обязаны понять, в чем коренится сущность социализма как такового, а не ограничиваться изучением отдельных его проявлений, модификаций, вариантов в различные эпохи и в разных странах. Короче: судить о динамике национальных отношений следует в контексте общественного развития. А оно имеет направленность и у него есть мера. Мера, то есть критерий, соотносится с высшей целью — идеалом, которому подчинена жизнь отдельных индивидов, составляющих нацию. Итак, сначала требуется ответ на более широкий вопрос — о дороге, ведущей к Храму.

Государственный социализм не сумел предложить ценности, которые сплотили бы людей и обозначили перспективу для всего общества, а не одного лишь государства. Поэтому водружение над суетными целями (экономические планы, поддержание общественного порядка и т. п.) знамени, на котором начертано «семья, нация, человечество», отнюдь не ретроградство — ни при капитализме, ни до него эти общечеловеческие ценности в чистом, неискаженном виде никогда не превалировали. Да, сохранение национальных различий государственному социализму не с руки, но единственный ли это вариант социализма? Прогресс нашего строя носит не количественный, а качественный характер: социалистическое государство из вознесенного над обществом господина превращается в равноправного и лишнего особых привилегий партнера

существующих общественных сфер и слоев. Но, упаси бог, только не в слугу! Обладание функцией «слуги народа» в первую очередь и чревато узурпацией власти, субъективные качества стоящих у руля людей второстепенны. Слуга, нанятый для облегчения жизни господину, берет на себя выполнение определенной общественно-управленческой функции, делает ее своей монополией и естественной привилегией. В то же время у господина соответствующая способность (читай: к управлению обществом) атрофируется, и он попадает в зависимость от слуги. Слуга его порабощает. Вот почему превращать социалистическое государство или правящую партию в слугу класса, народа, общества — значит мостить дорогу в ад.

ОБОСТРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА

Оно произошло не сегодня. Оно созрело при владычестве государственного социализма, когда культивирование национальных различий вошло в противоречие с централизацией политико-экономического руководства. Национальное не вписывается не в социализм вообще — оно противоречит «экономизму» в широком толковании этого термина. Экономизм — система целевых ориентаций, сложившаяся задолго до Октября. Один из его мировоззренческих принципов — сменение и слияние наций для того, чтобы повсеместно гарантировать благоприятные условия непрерывному производственному росту. Любопытно, что единая общность — советский народ стала критерием коммунистичности в те самые 60—70-е годы, когда не то что продвижение к коммунизму — эволюция страсть как «развитого» социализма была невозможна.

О латышском народе. Для малых наций последствия антидемократического правления всего тяжелее. Они терпят классовый гнет, страдают от национального неравенства. Первому социалистическому государству досталось от Российской империи печальное наследие. «Тюрьма народов», где царь и абсолютное большинство дворян — русские, армия, полиция, чиновничество отдают приказы по-русски, система образования пропитана исключительно русским духом и инородцам живется несладко.

Учебники истории рисуют однобокую картину. Нашествия немецких, шведских, польских феодалов на Прибалтику, Украину и другие земли ужасны. Последствия этих войн, разумеется, чудовищны. Ну, а походы царского воинства в Сибирь, Среднюю Азию, на Кавказ, в Прибалтику? Ясно, что они были продиктованы не интересами русского мужика, а имперскими амбициями. Так как же — покорение, завоевания или присоединение к «матушке» территорий дружественных, а то и родственных народов для их же собствен-

ного блага? Что это было, если пришлые эксплуататоры не только трудовой народ, но и местных (а в Прибалтике даже и не местных) эксплуататоров подчиняли своей воле?

Вопросы эти ставятся не для того, чтобы оскорбить русский народ. Империалисты Запада в Африке, Индии и прочих колониях тоже подчиняли, покоряли не только плебс, массы, но и знать — князьков и феодалов, угнетавших собственный народ, свое же племя. Во имя прогресса велись эти захваты? Можно ли назвать такую политику прогрессивной потому, видите ли, что пришельцы выступали против жутких туземных обычаев — ну, скажем, человеческого жертвоприношения?

Социально-экономическая общность народов СССР исторически сложилась не путем сближения трудящихся разных национальностей, а в результате агрессивной политики российского империализма. Забывать об этом негоже, а полагать, что это никак не сказалось на развитии многоязыковой страны — наивно. Лишь реакционнейшие геополитики находят оправдание «естественному праву» сплоченного в державу великого народа захватывать новые земли до тех пор, пока на его пути не встанет неодолимая преграда — море, горы или другой до зубов вооруженный народ.

Маркс и Энгельс отнюдь не превозносили внешнюю политику самодержавия. В их 50-томном собрании сочинений на русском языке потому не нашлось места «Тайной истории дипломатии XVIII века», что в ней Маркс трактует историю России не так, как советская — марксистская — историческая наука.

Десятилетиями русские цари, князья, полководцы изображаются у нас розовой краской. Ладно бы, в трудах официальных историков. Так ведь и в учебниках, и в кинофильмах, и в популярной литературе, что непосредственно воздействует на массовое сознание. Парадокс: сопротивление туземцев Африки, Азии и Америки европейским колонизаторам, даже если оно возглавлялось местными душегубами, подается сочувственно, и с диаметрально противоположных позиций — попытки окраинных народов России и их правящих кругов, вождей, элиты противиться двуглавному орлу. Это необъективно, оскорбительно, и оправдано лишь в том случае, если от души полагать, что все русское изначально прогрессивно. Что же удивляться некоторым латышам, которые заливают розовым светом отдельные исторические персонажи (лишь бы свои), да и целые периоды истории Латвии? Они просто берут пример с «большого брата» и тайком протаскивают то, что там провозглашают открыто.

А как понять, что одна из центральных улиц Риги, столицы социалистической республики, названа в честь представителя свергнутых эксплуататорских классов генерал-губернатора Суворова? Интернационализм ради? Национал-шовинизм?

Предложил бы кто назвать у нас улицу именем диктатора Ульманиса — крайний национализм, он и есть. Так что же, на каждый случай другая мерка?

31 декабря 1922 года В. И. Ленин писал: «Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой» (ПСС, т. 45, с. 359). Тут не царская Россия имеется в виду! Говоря о насилии больших наций, Ленин утверждает, что интернационализм «должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком **неравенстве** (выделено мною. — М. Г.), которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывалось в жизни фактически». Таково действительно пролетарское отношение к национальному вопросу. Пролетариату большой нации «нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» нации» (с. 359). «... лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить» (с. 360). Таков ленинский, классовый (пролетарский) подход к вопросу о взаимоотношениях больших и малых наций, о котором не желают слышать нынешние радетели «классовой чистоты» учения о национальном вопросе. Или они в глубине души считают Ленина устаревшим?

Итак, ленинская национальная политика предполагала интернационализм с известным неравенством в пользу маленьких наций. Как же проявлялась уступчивость большой нации после Октября? Почти вся история социализма была прожита при дефиците демократии. Номинальная власть принадлежала народу. На деле отошла от Советов к специализированным исполнительным органам. Возникла противоположность: бюрократический центр — трудовая периферия. В какой-то, пусть небольшой, мере это противоположность великорусской нации и других наций и народов. Особенно с учетом влияния русского языка и русской политической культуры на государственные институты, в первую очередь армию, органы внутренних дел и госбезопасности. Объектом управления, руководству являлись люди, подчиненные. Управление с помощью русского в основном языке дает русским людям культурно-психологические преимущества в занятии руководящих должностей, побуждает стремиться «вверх».

Латышской нацией почти всегда кто-нибудь управлял. Гнет был немецким, польским, шведским, а в последние столетия главным образом русским (точнее — правящих классов упомянутых наций). Психологические аспекты эксплуатации — научная целина; мы не можем сейчас сказать, от чего страдает больше угнетенный народ — от присвоения угнетателями созданного им прибавочного продукта или полицейско-чиновничьей регламентации, в том числе с помощью языка и обычаев угнетающей нации, всей будничной жизни, повседневности? Разумеется, никто не забывает, что в антагонистическом обществе и в большой нации, покорившей малую, перевес составляют угнетенные слои, а элита маленькой нации тоже душит и давит собственный народ. И все же...

Каким классовым интересам отвечали сталинские извращения ленинской нацио-

нальной политики? Некоторые заявляют, что в целом, так сказать, в коренном отношении политика Сталина и его аппарата служила классовым интересам пролетариата. (То, что она находилась в вопиющем противоречии с объективными интересами крестьянства и интеллигенции сегодня, когда всплыли чудовищные — но далеко не все — факты прошлого, ясно любому непредубежденному человеку.) Субъективную веру определенной, пусть даже подавляющей, части пролетариата в правильность сталинского курса и режима не следует смешивать с объективными классовыми интересами. Обожествление Гитлера немецким народом в предвоенные годы доходило до безумия, но мы ведь не станем говорить, что политика фюрера соответствовала объективным интересам рабочих и крестьян Германии. Поэтому считать, что авантюристическая внешняя политика Сталина, уничтожение ленинской гвардии, массовые репрессии, «прополка» интеллигенции, голод в деревне, фактическая ликвидация общественной жизни, не говоря уже о советском и народном контроле, насаждение тотального страха, раздувание шпиономании выражали классовые интересы пролетариата, означает клеветать на пролетариат, изображать его монстром, который не способен «добиться освобождения» иначе, как погребая другие социальные слои, иначе, как предавая чудовищному растерзанию своих самых сознательных представителей и прежде всего тех, кто самоотверженно боролся за освобождение пролетариата — и не только его — от буржуазно-помещичьего ига.

Что же такое государственный, «казарменный» социализм? Это господство «государства как класса», проще говоря бюрократии, над рабочим классом, крестьянством и интеллигенцией. Сталинищина непосредственным образом отвечала объективным интересам «государства-класса» (этот термин в ходу у советских историков, изучающих империю античного мира и средних веков).

На судьбы латышского народа определяющим образом повлиял в 1940 год, вхождение Латвии в состав СССР в крайне антидемократических условиях.

1940-й

Лето 1940 года. К этому времени значительная часть большевиков, тех, кто основывал первое в мире социалистическое государство, была подвергнута репрессиям. Их называли агентами империализма и вредителями. В немилость попали прежде всего ленинцы, за плечами которых было по 10—20 лет нелегальной борьбы с самодержавием, против эксплуатации трудящихся. На что мог рассчитывать в этих условиях латышский народ, с 1934 года живший под властью профашистского режима, к тому же ориентированного на соперника Германии — Великобританию? Германия ведь совсем недавно — 28 сентября 1939 года, после ликвидации Польского государства, заключила с Советским Союзом договор о дружбе и границах. Не произошло ли так, что недоверие Советского правительства к политическому, как бы даже и фашистскому, руководству независимой Латвии невольно было распространено на весь латышский народ? Последовали предвоенные репрессии, включая и роспуск территориального корпуса Красной Армии в первые дни

войны. Все это только усилило неспособность многих латышей сориентироваться в событиях лета 1941 года. И еще: латыши — деятели Октября, герои Гражданской войны, люди с громадным опытом партийной, военной и хозяйственной работы, которые проживали в 20—30-х годах в СССР и в 1940 году могли бы взять на себя руководство молодой советской республикой, в большинстве своем погибли от рук сталинских палачей накануне событий 1940 года.

Окутаны завесой тайны и международные события 1939—1940 годов. Многие остаются неясным, по крайней мере для тех, кто внимательно читал речи наркома по иностранным делам В. М. Молотова на заседаниях Верховного Совета СССР в те годы. Празднование 60-летия И. В. Сталина в Берлине в декабре 1939-го, договор о дружбе с фашистской Германией после уничтожения суверенитета Польши благодаря «коротким ударам» по ней армий Германии и Советского Союза (официальное заявление Молотова). Встреча в Москве Риббентропа на украинском флаге обеих стран аэродроме. Запрет на употребление слова «фашизм» в советской печати в 1939—1941 годах (вплоть до начала войны). Утверждение Молотова о бессмысленности и преступности войны на уничтожение гитлеризма, так как сильная Германия является необходимым условием стабильного мира в Европе, а продажа советских сырьевых излишков для нужд германской промышленности полностью соответствует народнохозяйственным и оборонным интересам СССР. Все это было.

Несколько фактов о сталинской внешней политике по отношению к небольшим буржуазным государствам — соседям СССР. 17 сентября 1939 года СССР в специальной ноте обещал поддерживать по отношению к этим странам политики нейтралитета. 31 октября, выступая на заседании Верховного Совета, Молотов сообщил о заключении пактов о взаимопомощи с прибалтийскими государствами — военная помощь должна была быть оказана в случае нападения какой-либо третьей страны. Наркоминдел подчеркнул, что эти пакты не означают вмешательства в дела других государств, но строго охраняют суверенитет подписавших сторон и невмешательство в дела друг друга на основе уважения государственной, социальной и экономической структуры другой стороны. Наконец пояснил, что сплетни о советизации прибалтийских государств выдвигны только нашим общим врагам. В тот же день чистой выдумкой и ложью были названы «сказки» о том, что СССР якобы требует от Финляндии Выборг и северную часть Ладожского озера (взгляните на карту, уважаемый читатель).

29 марта следующего года, по окончании кровопролитной советско-финской войны, Молотов заявляет, что соглашения с прибалтийскими странами соблюдаются удовлетворительно, их независимости и самостоятельности ничто не угрожает. А 1 августа, в речи после исторических июньских событий в Прибалтике, признает, что заключенные ранее пакты не принесли должных результатов. Страны Прибалтики усилили, мол, враждебную и тайную деятельность против СССР (юридических доказательств не требовалось — шпионы ведь буквально наводнили высшие государственные учреждения Советской страны!), грубо нарушали пакты, а посему советское руководство потребовало изме-

нить состав правительств этих стран и ввести на их территорию дополнительные контингенты Красной Армии. Читатель может сам судить о последовательности сталинской внешней политики. В связи с речью Молотова от 1 августа отпадает и ссылка на угрозу Прибалтике со стороны Германии: возможные разногласия между Германией и СССР отрицались, а это все равно что сказать — угрозы не было, уж у Советского Союза пакт о военной помощи странам Прибалтики в случае нападения на какую-либо из них. Более того, Молотов подчеркнул, что в основе дружеских отношений между СССР и Германией лежат не конъюнктурные соображения, а фундаментальные государственные интересы СССР и Германии. И это говорилось после того, как Германия распотпала независимость 7 стран Европы!

Я, конечно же, понимаю разницу между интересами буржуазного и социалистического государства, но нельзя не заметить, что в данном случае наводит порядок в буржуазное государство (сиречь Латвию) явились представители такой социалистической страны, где режим вошел в резкое противоречие с изначальными, ленинскими идеалами социализма. Так что гипотеза об экспорте революции отпадает сама собой. В СССР победила бюрократическая контрреволюция, и не помышлявшая ни о каком экспорте революции.

Октябрь 1917 года открыл в России дорогу ленинскому этапу строительства социализма. Его сменила контрреволюция. О каком демократическом, соответствующем волеизъявлению народных масс формированию нового правительства Латвии в июне 1940 года можно говорить, если событиями дирижировал специально прибывший из Москвы эмиссар, да не кто-нибудь, а А. Я. Вышинский?! Новая Латвия создавалась по образу и подобию царившей тогда в СССР политической системы. В этих рамках логичным было назначение, а не свободные выборы правительства. Назначают всегда сверху, а верхи в тот момент — это, разумеется, Москва.

Неужто руководство Красной Армии и присланные из Советского Союза коммунисты уважали интересы коммунистов Латвии — вчерашних подпольщиков и политзаключенных — и трудящихся республики? Факты свидетельствуют об обратном. Летом сорокового года была приторможена самостоятельность трудящихся в формировании местных советов, а в новое правительство не вошел ни один член ЦК КПЛ. В марте 1941 года были распущены группы беспартийных активистов. Инициатива снизу не вписывалась в модель бюрократического централизма. Местные советы были созданы только весной сорок первого, хотя до вступления Латвии в СССР 5 августа 1940 года создание органов местной власти, по крайней мере с формально-юридической точки зрения, не могло рассматриваться как инициатива снизу. В общем, советская власть в то время насаждалась сверху вниз. А значит, о восстановлении **советской власти** в Латвии в 1940—1941 годах, той, что была здесь в 1919 году, можно говорить весьма условно. Советы, как показывает исторический опыт революций 1905 и 1917 годов, были состоявшими из **трудящихся и избранными трудящимися** представительными органами для непосредственной реализации власти, а не отобранными сверху представителями трудящихся, обязанными штамповать постановления исполнительной власти. Поэтому

в отношении упомянутого периода истории нашей республики резонно говорить не только (и не столько) об антисоветском настрое свергнутых представителей буржуазии, сколько о том, что сам социализм насаждался и укреплялся в Латвии несоветскими методами. Антисоветизм обычно определяется у нас как политика империализма Запада против советского государства. Да, но антисоветизм — это и отношение к власти трудящихся, к власти народа определенных сил внутри страны. В сталинский или, скажем, брежневский периоды наше государство по сути своей было не **советским** государством, как о том твердили «мифы» тех лет, а государством центрального аппарата и органов госбезопасности.

Латвия не просто добровольно вступила в СССР, она вступила в такой союз народов, где «добровольная» коллективизация унесла миллионы жизней, где законность и правовые нормы в лучшем случае существовали только на бумаге, где безраздельно господствовал бюрократический централизм, правивший административно-командными и террористическими методами, и где никто из лиц, располагавших властью и словом, не намерен был считаться с интересами индивида, коллектива, области или республики, коль скоро они не совпадали с высшими интересами.

Каждый народ, разрешая свои собственные внутренние противоречия, так или иначе, быстрее или медленнее идет по пути развития. Но это движение должно быть добровольным и осозанным. Если к добру начинают подталкивать в спину, надо ли удивляться тому, что добро это воспринимается как зло или не слишком великое добро. Не потому ли до сих пор жива в памяти многих людей старшего поколения буржуазная Латвия с ее символами и вожжами? Нет, не ностальгия. Я не думаю, что все, что сегодня чит эти символы, выступает за реставрацию буржуазного государства и общества в точном, классовом и политэкономическом, понимании этих слов или призывает к «крестовому походу» против всех нелатышей без исключения. Скорее тут другое. Немалая часть нашего общества росла в таких условиях, что в их частной жизни не оказалось положительных идеалов, к которым можно было бы прицепить души. Восхищение прошлым, аберрация зрения — не от хорошей жизни. Поэтому как никогда необходимо нам сегодня положительное обновление всех сторон общественной жизни в Латвии — реальное продвижение вперед, а не назад, к новому, небывалому.

При этом должна быть написана всесторонняя история Латвии — не только буржуазного периода, всей Латвии во все времена. История, которая бы запечатлела хозяйственную, духовную, политическую, военную и прочую жизнь нашего народа и края, связи с другими странами и народами, история, основанная на широких обобщениях и оценках на почве всех без изъятия фактов, типичных примеров, документов. Но не та, что пишется ради диссертаций, не та, что втискивается в прокрустово ложе школьных и вузовских программ, не безапелляционные приговоры сегодняшнего дня быломому, а труд, со страниц которого заговорит своим языком и вчерашний день. Труд крайне необходимый, однако не терпящий поспешности, ударных темпов и... оставляющий потомкам право окончательного суждения о сегодняшнем дне. Ведь если раньше стыдно

было читать то, что выходило 15—20 лет назад, ныне краска бросается в лицо, когда читаешь «актуальные описания» еще двух-трехлетней давности...

ФАКТИЧЕСКОЕ НЕРАВНОПРАВИЕ НАЦИЙ

Абсолютная численность нации не имеет такого большого значения, как ее доля среди населения данной территории. По удельному весу коренной национальности Латвийская ССР занимает одно из последних мест в стране. Уже в 1979 году латышей было менее 50% во всех городах республиканского подчинения, за исключением Елгавы, во всех районах города Риги. Умозрительно определить «нормальный» процент инационального населения невозможно. Где же выход? В печати промелькнула мысль, что каждая попытка ограничить приток людей в республику извне — это национализм и даже расизм. Но надо ли приклеивать ярлык любому, кто хотел бы всерьез исследовать проблему? А она существует, и криками о вражеских вылазках можно справиться с авторами предлагаемых решений (раньше так делалось), но не с ней самой.

Один из основных факторов, способствующих межнациональным трениям, — это фактор языковой, и прежде всего перекос в двуязычии. Из 1314 латышей ЛатвССР, признавших в 1979 году своим родным языком латышский, свободно владеют русским 783 тысячи, или 56,6%. Из 813 тысяч живущих в Латвии русских свободно владеют латышским 156 тысяч, или 19,2%. Из проживающих в нашей республике белорусов, украинцев, поляков, литовцев, евреев (всего 305 тыс. чел.) 155 тысяч считают своим родным языком русский и свободно владеют им еще 112 тысяч. То же о латышском — 17,5 и 53 тысячи. Количественное соотношение между нациями характеризуется скорее не формальной к ним принадлежностью, а языком, который человек считает родным. По этому показателю в 1979 году в Латвии насчитывалось 1340 тысяч «латышей» и 997 тысяч «русских», то есть удельный вес любой третьей национальности был намного меньше, чем по формальному признаку. Это прямое следствие существования только латышских и русских школ, только латышских и русских печатных изданий и т. п.

Почему знание других языков стало теперь объектом острейших дискуссий? Раньше владение иностранным языком, даже несколькими, было нормой для интеллигентного человека. Это поднимало, а не задевало его престиж, ведь язык — ключ к чужой культуре, стране, народу. При наличии положительной ориентации на освоение культурных ценностей никакие административные распоряжения насчет изучения языков не нужны. Ну, а если главное — это приобретение вещей, то знание языка и не нужно, можно обойтись жемами. Это свидетельствует о том, что большинство мигрантов приезжает к нам не затем, чтобы сблизиться с латышским народом, позаимствовать из сокровищницы его культуры и обогатить своей, но из-за более высокого уровня материального благосостояния в нашем регионе по сравнению с другими. Их приезд сюда — молчаливое обвинение руководству края, откуда они прибыли и где им не сумели привить любовь к «малой родине». Да, Советский Союз — родина социализма, но из этого еще не выте-

кает, что родина каждого живущего здесь народа — в равной степени вся огромная страна.

Любопытно также знать, национализм ли, а может дискриминация (!) требование, чтобы руководящие работники республики, работники аппарата управления, общественных организаций, сферы обслуживания, просвещения знали язык коренной нации? (Этот вопрос обсуждается и в Эстонии, см. «Радуга», 1987, № 12, с. 55—56). Ленин призывал ввести «строжайшие правила относительно употребления национального языка в инонациональных республиках...» и предупреждал, что под флагом единства разных служб «будет проникать масса злоупотреблений истинно русского свойства» (т. 45, с. 361). Маркс и Энгельс большую часть своей жизни провели в эмиграции, Владимир Ильич и другие революционеры тоже подолгу жили за границей, но с представителями местных наций они общались на их языке и не считали это зазорным для себя. Скорее наоборот. Так, может, наши руководители будут брать пример с основоположников марксизма, вождей революционного пролетариата, а не чиновников колониальной администрации империалистических держав, которые уж не затрудняли себя изучением туземного языка.

Законодательство не панацея, но все-таки пора конституционно закрепить в качестве государственных языков суверенных союзных республик языки коренных наций. Брежневская конституция 1977 года принята в зените эпохи застоя, эпохи, когда гласность и всенародное обсуждение были всего-навсего пропагандистскими увертками. Будет ли ущемлен русский язык в союзных республиках? Ничуть. Он должен сохранить все естественные права языка межнационального общения, а также языка, на котором говорит значительная часть населения национальной республики и общаются приехавшие на короткое время граждане других республик.

Основной ячейкой воспроизводства нации является семья. И в биологическом смысле, и в плане преемственности культуры (языка, обычаев, традиций). Стабильность семьи — фундамент нации в самом непосредственном значении этого слова. Один из существенных показателей стабильности семьи — число заключенных браков и разводов на 1000 жителей в год. Вот цифры касательно Латвии: 1940 г. — 10,8 и 1,1, 1960 г. — 11,0 и 2,4, 1970 г. — 10,1 и 4,6, 1980 г. — 9,7 и 5,0. Лидерство по разводам как в стране, так и в мире. С нами конкурировали Дальний Восток и США — тоже зоны интенсивной миграции. Теперь положение чуточку улучшилось: 9,5 и 4,2 в 1986 г. Правда, в доступной мне статистике я не нашел сведений о том, в какой мере распад касается латышских, русских и смешанных семей. Это надо выяснить. Несколько слов о таких факторах воспроизводства населения, как рождаемость и смертность (без учета национальных различий). Рождаемость у нас в Латвии росла с 1940 по 1960 г. (14,3 и 16,7 новорожденных на тысячу населения), затем падала (до 14,0 в 1980 г.), в последнее время меняется в лучшую сторону (15,9 в 1986 г.), к тому же на селе, где удельный вес латышей выше, она все время больше, чем в городах. Смертность сокращалась в те же 20 лет, когда росла рождаемость (15,7 и 10,0), потом подскочила до 13,1 в 1985 г., а в следующем году впервые за много лет упала до 11,9. (См.: Численность и состав населения СССР. По

данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М., 1984, с. 128—129).

Большую роль в торможении численного роста и растворении латышской нации играет миграция. По косвенным и потому весьма приблизительным расчетам в период с 1980 по 1985 год пополнение населения республики из этого источника (перевес прибывших над уехавшими) составило: 5,5 (общий прирост 9 тыс.), 9,5 (13), 11 (17), 9,5 (18), 10 (17), 12,5 (18) тысяч. А в 1987 году уже 18 тысяч!

Думается, преувеличивать стихийность этого процесса не следует. В нашем обществе отдельный индивид представляет собой прежде всего не потребителя или неповторимую индивидуальность, а потенциальную или актуальную рабсилу, подлежащую профессиональной подготовке, ориентации, отправке или набору на работу, — штатную единицу на зарплате.

Людская миграция по сути есть ни что иное, как миграция рабочей силы, а это с экономической точки зрения такой же процесс, как перемещение угля, электроэнергии или готовой продукции. Перемещение либо размещение рабсилы и других производственных ресурсов определяется государственным планом, исходя из основных направлений развития народного хозяйства. Получить объективное представление о миграции у нас можно только, если рассматривать ее как составную часть миграции ресурсов рабочей силы в масштабах всей страны (включая выезд из Латвии в другие республики) и если принять во внимание формы массовой миграции в истории социализма и в мировой истории вообще. Административно-бюрократическая система управления, которая господствовала в нашем обществе на сравнительно долгом историческом отрезке времени, всегда использовала в своих целях, т. е. в целях государства или его органов (отождествляемых на словах, по понятным причинам, с интересами всего общества, а фактически — трудящихся), принудительное или основанное на энтузиазме перемещение огромных людских масс. Так было в годы первых пятилеток, коллективизации, послевоенного восстановления народного хозяйства, освоения целины. Так обстоит дело и сегодня, хотя в сознании отдельных, вовлеченных в эту стихию людей и царит убеждение, что они отъезжают на заработки, за лучшей жизнью. Однако отнюдь не все, что может казаться выгодным отдельному человеку, выгодно обществу (не смешивать с государством, так как оно никогда не способно исчерпать всего богатства общественных отношений, хотя часто к этому стремится). На что указывает существование таких предприятий, которые ввозят сырье и рабсилу, а вывозят продукцию? Кому это выгодно? Никак не обществу в целом и еще меньше самой республике. Но кому-то же это выгодно, иначе и быть не может. Подобное хозяйствование немислимо при полном самфинансировании (хозрасчете), но абсолютно необходимо для сохранения монопольного положения административно-бюрократической системы. Поскольку в рамках этой системы управления стимулом активности является не прибыль, а совсем иной расчет — воспроизводство самого монопольного положения. Принцип бюрократии — произвол в обличье регулярности и систематичности, произвол, прикинувшийся порядком. Для реализации этого принципа требуется покорный, внутренне расколотый, бесправный, не приученный

думать, не умеющий объединяться, сопротивляться и даже возражать (и пикнуть не смей!) народ. Одно из средств формирования такого народа и есть перемещение, смешение больших масс населения, создание взаимных трений между людьми, между группами людей, что отвлекало бы внимание от общего врага народных масс — бюрократии.

Итак, в основе миграции лежат: 1) перемещение рабсилы в соответствии с государственным планом, 2) стихийное перемещение людей (потребителей) из остальных в смысле материального благосостояния регионов в передовые, то есть неравномерности развития материального благосостояния в регионах. Кроме этих общих выводов, вытекающих из сущности государственного социализма, необходимы и конкретные социологические исследования для выяснения того, а) кто перемещается (социальные слои, образование, профессия, должность, возраст, семейное положение, национальность), б) откуда (уровень экономического и культурного развития территории, условия жизни, в том числе сельские или городские, заработок на предыдущем месте работы), в) почему (в целях заработка, улучшения жилищно-бытовых условий, приближения к культурным центрам, в порядке организованного набора рабочей силы — вербовки), г) куда (в город или на село, отрасль хозяйства, зарплата и жилищно-бытовые условия).

Для того чтобы исследовать и понять структуру приезжих, необходимо изучить и структуру уехавших. Надо вспомнить те огромные людские потери, которые Латвия, и прежде всего латыши, понесла в XX веке. О диспропорциях воспроизводства и развития хозяйственной и культурной жизни республики в результате двух мировых войн и гражданских войн. О 200 тысячах латышей, после 1920 года оставшихся в Советской России (возможно, половина из них — навсегда). О примерно 100 тысячах, в конце второй мировой войны очутившихся на Западе или добровольно подавшихся туда, если позволено будет так сказать о людях, эмигрировавших из страха. И этот страх был порожден не только фашистской пропагандой. Для него были вполне реальные основания, коренились они во внутриполитических принципах административно-бюрократической диктатуры.* В первые послевоенные годы творческая интеллигенция Советской Латвии тоже испытала на себе все прелести «охоты на ведьмы», хотя это был лишь слабый отблеск разгула инквизиции в тридцатые годы в СССР.

Разумеется, на чужбину отправлялись не одни культурные люди или деятели культуры. Об этом я не забываю. Но только в последние годы узнал, как много латышей добилось заметного успеха в самых разных сферах жизни в различных странах Запада. И нельзя не задать себе вопрос — сколько же мы потеряли! Потерянные люди — это не абстрактные единицы, измеряемые числом погибших, изувеченных, уехавших, без вести пропавших, а личности с определенной социальной принадлежностью и профессией, культурно-образовательным уровнем; утрата этих людей — гораздо больший ущерб, чем все уничтоженные войной материальные ценности. В обществе образовались поры,

* Более точное и глубинное определение, чем сталинская диктатура. В последнем скрыто преувеличение роли культа личности.

и на это нельзя закрывать глаза при изучении проблемы миграции и обсуждении темпов развития Латвийской ССР в послевоенные годы. Подумайте, что значит для настроения в обществе постепенное исчезновение, растворение нации! Тут не меньшая, а пожалуй, большая депрессия, чем при затоплении священной для каждого латыша скалы Стабурас на Даугаве.

Не хотел бы создавать у читателя впечатление, что к разору латышской нации причастен один сталинизм. Тут приложили руку и немецкие бароны, и русские казаки, и немецкие нацисты, и латышские фашисты.

Сегодня многие из тех, кто пострадал от фашизма, их близкие чувствуют себя задетыми — почему общество столько внимания уделяет жертвам сталинизма, не обеляя ли тем самым, пусть косвенно, фашистов и националистов? Люди, которые так думают, сами жертвы сталинизма — их зрение засорено сталинской пропагандой, коль они полагают, что «без причины никого не брали». А как им удалось вытравить из памяти тех несчастных, которые из германских концлагерей попадали, благодаря тому, что выжили, прямиком в сибирские лагеря?

Заклучая тему о миграции и не претендуя, конечно, на детальный разбор проблемы в целом, хотелось бы отметить такой фактор межнациональных трений, как различный стандарт бытовой и общей культуры, семейной и брачной жизни, трудовых традиций, обычаев и верований у местных и приезжих. В этом отношении судьба мигрантов в буржуазном и социалистическом мире очень даже различная. Возьмем турок в ФРГ, они находятся в неравноправном положении с немцами и по зарплате, и по бытовой уютности, и по языку и в смысле политических прав. У нас, наоборот, мигранты прочно защищены страхом перед «национализмом» коренной национальности — любое критическое замечание о поведении приезжих, об их положении в обществе может быть истолковано (и тотчас истолковывается) как националистический выпад, враждебный пролетарскому интернационализму и потому социализму вообще. Нельзя отрицать, что проявления латышского национализма имеют место. Их корни — в исторических унижениях, фактическом неравенстве наций. В наследство от прошлых, не лучших времен кое у кого сохранилось убеждение, что латыши (все, а не только часть из них в исторически конкретных условиях), мол, фашисты и потому якобы разделяют вину за страдания русского народа. Чудовищное заблуждение!

В эпоху разделения земледелия и скотоводства существовали оседлые и кочевые народы, последние, одолевая гигантские расстояния, угрожали древним империям. Перемещения больших масс происходят и в более поздние эпохи. В Новый Свет потекли нищие ирландцы и жаждавшие умножения своих богатств дворяне, авантюристы, беглые преступники, религиозные фанатики, готовые крестом и мечом насаждать свою, единственно правильную веру. Но на чужбину нередко отправлялись и люди совсем другого сорта — преследуемые инакомыслящие. Например, хотя бы латышские социал-демократы, эмигрировавшие из Латвии после подавления революции Пятого года, или мастера культуры, бежавшие из Третьего рейха. Лучшие сыны своего народа, в эмиграции они часто оказываются ферментом,

активизирующим общественную жизнь приютившей страны. Да и между искателями приключений и бедняками немало хороших людей, однако больше всего среди мигрантов перекати-поле, они и на родине не хозяева, их не связывает культура страны предков. К нам в большинстве своем прибывают люди, которые и своей-то культурой мало интересуются, поэтому и к чужой не проявляют интереса. Однако на новом месте жительства они не чувствуют себя оторванными от своей национальной культуры — есть ведь Центральное телевидение. Интересно, почему у одной половины населения Латвии — латышей так много хоров (некоторые известны во всем мире), танцевальных ансамблей, народных театров и т. п., в то время как у другой половины их почти нет. Невольно приходишь к выводу, что подавляющее большинство живущих в Латвии нелатышей не являются типичными представителями своих наций. Чем иначе объяснить слабость их культуры и тот резкий контраст, например, с интенсивной культурной жизнью латышей в Советском Союзе до 1937 года?

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ И РЕСУРСОВ

Численное соотношение на данной территории коренной нации, а также всего коренного населения и приезжих влияет на их взаимоотношения. Как показывает 70-летний опыт советской власти, культурная среда каждой нации нуждается в одном хозяине, располагающем юридическими полномочиями и материальными ресурсами. Этим хозяином должно быть не какое-нибудь безличное ведомство, а нация, создавшая культурные ценности, хотя, разумеется, не в изоляции от других наций. Когда хозяева все, ценности разбазариваются. У нас функции хозяев культурных ценностей мог бы взять на себя наряду с избранными самим народом советами народных депутатов и Латвийский фонд культуры, другие аналогичные общественные организации.

Русским, может быть, и непонятно то возбуждение, которое охватывает латышей при виде непрерывного уменьшения удельного веса коренной нации в республике. Но как бы чувствовали себя русские, если бы в РСФСР проживало 100 миллионов китайцев, причем в одной Москве миллионы пять, и полку все прибывало при неколебимой уверенности, что у них есть на это право потому хотя бы, что их на земле намного больше, чем русских? Сдается мне, что не число прожитых лет на новом месте превращает мигрантов из гостей в коренных жителей края, но качество сохранения своей национальной культуры в чужих пределах и вид их общения — диалог или монолог — с местной культурой.

Там, где процент приезжих невелик и отрегулировано нормальное производство и распределение материальных благ, никогда не появится отрицательное отношение к мигрантам, мнение, что они тормозят развитие экономики, культуры, быта. С 1955 по 1979 год во всех городах и районах Латвии удельный вес латышей не прерывно снижался, это и породило в большой степени то «негостеприимство», которым, по-видимому, не отличается русский в Москве, но именно потому, что она не заполонена людьми, прибывшими на жительство.

Надо ли удивляться отсутствию доброжелательности и терпимости к своим приезжим, коль скоро «гости» являются в большом числе, задерживаются надолго и начинают передульвать по своему вкусу то, что устроили «хозяева», полагая, что, переночевав пару раз в доме, они имеют тут такие же права, что и постоянные обитатели. Когда «хозяева» и «гости» придерживаются своих ролей, нежелательных явлений не наблюдается.

Взглянем на такие цифры: в 1979 году в республике в целом латышей насчитывалось 53,7%, русских 32,8%, а вместе с белорусами, украинцами и поляками (из которых по меньшей мере половина признает родным языком русский) — 42,5%. В городах соответственно — 45,1%, 40,2% и 50,8%. В Риге — 38,3%, 46,1% и 56,6%, на селе — 71,9%, 17,3% и 24,9%. Следовательно, концентрация латышей нарастает по мере удаления от Риги и других городов республиканского подчинения в сторону районных городов и сел, где их еще больше, чем в райцентрах. Это означает, что доля латышей наименьшая и продолжает сокращаться в городах, следовательно, среди рабочих, интеллигенции и управленцев. Конкретных данных у меня нет, нужны исследования. Но наши соседи эстонцы обеспокоены подобной же тенденцией — на крупнейших промышленных предприятиях Таллина удельный вес эстонцев уменьшается (даже до 1/4).

Как показывают эстонские исследования, место работы связано с преимущественным получением квартир, товаров и использованием фондов общественного потребления. Занятые на крупных промышленных предприятиях имеют все преимущества по сравнению с теми, кто работает на мелком производстве и в непроизводственной сфере. Заводские общестроительные службы трамплином для получения квартир, а очереди на жилье растут за счет коренного населения республики. Тем самым материальные условия жизни эстонцев и других коренных жителей Эстонии ухудшаются. То же самое можно сказать о латышах и других коренных жителях Латвии. В общем, кто сильнее любит свою землю, того она меньше благодарит материально.

Деформация принципа социальной справедливости наглядно проявляется и в распределении ресурсов. Десятилетиями у нас существует порядок, когда средства в первую очередь отпускаются на строительство и реставрацию крупных промышленных объектов, правительственных и административных зданий (включая помещения общественных организаций), гостиниц, ресторанов, комплексов отдыха и т. п. Во вторую — на жилье, больницы, школы, а что осталось (если что остается) — на библиотеки, театры, музеи. «Межнациональные» объекты, как видим, имеют преимущество в сравнении с хранителями ценностей национальной культуры, причем не только латышской.

У нас есть этнография (описание этноса), но нет этнологии — науки о происхождении и смысле бытования этнических различий. Это очень странно, тем более что в нашей стране множество этносов с бросающимися в глаза различиями политической, экономической, бытовой и семейной культуры. Но для ученых эта область долго оставалась запретной зоной: ведь у нас было провозглашено монолитное идейно-политическое единство всех («под одну гребенку»), значит признавалось

реально существующим и подлежащим изучению лишь то, что цементировало монолит.

На Западе выходит много трудов по политической этнологии. Неужто нам такая наука ни к чему? Как говорится, «объектом» управления и руководства являются живые люди. Надо ли игнорировать отличия между ними? И не лучше ли с учетом национальных особенностей создавать специфические модели управления экономикой и культурой, а не штамповать их по шаблону? Признаем же мы разнообразие социалистических систем в разных странах — то, что годится в ГДР, скажем, непригодно для Вьетнама.

ЭКОНОМИКА И ЭТНОС

Экономика как доминирующая система игнорирует национальные различия. Это относится и к рыночной экономике, и к бюрократизированной.

Экономическое, или вещественное богатство обладает одной важной особенностью: колбасу, которую едят в Москве, уже не будут есть в Риге. Напротив, словесная и вещная культура, специфика архитектуры, костюма, кухни каждой нации — это непосредственный источник обогащения других наций, если те пожелают. Но не такого обогащения, когда собирают с миру по нитке (займствования, конечно, неизбежны, однако превращать их в принцип — значит ставить под угрозу «самость» нации), а такого, когда приходят к очень простым и очень нужным сегодня людям всего мира идеям: многообразия и многоголосия должны существовать легально и равноправно, присущее твоей нации лишь относительный образец для другой. Уж слишком часто в нашем веке то там, то тут появлялись на планете вожди, полагавшие, что кратчайший путь ко всеобщему счастью лежит через унификацию — одеть всех в униформу, вдолбить в головы одни и те же идеи, а если добровольно не соглашаются строем маршировать к свободе, заставить кулаком и плетью. Как радуется, наведя порядок, армейский старшина: безобразно, но зато однообразно!

Межэтнические отношения существуют не изолированно, а как составная часть общества — формы человеческого бытия. Поэтому развитие национальных отношений, существование самих наций подчинено направлению, в котором развивается общество, его ценностной ориентации, целям. С этой точки зрения в истории человечества можно выделить ряд больших эпох, в рамках которых верх противоположные силы, что определяет две тенденции существования этнических различий. Одна из таких эпох — всем нам хорошо знакомое и большинству людей столь привычное, кажущееся естественным экономическое устройство общества, когда все явления — как природного, так и социального свойства — подчинены законам «экономического рационализма», то есть рассматриваются с точки зрения вещественного производства, которое в различных общественно-экономических формациях обретает разную социальную форму.

Цель экономически организованного общества по-разному проявляется на разных ступенях его развития. Или это стремление к максимализации производства, если господствует принцип погони за прибылью, или к максимализации потребления. (Примечательно, что в обоих случаях в «коллективном сознании» этих обществ дей-

ствительность переворачивается и в центре внимания оказываются, соответственно, потребление и производство, которые порой даже обожествляются.) При этом стремление к потреблению может проявляться либо как сверхпотребление элиты общества, либо как сверхпотребление масс, провозглашаемое в качестве конечной цели, за которой маячит страшная пустыня пресыщения. В этом смысле весьма показательна принятая в 1961 году Программа КПСС. Заметим, что идея всеобщего комфорта ничуть не привлекает идеи комфорта для избранных, так как на деле и она служит тормозом развития всего общества, если только понимать под развитием не количественное накопление отдельных вещественных элементов, а нечто более глубокое.

Производство и потребление — две стороны одного процесса кругооборота вещей. Нет способа производства без особого способа потребления и максимализация потребления невозможна без максимализации производства, и наоборот. Поэтому обе эти эпохи в истории экономического общества не являются абсолютно противоположными друг другу. Речь лишь о том, что в одну эпоху производство подгоняет потребление, а в другую — наоборот.

В обществе, где существует хотя бы примитивное разделение труда и никто не может прожить потребляя лишь то, что сам произвел, необходим некий универсальный регулятор, гарантирующий справедливое — согласно представлениям данного общества — распределение произведенного между потребителями, как индивидуальными, так и коллективными, вплоть до государства. Этим механизмом может быть либо рынок со стихийными, то есть не зависящими от сознания людей, саморегулирующимися товарно-денежными отношениями, либо централизованная до определенных масштабов система распределения с плановой регуляцией производства и — частично — потребления. Но плановость стихийности автоматически не отменяет, а лишь вводит ее в иное русло.

Какую бы удобную и сытую жизнь ни обеспечивало экономически организованное общество одним и ни сулило другим, все же оно не может дать истинного удовлетворения людям, привыкшим искать смысл во всем происходящем.

Процесс производства материальных ценностей, выступающий как база, обуславливающая все прочие общественные явления, превращает природу — не только воздух и воду, растительный и животный мир, но и человеческое тело — в свой объект, а индивида-личность — в обыкновенный персонаж экономического процесса, исполнителя технологических, интеллектуальных или накопительских функций. Экономический рационализм поддерживает ту духовность, которая необходима данному обществу для преумножения материальных богатств, но отпускает по минимуму средства тем, кто не выполняет эту миссию. Вот почему так запущены школы (особенно с гуманитарных позиций), библиотеки, музеи, памятники истории и архитектуры, отравлена природа, минимальны расходы на здравоохранение.

Благодаря экономическим процессам происходит консолидация этнических образований, число их уменьшается. С укреплением торговых связей или повышением вершины пирамиды распределе-

ния, этносы постепенно исчезают. Вспомним в этом ракурсе колонизацию Америки, великое переселение народов. Такое исчезновение, даже если оно происходит не только силой оружия, нельзя квалифицировать как сближение наций, сближение культур, так как условием последнего является по меньшей мере сохранение и укрепление национальной самобытности обеих сторон. Иначе одна проглотит, ассимилирует другую. Обогащение национальных культур возможно только на основе хорошо освоенной собственной национальной культуры. Что могут дать друг другу представители двух наций, если ни один из них не знает как следует родного языка, и общаются они на двуязычном жаргоне; я уж не говорю о знании своей истории, а это ведь та же история культуры. Ничего, кроме оскорблений и снытков.

Обусловленная экономической целесообразностью консолидация наций, если можно так выразиться, централизация этносов одновременно является также исчезновением мелких этносов. Это засилье экономической детерминации не преодолено и при социализме. Основные материальные ресурсы не находятся в распоряжении народа в лице его советов депутатов, а принадлежат могущественным ведомствам — «социалистическим монополиям» и расходуются согласно ведомственным установлениям.

История слияния этносов — древняя история. Вначале оно основывалось на государственной централизации древних обществ. В обширном государстве Чжоу (Китай, 1 тысячелетие до н. э.) большую часть территории занимали чужеродные этнические элементы. Управлять таким государством было нелегко, поэтому правитель — ван перемещал, разделял и соединял этнические общности внутри уделов. На уделы сажались его ближайшие родственники в качестве платы за верную службу. Цель подобной «национальной политики» состояла в том, чтобы оборониться от угрозы сепаратизма, так как откол уделов означал бы сокращение прибавочного продукта, который концентрировался и распределялся в центре государства и не только символизировал, но и гарантировал могущество его правителей.

Сближение на подобной основе, конечно же, предполагало не освоение и сохранение культур малых народов, а наоборот — их физическое уничтожение или ассимиляцию. Что же такое существование наций (их языков, культур) — самоценность или средство, побочное обстоятельство, не имеющее ничего общего с генеральной линией человеческой истории?

Можно — и часто так и делается — рассматривать комплекс национальных признаков, их неповторимых особенностей с точки зрения того, как они служат экономике — эффективности производства, достижению материального благополучия. Язык можно рассматривать как средство обретения профессионального опыта и образования; национальный характер и темперамент — как фактор, способствующий или препятствующий производительному труду и трудовой дисциплине; искусство — как вспомогательное средство восстановления работоспособности людей, отработавших «ежедневный урок». В таком ракурсе многообразие языков не более чем забавный факт, как разное число ножек у насекомых, и это в лучшем случае, а в худшем — помеха, поскольку профес-

сиональное обучение, управленческие решения и отчеты, научно-техническая информация на одном языке — эффективнее и обходятся дешевле. Коль скоро вся хозяйственная жизнь, вся научная деятельность течет на одном языке, постепенно привыкаешь на нем и думать. При крайнем обобщении, а вернее огосударствлении средств производства не становится ли многообразие национальных языков унифицированных производителей всего лишь декоративным элементом, от которого понемногу начинают отказываться не только в сфере труда, но и вне этой сферы — еще бы, ведь при существовании унифицированного производства и наше потребление носит аналогичный, одинаковый для всех характер?! В эпоху сверхиндустриализации стабильность национальных культур окажется-таки весьма и весьма призрачной.

К подобным выводам приходишь, и рассматривая с позиций экономической целесообразности механизм реализации власти. Власть, пользуясь одним языком, «дешевле». Ради собственных удобств централизованная система распределения вытесняет этнические различия из сферы производства, управления, науки и просвещения. «Своеобразным» пусть остается досуг.

В общем и целом экономическое общество стремится к монополизации, концентрации, централизации и т. д. Еще 70 лет назад Ленин разоблачил вредную, антагонистическую природу монополизма. Диктат производителя над потребителем — по ассортименту, качеству, ценам. Застой научно-технической мысли (новинки внедряются все медленнее), стандартизация языка, быта, среды обитания и т. п. В интересах производственных монополий всячески способствовать монополизации и централизации в непродовольственных, духовных сферах — особенно в образовании, воспитании; монополия старается принизить роль семьи, но вновь апеллирует к ней, когда упадок нравов, пренебрежение трудом начинают подрывать экономику.

Поскольку в экономическом обществе производство возвышается над людьми, над обществом, то централизованное — административно-бюрократическое, фактически диктаторское — управление производством распространяется на управление обществом в целом. А эта абсолютная монополия ведет к исчезновению любой самокритики, к совершенному застою.

Вы не найдете такую власть, которая бы не заявляла, что ее цель — народное благосостояние, но дела и слова не совпадают: в те или иные времена бытовали самые разные представления о том, что такое «народ» и тем более о том, что такое благосостояние. Действительно, что оно такое? Материальная обеспеченность на каком-то стандартном уровне или обеспечение народу духовного комфорта — непротиворечивого существования? И тогда народ, то ли из страха, то ли по убеждению, будет строго соблюдать установленный порядок общественной и частной жизни, восхищаться тем, что официально признается заслуживающим восхищения, чтить верха, довольствоваться достигнутым и не мешать властям проводить в жизнь свои цели и программы. Такое неизбежно, если человек, личность сводится к производящему и потребляющему материальные блага животному, к политическому животному. Конечно, «производство идей» тоже не запрещается, но

лишь постольку, поскольку оно способствует производству вещей.

Итак, если целью общества является материальное благосостояние, а духовному отводится вышеупомянутая роль, то многообразии национальных языков и обычаев — это помеха, тормоз, а добровольное слияние наций и постепенное поглощение меньших наций большими — это необходимость, неизбежность. Конечно, цивилизация, достигшая высокого материального комфорта, всегда может «отстегнуть» некоторое количество денежных средств на консервацию национального многообразия (языков, исторических памятников и т. п.) в «заповедниках культуры» — книгохранилищах, музеях. Если, напротив, главным человеческим богатством — тем, в умножении чего человек проявляет свою сущность и в свете чего надлежит рассматривать и экономику, и реализацию власти, — признаются собственно человеческие способности,* а не материальный достаток или служебное положение, тогда многообразие способностей служит предпосылкой к этому богатству, ибо пестродифференцированная картина культуры ставит каждого социализируемого, можно сказать, приобщаемого к культуре индивида перед выбором. А возможность выбора и есть рождение личности. Человек, лишенный выбора, это машина, робот, стандартный продукт, «считанный» с унифицированной матрицы культуры.

Также и сохранение национальных культур, языков, обычаев и прочего не только является показателем многообразия и неисчерпаемости человека, нет, это и основа для сомнений и вытекающей отсюда способности задавать вопросы, и значение этого трудно переоценить. Тут появляется способность взглянуть со стороны даже на привычное, рутинное, на свое как на чужое. Реальное, а не архивно-музейное сохранение национальных культур предполагает не только сбережение традиций (это лишь одна сторона культурного процесса), но и новаторство, творчество, что немислимо без сосуществования различных культур. Лишь изменчивое живо. И речь идет не об одном художественном творчестве — речь о творчестве как всеобъемлющем проявлении человека. Многообразие наций, как и любая другая, не связанная с этническими особенностями дифференциация культуры, — живое напоминание о том, что гомо сапиенсу не поставлены конечные пределы ни в искусстве, ни в быту, науке, экономике или политике, за одним достижением следует другое (точнее — возможно другое). И если дом нации именуется родиной, то дом человечества — это бесконечный путь.

Сохранение многообразия национальных культур не означает, что облик каждой нации раз и навсегда задан. Существование, которое основано на уважении к другим нациям, предполагает **добровольное** обогащение своей природы, своего облика достижениями и чертами других (именно так — во множественном числе!) наций. Но не навязывание «порядка и устойчивости» одной нации другим (-ой), притом этот «регламент» — отнюдь не лучшее, чем располагает довлеющая нация.

Без многообразия, в том числе национального, нет прогресса.

* Под способностями я понимаю нечто неотделимое от конкретной личности, хотя и находящее воплощение в различных объективных явлениях.

Сегодня критическое состояние объектов культуры и истории, экологический кризис, проблемы школьного, и прежде всего гуманитарного, образования приковывают внимание к национальным ценностям в целом. Обращение к этим ценностям — естественное следствие безраздельного, «вотчинного» господства административно-бюрократической системы в экономике, распределении ресурсов и победы отрывки экономизма — технократического направления в школьном обучении.

ПРОБУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

Иногда оно проводится по ведомости национализма. На самом деле это проявление антиэкономического настроения в народе. Этот настрой явственно обнаружил себя в эпопею с Даугавпилсской ГЭС, в движении против строительства метро в Риге и других акциях. Это протест против подхода с позиций экономизма к организации человеческого быта, подхода, который воплощается в безудержной урбанизации. Метро в Риге — «естественная» необходимость, если дальнейшая урбанизация кажется естественной, а не навязанной конкретными историческими условиями.

Налицо революционная ситуация. Приказы, соблазны заработком, кнут и пряник — не работают, для продвижения вперед необходимы какие-то иные стимулы, высвобождающие активность людей. Необходимо стремление к иным ценностям. Настрой масс, который наконец-то, при демократизации печати и появлении все новых «неформальных» объединений, получил более широкий выход, свидетельствует о том, что идет поиск новых ценностей. Только радикальная **перестройка общества** может ввести этот поиск в плодотворное русло, одними экономическими реформами тут не обойтись. **Все общество, все его сферы должны быть подчинены целям воспитания человека, потребностям приобщения к культуре.**

По-видимому, лишь смена высших ориентиров, преобразование общественных, а не только производственных, отношений может развязать узел накопившихся проблем. Чтобы на место человека как фактора производственного процесса пришла личность. (Пока о «человеческом факторе» у нас говорят лишь применительно к экономическим задачам, поскольку предпринимаются попытки вернуть человеку основную позицию в процессе материального производства, ликвидировать его отчуждение от средств производства.) Чтобы личность своим ближайшим ориентиром считала семью — глубоко личностные, формирующие личность отношения, а не производственный коллектив с его ограниченными функциями. Чтобы ближайшим ориентиром семьи стала нация как социокультурное образование, а не класс (рабочий класс был гегемоном, крестьянство оказалось побоку), не организация (государство, церковь или политическое объединение) и даже не общественно-экономическая формация, — кроме всего прочего, конечным идеалом они быть не могут. И наконец, ориентиром каждой нации должно быть человечество как единство всех творческих способностей, не только общего, но и уникального, случайного, потенциального, но не как масса вещественного богатства — средств производства и научно-технического по-

тенциала, накопленной информации и потребленных вещей, — до сих пор служащая, увя, мерой прогресса земной цивилизации.

Не надо думать, что выживание этих ценностей — пожелание сколь благородное, столь и беспомощное. Во-первых, они существовали всегда, влияли на историю и только попал под пресс экономических отношений деформировались: развитием личности двигал вещизм, семья расцвела как институт наследования частной собственности, слепая любовь к своей нации не замечала существования внутри нее угнетателей и угнетенных и т. п. Вот таких, нынешнее настроение в обществе отражает объективную необходимость восстановления и реабилитации вышеупомянутых ценностей. Массы защищают нацию, ее язык, культуру, память. Неужели все это иллюзорные субстанции, а осязаемо лишь материальное? Национальная культура, и прежде всего язык, тоже общественное отношение, хотя этническое многообразие и не является зеркалом экономических условий. В-третьих, и это главное, человеческое общество не всегда находилось под игмом экономического развития. Не отрицая роль труда в очеловечивании тела, заметим, что возникновение человеческого общества, общественных отношений нельзя понимать упрощенно. А до возникновения этих отношений, вне их нет и человека в точном смысле этого слова.

Антиэкономическое общество было, и значит, опять возможно. Заря человечества — это не сближающиеся путем экономической деятельности — кооперации, обмена дарами — изолированные первобытные орды, а выделение нарождающихся людей внеэкономическими средствами: знаками языка, мечением себя в противоположность другим с помощью цвета, звука, движения.* Первобытная культура, в том числе искусство, создается не как продукт, рождающийся на досуге, в перерывах между экономической деятельностью, но как постоянная сила, консолидирующая «мы». Это «мы» — наша культура, этнос — возникает только в ходе отталкивания от «них». Противопоставляя себя «им», «мы» создаем уникальный собственный облик. Сознание — продукт «мы», а не «я». У животных нет «мы», как бы ни был высоко развит их практический интеллект, например, у неандертальцев или, в искусственно организованной среде, у человекообразных обезьян.

«Мы» — неперемное условие становления любого человека, образец для подражания. Этническое многообразие — не довесок, декорум, с которым в эпоху «рационализма» можно и расстаться, чтобы очистить гомо сапиенса от «лишнего», а единственная форма существования человеческого общества и конституирования человеческого самосознания. Без «них» нет и «нас», и наоборот.

История, разумеется, никогда не была только лишь этнической дифференциацией, отделением, обособлением этносов. Необходима и интеграция, без чего многие «мы» растворились бы в бесчисленных «я». Но без дифференциации, размежевания, сохранения этнических границ интеграция бессмысленна, иначе растворяются те, кто бы мог объединиться во имя какой-либо высшей идеи. В экономическом об-

ществе интеграция в сфере национальных отношений происходит обычно в форме иерархизации — малые нации объединяются под крылом большой нации, великой империи. Другой путь — это объединение различающихся между собой самобытных наций по горизонтали, то есть диалог равноправных в лоне цивилизации, взаимопереводимость культур.

Ни один индивид не есть величина самопорожденная, автогенетическая. В своей экономической, политической, интеллектуальной, интимной, культурной жизни он следует образцам, ценностям и нормам, разработанным теми, кого он принимает в качестве «мы». «Мы» — вот для него высшая ценность, высший регулятивный принцип, короче говоря, то, что для человека свято. «Мы» — это и ограничивающий человека принцип: перед ним «я» чувствует стыд, благоговение, вину. Человечество как высшая ценность ограничивает волю наций, нация — волю семьи, семья — волю личности. (И произвол тоже.)

В современном обществе это «мы», к сожалению, рушится, хотя оно и талдычит о коллективизме, братстве и прочая и прочая. Точно так же исчезает благоговение, стыд, чувство вины «я» перед чем-то высшим по отношению к «я». Правда, и бескультурной твари в человеческом облике присуща своя культура, если под нею понимать набор образцов, которым она подражает. Но такое существо — экономическое или политическое животное в самом тесном смысле этого слова — остается голым и обездоленным, сколько бы металла, цемента или ассигнаций ни приходилось на его бедную душу. Оно обладает женщиной, не зная любви, у него есть жилплощадь, но нет родного дома, оно шапивоано информацией, но не имеет убеждений, перед ним расстилаются громадные просторы — живи не хочу, но нет Родины.

История движется по триаде. Это значит, что возрождение неэкономического — культурного — общества возможно. Разумеется, достижения индустрии, техники, точных наук не будут отброшены, но польза того или иного вещного достижения станет рассматриваться с более высокой, более человеческой точки зрения. Речь, конечно, не о возрождении «первобытного коммунизма» — его и не существовало никогда. Общество грядущего, о котором мы говорим, всего лишь возможно, неизбежности, гарантированности его прихода нет. Станет ли оно реальностью, зависит не только от нас. Ясно, что они в нем не нуждаются. Они его не допустят.

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ О ТЕХНОЛОГИИ РАДИКАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОБЩЕСТВА

В том ли выход, чтобы просто-напросто подвести солидную материальную базу под духовную жизнь? Если так, то единственное препятствие, пожалуй, состоит в нашей экономико-технологической отсталости и, как следствие, недостаточном качестве и общем объеме производимой продукции. Перед лицом бессилия административной, нажимной системы управления экономикой не след удивляться, что унастроение ныне такое — за переход от централизованной системы распределения к рыночной регуляции экономических отношений. Различаются проекты лишь крутизной этого поворота — от умеренно-

го до радикального перелома. Последовательное осуществление этих мер позволит вырвать общество из состояния расхолаженности, обеспечить общество в целом (в отношении отдельного человека это еще не сказано) качественными товарами и услугами, будет способствовать демократизации общественной жизни, более-менее свободно обсуждению наиболее проблем (хотя и гласность имеет пределы). Но не надо закрывать глаза на другое. Свободный от всяческих пут рынок — установление цен путем саморегуляции в результате рыночного соотношения спроса и предложения и т. п. — рано или поздно (когда — предсказать не берусь) приведет к таким явлениям, как безработица, кризис перепроизводства, банкротство мелких, технологически отсталых предприятий, социальное расслоение нового типа (на «работающих и бережливых», с одной стороны, и «лодырей и мотов» — с другой), со всеми вытекающими отсюда последствиями для политической и духовной жизни государства. Согласно объективным экономическим законам, не зависящим от воли людей, последствиями свободного рынка могут быть только концентрация производства, формирование монополий и связанные с этим явления, которые сегодня все сторонники прогрессивных реформ искренне хотят уничтожить. Получается замкнутый исторический круг, а то что наше поколение, может быть, и не успеет целиком по нему обернуться — слабое утешение. Но если это так, то ведь остается второй вариант — различные проекты ограниченного, планового «свободного» рынка, когда централизованное распределение сохраняет весьма существенную роль. Фактически это вариант регулируемого рынка (с установлением цен, максимума прибыли и т. п.), проще говоря, сохранение монополии, подавляющей свободную инициативу, с последующей консервацией застоя. Такая система, может, и позволяет сохранить достигнутый уровень, но ведь тогда он должен быть достаточно высоким, выкарабкаться же из предкризисной застойной ямы таким путем невозможно.

Довольно наивно надеяться на то, что соломинкой для утопающих явится модернизация производства, включая импорт западной технологии и опыта. Самые совершенные вещи и идеи ничто без той системы общественных отношений, которая их породила, поэтому подобные надежды и планы — горькая ирония над сторонниками стопорного, взнузданного рынка. Ничего не выйдет! О том, что бывает, когда вывозят или ввозят отдельные элементы производства в отрыве от производственных отношений, хорошо сказано у Маркса (см. «Капитал», т. 1). Ограничение стихийного рынка необходимо, но независимо от государственных ведомств (руками народного самоуправления) и одновременно как узда для разгула бюрократизма.

В культурном (неэкономическом) обществе развитие экономики должно следовать необходимости сохранения национальных и иных культурных особенностей. Должно. Но реально ли это? Посмотрим сначала, как «производится» культура.

(Окончание в следующем номере)

* Здесь, к сожалению, нет места для подробного изложения концепции происхождения человеческого общества по Б. Ф. Поршневу.

ВИЛНИС ЗАРИНЬШ

ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

Однако 5 января 1919 года организация возобновила работу, приняв новое название — Немецкая рабочая партия (Deutsche Arbeiterpartei). Ее настрой обеспечивал поддержку многих журналистов шовинистического толка, а также ряда сотрудников контрразведывательных и пропагандистских ведомств размещенных в Баварии войсковых частей. В эту организацию вступило немало жаждавших реванша офицеров и унтер-офицеров, в том числе Адольф Гитлер, однако большинство членов составляли чиновники, ремесленники, мелкие торговцы и прочие штатские лица. Финансовая поддержка влиятельных ведомств и благоприятное отношение официальных учреждений позволили этим группировкам развернуть широкую пропаганду, увеличить число своих членов и обрести влияние на баварской политической сцене. Заведующий сектором пропаганды А. Гитлер вскоре пришел к руководству партией. Из основателей «комитета доброго мира» после прихода фашистов к власти только Дрекслер играл некую роль в политической жизни Германии, но и его единственной функцией было представительство, ради поддержания иллюзии преемственности фашистской партии (Конрад Хейден. Рождение третьего рейха. Цюрих, изд-во «Европа». Второе издание, 1934, с. 9; Вернер Масер. Ранняя история НСДАП. Путь Гитлера до 1924. Изд-во «Атенеум», Франкфурт-на-Майне — Бонн, 1965, с. 142—145).

А. Гитлер считал началом своей политической карьеры весну 1919 г. Первое организованное национал-социалистами массовое собрание, на котором Гитлер огласил состоявшую из 25 пунктов программу НСДАП, имело место 24 февраля 1920 года (см. «Майн кампф», с. 226—227 и 401).

Изначальной формой национал-социализма были мелкие, крайне националистические организации и общества, объединявшие реакционно настроенных немецких обывателей и демобилизованных солдат. В первые годы по окончании первой мировой войны такие «союзы» росли в Германии как грибы после дождя, при организационной, а подчас и финансовой поддержке влиятельных офицеров генштаба. Реакционные политики уже тогда видели в этих объединениях противовес рабочему революционному движению.

Выдвижение Гитлера к руководству немецким фашизмом большинство ис-

следователей объясняет его связями как в военных кругах, так и среди реакционных политиков, его ораторскими способностями, но главным образом тем, что он одним из первых в кругу реакционных политиков понял необходимость социалистических лозунгов и социальной демагогии для вовлечения масс в общества реакционного толка.

Социальный состав национал-социалистских организаций был чрезвычайно пестрым, там можно было встретить представителей всех слоев общества и всех профессий, однако основной контингент организациям НСДАП, отрядам СС и СА поставляла, как уже говорилось, мелкая буржуазия.

После прихода к власти и особенно с 1936 года большинство нацистских лидеров нажили громадные состояния и по своему образу жизни стали приближаться к крупной буржуазии — поселялись в замках, роскошных особняках и специально оборудованных квартирах, отдыхали на шикарных курортах, устраивали грандиозные приемы за счет государства или различных предприятий и учреждений и т. п. Однако полностью слиться с германской монополистической буржуазией эти круги до краха гитлеризма не успели. Отнюдь не легко установить, в какой степени национал-социалистское движение в своих истоках было связано с политическими целями всей немецкой крупной буржуазии, а в какой — баварских сепаратистов, когда и при помощи каких лиц Гитлер вышел на контакт с различными реакционными силами Германии. Твердо известно, что в начале своей политической карьеры Гитлер действовал в основном по заданию армейского пропагандистского, а возможно, и контрразведывательного ведомства и получал от руководства рейхсвера субсидии на формирование НСДАП. Регулярные контакты с реакционными политическими деятелями, особенно баварскими, сложились у Гитлера главным образом в 1922 и 1923 году. Есть сведения, что 11 марта 1923 года он имел беседу с командующим рейхсвером генералом Сектом. 9 ноября 1923 года Гитлер получил от промышленного туза Стивенса, хотя и не прямо, а через фельдмаршала Людендорфа, 100 тысяч золотых марок на организацию путча.

О том, что национал-социалисты поддерживали влиятельные чиновники государственного аппарата, свидетельствует как незначительное наказание, которому были подвергнуты зачинщики неудавшегося ноябрьского путча 1923 года,

так и досрочное освобождение осужденных нацистов. Надо заметить, что до 1928 года Гитлер не являлся германским подданным, и вся его политическая деятельность выглядела крайне сомнительно с точки зрения Веймарской конституции, однако вопрос о высылке его из страны как нежелательного иностранца ни разу не поднимался. Личные контакты с промышленными и финансовыми воротилами возникли у Гитлера главным образом во второй половине двадцатых годов, и с 1929 года он стал получать регулярные субсидии от монополистических группировок.

Несмотря на финансовую помощь отдельных крупных промышленников и банкиров, даже в 1928 году национал-социалистское движение еще испытывало серьезные трудности финансового характера, так как большинство монополистов продолжало наблюдать со стороны за деятельностью этой экстремистской политической группировки с трудом предсказуемым будущим. Целиком вся крупная буржуазия стала поддерживать национал-социализм только в годы экономического кризиса, когда перед лицом активизации народного революционного движения монополистические объединения пришли к выводу, что псевдореволюционность гитлеровцев лучше чем что бы то ни было будет способствовать политическому расколу масс, натравливанию трудящихся, состоящих в различных организациях, друг на друга, чтобы не допустить создания единого антикапиталистического фронта.

Не углубляясь в существо вопроса, скажем только, что национал-социализм с первых его шагов имел поддержку реакционеров не в одной лишь Германии, но и международной реакции. Есть данные о том, что в двадцатые годы фашистское правительство Италии субсидировало национал-социализм. После провала «пивного путча» в Мюнхене ряд ведущих наци, включая Г. Геринга, нашли прибежище в Италии. Известно, что для организации этого путча Гитлер летом 1923 года в Швейцарии получил не то 30 тысяч, не то 50 тысяч франков от чехословацких агентов, которые тем самым рассчитывали «подкормить» баварский сепаратизм.

Традиционные правящие круги Германии, и особенно аристократия, относились к Гитлеру с презрением вплоть до самого его прихода к власти. Фельдмаршал Гинденбург именовал Гитлера божьим капралом, непригодным для политической работы. Однако активная

(Продолжение. Начало в № 9)

политика милитаризации Германии и реваншизма — курс, которому симпатизировало большинство высших офицеров, а также беспощадная борьба с демократическими организациями обеспечили наконец национал-социализму и поддержку аристократических кругов, хотя до взаимной симпатии дело, пожалуй, никогда не доходило. Для многих семей немецких аристократов был неприемлем — ввиду родственных отношений с кругами еврейских финансистов — расизм национал-социалистов. Значительная часть немецкой аристократии, мечтавшая о реставрации династии Гогенцоллернов в Германии, с неприязнью наблюдала за концентрацией власти в руках Гитлера. Принимавшиеся нацистами меры по созданию «новой аристократии», основанной на расовых признаках, тоже не могли вызвать симпатии аристократов к Гитлеру. Я уж не говорю о нарочитом плебействе национал-социалистов, которое подчас культивировалось ими в демагогических целях. Гитлер неоднократно твердил о вырождении немецких аристократов. Полемицируя с другими аристократами, Бальдур фон Ширах заявлял, что считает куда большей честью принадлежность к организации СА, чем свое аристократическое происхождение. Все это помогает понять тот факт, что в конце второй мировой войны многие представители аристократии активно участвовали в организации заговора против Гитлера.

Служение интересам монополистической буржуазии национал-социалисты прикрывали громкой фразой, нападениями на империалистов других стран, а подчас и на германских капиталистов. Это было продиктовано необходимостью считаться с классовым составом своих организаций, особенно в начальном периоде движения, поэтому в программу национал-социализма были вынужденно включены и явно антикапиталистические требования.

Целый ряд пунктов — с 10-го по 18-й — 25-пунктовой программы НСДАП, впервые оглашенной 25 февраля 1920 года, — был посвящен социальным вопросам. Пункт 10-й требовал, чтобы каждый германский гражданин занимался физическим или умственным трудом на общее благо. Пункт 11-й предлагал ликвидацию всех источников нетрудовых доходов. 12-й пункт предусматривал секвестрацию всех доходов от военных прибылей. 13-й пункт провозглашал национализацию трестов — предприятий, получивших обобщественный характер. В 16-м пункте выдвигалось туманно сформулированное требование соучастия в прибылях крупных предприятий. 17-м пунктом предлагалось проведение аграрной реформы, отмена земельной ренты и т. п.

Установить, в какой мере национал-социалисты сами верили в свою идеологию и в какой хладнокровно расценивали ее как средство обмана масс, разумеется, невозможно. Некоторые современники указывали, правда, что Гитлер часто жил в мире собственных иллюзий и вымыслов.

Объективная классовая роль национал-социализма — укрепление власти крупной буржуазии — никоим образом не зависела от возможных иллюзий отдельных участников движения.

Когда нацисты почуяли, что власть идет к ним в руки, в их программе на

первый план вышли требования защиты частной собственности. Упомянутые 25 пунктов, правда, не были отброшены, но зато дополнены и обставлены пояснениями, которые фактически изменяли их характер. Так, например, в пояснении к программе 1930 года издания указывалось, что национал-социализм в принципе признает частную собственность, при условии если она получена или заработана честным путем. Никаких толкований «честности», особенно если речь шла о крупных заводах, рудниках и т. п., в программе не содержалось. Обогащение лидеров национал-социализма и поведение немецких монополий в оккупированных странах свидетельствуют о том, что это понятие было, мягко говоря, очень эластичным. Между тем, пояснения к программе выводили право на частную собственность из права рабочего распоряжаться продуктами своего труда, то есть полученным за них эквивалентом. Неправомерность подобного смещения понятий была показана К. Марксом, и нам нет нужды здесь на этом подробно останавливаться.

Высокоморальный характер устремлений частного собственника обосновывался в комментариях к изданию 1930 года тем, что каждому больше по вкусу клубника, картофель и овощи со своего огорода. Софизмы такого рода практически сводили к нулю все антикапиталистические декларации более раннего варианта программы.

Требование соучастия в прибылях крупных предприятий комментариев к изданию 1930 года толковал в том смысле, что невыгодно каждому получать прибыль только от одного предприятия. Надо, мол, позаботиться о низких ценах произведенных на крупных предприятиях изделий, тогда пользу от них получат все.

Обязанность каждого германского гражданина заниматься физическим или умственным трудом ради общей пользы в комментарии иллюстрировалась примерами Крупна, Кирдорфа, Тиссена, Маннесмана, Сименса и других крупных промышленников, которые неустанно трудятся на благо общества.

Требование национализации трестов комментариев 1930 года к программе НСДАП относил только к тем монополиям, которые завадели целиком той или иной отраслью. Но поскольку в каждой отрасли существовали и предприятия, не входившие в состав монополий, национал-социалисты так и не нашли, что бы им национализировать.

К 17-му пункту программы, касавшейся аграрной реформы и ликвидации земельной аренды, Гитлер еще 13 апреля 1928 года сделал добавление, в котором пояснялось, что этот пункт направлен только против еврейских обществ земельных спекулянтов, имущество которых должно быть конфисковано без возмещения.

Позиция руководства националсоциалистов в социальных вопросах долгое время оставалась двусмысленной. Всякий раз на нее заметно влияла расстановка классовых сил внутри партии, пусть даже это и не осознавалось. Фашистским руководителям приходилось считаться с тем, что в 1929 году, когда разразился экономический кризис, в ряды НСДАП вступило много рабочих. Правда, в большинстве своем не потомственные пролетарии, а в основном выходцы из мелкобуржуазных семей и

служащих, выросшие в среде, враждебной марксизму, и пополнившие собой ряды рабочего класса только в результате хозяйственных неурядиц. Но хотя сознание этих молодых рабочих и было отравлено реакционными, по преимуществу шовинистическими идеями, общественное положение объективно вынуждало их участвовать в классовой борьбе с миром капитала. По всем вопросам, затрагивавшим рабочих, высшее руководство НСДАП ограничивалось пустой демагогией. Но заводские нацисты проявляли высокую политическую активность, и это усиливало позиции тех лиц в немецко-фашистском руководстве, кто не верил в возможность завоевать массы на свою сторону одними лишь демагогическими лозунгами и потому требовал «конструктивной» рабочей политики. Наиболее активными проводниками такого курса в НСДАП были фон Раентлау, Г. Штрассер и Й. Геббельс.

В 1925 году на германских предприятиях были созданы ячейки НСДАП (National-sozialistische Betriebszellenorganisation). Использовались они главным образом как ударные отряды и служили средством шантажа тех фабрикантов, которые не поддерживали нацистов.

Ячейкам НСДАП на предприятиях запрещалось выполнять профсоюзные функции, но их членам дозволялось работать в существующих профсоюзах.

Антикапиталистические настроения, которыми нередко были проникнуты эти партийечки, иногда заражали и фашистских депутатов рейхстага. Так, 14 апреля 1930 года фракция НСДАП внесла в рейхстаг законопроект о национализации банков. Но по незамедлительному требованию Гитлера он был ею отозван, и после этого случая национал-социалисты никогда больше не заговаривали о национализации, а тем паче не проводили ее в жизнь.

В 1931 и 1932 годах многие рабочие стали покидать нацистские организации. Партийную политику во все большей степени определяли теперь деятели, представляющие интересы крупной буржуазии, и в первую очередь Г. Геринг.

Именно в это время в монополистических кругах стал всерьез рассматриваться вариант с передачей власти Гитлеру. Представители крупной буржуазии поставили перед национал-социалистами главное условие — освободиться от так называемого «левого» крыла своей партии и последовательно отстаивать капитализм.

Еще 7 июля 1930 года Гитлер исключил из партии Отто Штрассера, который поддерживал забастовку. Многие из тех, кто поверил было в социальную демагогию Гитлера, теперь сами отошли от движения. В конце 1932 года, расчищая себе путь к власти в стране, лидеры нацистов ликвидировали «левое» крыло. 8 декабря был освобожден от всех руководящих функций вождь этого крыла Грегор Штрассер. Что же касается Йозефа Геббельса, то он счел за благо переметнуться на сторону победившего направления. Организатор партийечек на предприятиях Мухов тоже заверил Гитлера в своей безоговорочной преданности его политике, но тем не менее вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. Ликвидация «левого» уклада в НСДАП не вызвала никакой заметной реакции среди рядовых членов партии.

Важнейшим событием после прихода

нацистов к власти, которое обнажило социальные функции национал-социалистского режима, стала кровавая бойня 30 июня 1934 года, вошедшая в историю как «ночь длинных ножей». В эту ночь и в последующие два дня были убиты те деятели национал-социалистского движения, которые не соглашались с беспрекословной ориентацией партии на одну только монополистическую буржуазию или вообще имели какие-либо разногласия с Гитлером.

Недемократические принципы партийного строительства в НСДАП позволяли ее руководству не считаться с настроениями и классовыми интересами рядовых партийцев. В партии и связанных с нею организациях насаждались слепая дисциплина и повиновение, культ вождя и фанатизм. Следовавшие одна за другой бесконечные кампании, отнимавшие у рядовых членов партии массу сил и требовавшие от них максимального напряжения, не оставляли им времени на раздумье, превращали в «винтиков», послушных исполнителей воли партийной верхушки.

Хотя антикапиталистическая демагогия и оставалась на вооружении национал-социалистов в течение всего периода их господства в стране, однако уже начиная со второй половины 1934 года позиция фашистов по отношению к различным классам и слоям германского общества не вызвала сомнений. К этому времени активные деятели других политических направлений были либо уничтожены, либо заточены в концлагеря или же эмигрировали, а массы деморализованы нацистской демагогией и кровавым террором, никто и ничто больше не угрожало экономическому господству крупной буржуазии, не мешало ей оказывать решающее влияние на политику Германии.

Во второй половине 1934 года и в дальнейшие годы существования третьего рейха нацисты для укрепления своего господства все чаще прибегали к услугам доставшихся им в наследство от предыдущего режима армии и полиции, причем никаких существенных изменений в их структуре и кадровом составе произведено не было. В безраздельном подчинении нацистам находился только созданный в апреле 1933 года тайный отдел государственной полиции — гестапо.

В то же время были реорганизованы штурмовые отряды национал-социалистов, их политическое значение свелось к слепому выполнению приказов Гитлера. Назначенный после «ночи длинных ножей» новым начальником штаба СА Лютце заявил, что в дальнейшем СА не будут массовой организацией, а ряды их станут комплектоваться исключительно из числа членов НСДАП. «Мне хотелось бы лучше иметь небольшое войско, но с хорошей выучкой, сильной верой и фанатично преданное вождю, чем СА, пытающиеся импонировать своей массовостью...» — указывал он 16 апреля 1935 года.

Что касается внешней политики Германии, то здесь классовая демагогия стоила дешево. На международной арене социальная роль национал-социализма проявлялась в Антикоминтерновском пакте, вмешательстве в гражданскую войну в Испании и в отношении к различным классам общества на оккупированных территориях. С укреплением

власти гитлеровцев и ремилитаризацией Германия постепенно превратилась в оплот мировой реакции, главную угрозу миру и суверенному существованию народов Европы.

Для германского рабочего класса победа национал-социализма означала утрату социальных завоеваний, кровавый террор против всех деятелей рабочего движения, включая и реформистов, а также значительную интенсификацию труда. То, что после 1933 года в Германии сократилась безработица, не было непосредственно связано с политикой нацистов. По окончании мирового экономического кризиса 1929—1933 годов занятость выросла во всех развитых капиталистических странах, и во многих рабочих воспользовались улучшением экономической конъюнктуры, добившись прибавки к заработной плате и других льгот, в Германии же это оказалось невозможным. Строившиеся там с большой помпой центры отдыха рабочих проектировались как лазареты на случай войны, экскурсионные пароходы и автомобили «Фольксваген» тоже конструировались с прицелом на военное использование.

По отношению к крестьянству национал-социализм питал утопические иллюзии. В работах нацистских идеологов крестьянству посвящено множество восторженных фраз. До небес превозносятся расовые свойства немецких крестьян, воспеваются остатки патриархальных отношений в крестьянских семьях. На деле твердые цены на сельхозпродукцию и мелочная регламентация труда земледельца означали кабалу крестьянства у монополистического капитала, стремившегося с помощью низких цен на продовольствие удешевить рабочую силу и таким путем переложить часть расходов по милитаризации страны на крестьян.

Мелкая буржуазия после прихода нацистов к власти полностью попала в подчинение крупной — главным образом при посредстве четырехлетнего плана, который и разрабатывался и претворялся в жизнь исключительно в интересах крупных монополий. В то же время режим все 12 лет кормил мелких буржуа иллюзиями, что германские завоевания улучшат их положение.

После войны историки часто спрашивали себя, был ли Гитлер идеальным проводником политики германских монополий. С расхождения в несколько десятилетий, с учетом последствий краха фашизма для Германии, многие отвечали на этот вопрос отрицательно. Но нельзя забывать, что в начале 30-х годов у крупной немецкой буржуазии не было другого выбора. Традиционные рутин-

ные правительства консерваторов оказались неспособными справиться с революционным движением народных масс. А национал-социалисты не только разгромили рабочие организации — как революционные, так и реформистские — и все демократические институты в стране, тем самым стабилизировав власть крупной буржуазии, но и открыли перед монополистами возможности для резкого увеличения прибылей. Проводившаяся нацистами политика подготовки и развязывания второй мировой войны непосредственно отвечала авантюристическим устремлениям немецкой монополистической буржуазии, жаждавшей передела мира и сфер влияния.

Конечно, наряду с главными, фундаментальными проблемами, в которых интересы германских монополий совпадали, имелся и целый ряд второстепенных, где они не совпадали и противоречили друг другу. Далеко не все монополистические группировки получали от милитаризации народного хозяйства одинаковую прибыль. Некоторым монополиям проводившиеся национал-социалистами автаркия (обособление национального хозяйства) и хозяйственная регламентация причиняли значительные неудобства. В годы второй мировой войны во всех государствах антигитлеровской коалиции и многих других странах германские капиталы подверглись секвестрации. Однако в целом национал-социалистская политика была выгодна немецкому монополистическому капиталу, вот почему вплоть до последнего периода гитлеризма крупная буржуазия единодушно поддерживала нацизм и сквозь пальцы смотрела на «экстравагантности» гитлеровцев по части обмана и запугивания населения. В этом контексте становится понятно, что имел в виду один из тузов германской промышленности Крупп, когда он после войны высказался о своих отношениях с Гитлером так — *Einem geschenkten Gaul sieht man nicht in's Maul*, то есть дареному коню в зубы не смотрят. К этой характеристике трудно что-нибудь добавить, разве вспомнить, что нацистские организации уже задолго до своего прихода к власти опирались прежде всего на поддержку крупной буржуазии.

Но, даже действуя в исключительно благоприятных для себя социально-политических условиях, национал-социалистское движение могло выполнить свою социальную функцию лишь при двух условиях: во-первых, создания строго централизованной системы террора и, во-вторых, широкого развертывания оголтелой демагогической пропаганды.

2. МЕТОДЫ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

При завоевании и укреплении своего господства в Германии гитлеровцы более всего полагались на властные средства и методы и террор, однако, подобно другим фашистским режимам, широко практиковали и духовное порабощение народных масс с помощью демагогической пропаганды.

Вопросы пропаганды и духовной обработки масс едва ли не единственные изложены в теории национал-социализ-

ма не отрывочно и дилетантски, а систематично и с большим знанием дела. Тут сказались опыт пропагандистского и контрпропагандистского ведомства германской армии времен первой мировой войны, ведь Гитлер около шести месяцев (в первой половине 1919 г.) обучался на курсах армейской психологической службы под руководством Эриста Рема, ставшего впоследствии организатором штурмовиков СА. Эти курсы, о которых

Гитлер лишь вскользь упоминает в своей биографии («Моя борьба», с. 227), могли, конечно, дать только начальные знания и импульсы, всё это следовало затем приспособить к условиям мирного времени и к работе среди мирных жителей. Гитлер проявлял систематический интерес к пропаганде, обнаруживая в этом немалый опыт.

Теоретические суждения немецких фашистов о роли пропаганды в обществе носят волюнтаристский характер и в целом смыкаются с получившим еще в XVIII веке распространение взглядом, что ход истории зависит от господствующих в обществе идей. Но в отличие от большинства философов эпохи Просвещения, которые из этой посылки выводили необходимость образования народа, распространения идей справедливости и гуманизма, национал-социалисты, несмотря на имеющиеся у них отдельные демагогические фразы, и в теории пропаганды выражали глубокое презрение к народу, считая его пассивным объектом, не осознающим свои интересы и слепо следующим за поводами, какие бы идеи те ни провозглашали. В смысле ясности изложения национал-социалисты также намного уступали лучшим образцам мысли XVIII столетия.

Вместе с тем во взглядах немецких фашистов по конкретным вопросам пропаганды содержалось множество проверенных на практике приемов и трюков, что позволило гитлеровцам собирать вокруг себя в Германии тех лет большое число сторонников.

В понимании немецких фашистов государственная власть тогда стабильна, когда она находится в согласии с господствующими в обществе идеями. Согласно этим взглядам, в основе всякого авторитета лежит в первую очередь популярность и во вторую — власть. Если к двум этим предпосылкам добавляется еще и традиция, авторитет можно считать незыблемым. Однако и популярность и общественное мнение главным образом являются собой результат воспитания и пропаганды, точно так же, как и религиозное убеждение, вера.

Пропаганда, указывал Гитлер, в умелых руках ужасное оружие, способное мелкие проблемы изобразить значительными, а о важных умолчать, она может жалкую жизнь в нужде представить народу как райскую, и наоборот, это искусство, которым гражданские партии, за исключением католических кругов, вообще не владеют. Зато марксисты являются умелыми пропагандистами, этим и объясняются их успехи. Марксистские идеи в большой мере овладевают массами потому, что марксистские пропагандисты идут в массы и говорят на понятном им языке. Не теория, созданная Марксом, всколыхнула невежественные массы России и вовлекла их в революцию, а тысячи агитаторов, которые говорили от имени этой теории. При одних философах, без демагогов невозможно были бы ни французская, ни Октябрьская революция.

В национал-социалистской идеологии, разумеется, не ставился и не рассматривался вопрос о том, что на сознание различных общественных классов могут влиять и материальные условия их жизни и что у революции могут быть также экономические и социальные предпосылки. Провозглашение всеисилия пропаганды как раз и давало фашистам

возможность затушевать существование классовых противоречий. Враги Германии в первой мировой войне, являлись национал-социалисты, особенно англичане, использовали пропаганду гораздо более умело, чем немцы, и в этом состояла главная причина того, почему в конце войны боеспособность немецкой армии упала, а войск Антанты — нет. Здесь, как и в других работах немецких фашистов, замалчивается реальное соотношение сил на последнем этапе первой мировой войны.

Поскольку пропаганда — это искусство, замечал Гитлер, ее основная задача состоит в том, чтобы проложить путь к сердцам широких масс, психологически верно обрабатывая их эмоциональные представления. Просвещение не является задачей пропаганды. Она должна в первую очередь воздействовать на чувства и только в очень условной мере — на так называемый разум (Verstand). Пропаганда должна быть односторонней, узкой, так как способность массы к восприятию очень ограничена. Она не должна быть адресована интеллигенции, но только широким массам, и потому имеет столь же малое отношение к науке, как плакат — к искусству. Чем менее научной пропаганда является, тем в большей мере она воздействует на чувства масс, и поскольку единственным критерием правильности пропаганды является успех, она должна быть приспособлена к самому низшему уровню развития потенциальных сторонников; чем шире массовый адрес, на который рассчитана пропаганда, тем более упрощенной, ограниченной ей надлежит быть. Речь государственного деятеля должна оцениваться не по тому впечатлению, которое она оставила на профессоров, но по впечатлению, оставленному на массы.

«Национал-социализм упростил мышление немецкого народа и свел его к примитивным исходным формулам... — подчеркивал И. Геббельс в 1935 году. — ...Чтобы добиться понимания среди народных масс, мы сознательно занялись пропагандой, ориентированной на народ. Таким образом, вещи, которые ранее были доступны только специалистам и экспертам, мы вынесли на улицу и вдобавили их в мозги маленького человека (und dem kleinen Mann ins Gehirn eingehämmert). Все излагалось настолько просто, что даже наиболее примитивный рассудок был в состоянии воспринять эти вещи... В этом заключалась тайна нашего успеха».

Движущей силой масс, указывали национал-социалисты, являются чувства, их эмоциональному настрою присуща чрезвычайная стабильность. Веру подорвать труднее, чем знания, любовь меньше подвержена переменам, чем уважение, гнев долговременнее неприязни и в основе крупнейших мировых переворотов лежало не овладевшие массами научное познание, а одухотворенный фанатизм и подчас истерия. Поэтому тот, кто хочет снискать расположение масс, должен суметь подобрать ключик к их сердцам. Этот ключ зовется не объективностью, что равнозначно слабости, а наоборот — волей и силой. Условие успеха пропаганды — настойчивость. Даже бесстыдная ложь, поначалу вызвавшая возмущение, при систематическом повторении будет еще довольно

долго восприниматься с неприязнью, но в конце концов массы начнут ей верить.

Пропаганде следует заострить до предела внимание народа на одной проблеме, представляя дело так, что от ее решения якобы зависит само существование или гибель народа. В политической борьбе нападки должны быть сконцентрированы на одном противнике, не следует показывать массам одновременно несколько врагов. Неверно изображать противника смешным и слабым, пусть лучше массы представляют его себе злобным, коварным и беспощадным, только такое представление поднимает бойцовский дух.

Подобно рекламе мыла, политическая пропаганда не имеет права быть объективной, она не должна обсуждать права других и постигать истину, которая может оказаться выгодной другим, но ей следует акцентировать лишь то, что выгодно тому направлению, которое она представляет и пропагандирует. Важнее всех теоретических рассуждений доказательств безоговорочная, непреложная вера, ибо она есть фактор борьбы.

Рекомендовавшиеся и практиковавшиеся немецкими фашистами методы пропаганды отнюдь не являются действительными при все обстоятельстве. Уже в XVIII веке было известно, что любое высказывание, многожды повторенное, вызывает отвращение. Отрицательная реакция индивида на навязчивую пропаганду или рекламу — известный из психологии эффект бумеранга — наступает тем быстрее, чем выше степень интеллектуальной развитости индивида и его способность к самостоятельному суждению.

Сознавая или чувствуя эту «слабинку» своей пропаганды, немецкие фашисты стремились принизить роль рассудка и старались воздействовать главным образом на чувства. Выбирая объекты для своих пропагандистских нападков, они весьма считались с симпатиями и антипатиями народных масс, но насколько не заботились о правдивом, объективном отражении фактов. Главными объектами нападков национал-социалистской пропаганды попеременно являлись Версальский мирный договор и германские политики, поставившие под ним свои подписи, плутократы и буржуа, марксисты, политики Веймарской республики в целом, евреи, различные соседние с Германией страны в зависимости от конкретной политической ситуации, однако никогда не сходила с повестки дня в той или иной форме пропаганда реванша.

(Продолжение следует.)





Фрицис Барда 1880—1919

Писать о Фр. Барде означает высказаться о поэте «*rag excellence*» о таланте живописной природы, о поэте, который в первое десятилетие 20 века органически воспринял поэтическое мышление новых течений в европейской и русской поэзии, и сумел совместить при его воплощении и современность и национальные традиции и ментальность. Поэзия начала 20 века в качестве основного формального элемента выдвигала образность, метафору, даже блоки метафор, стараясь избавиться от прямого изъявления эмоций. Изображая вещи и явления, художники 20 века стараются осознать их связи, их философский, экзистенциальный смысл, космическое значение. Русский поздний символизм и акмеизм, немецкий неоромантизм, английский имажизм — для всех этих литературных школ неоспорим приоритет образности, и это понимание они реализовывали в своей художественной практике.

Ф. Барда — сын латышского крестьянина — принадлежит к тому поколению латышских интеллигентов, которые свой родной двор и народные традиции желали связать с современными им течениями мировой литературы. В латышской поэзии часто новый качественный скачок происходил в результате развития поэтических

школ других стран. Ф. Барда (так же как Я. Райнис, В. Плудонис, Я. Судрабкалнс, Е. Вирза, А. Чакс и др.) находят свой голос, манеру, ознакомившись с поэтическими поисками Европы начала 20 века. 1907—1908 год Ф. Барда проводит в Вене, изучая вольнослушателем философию и, одновременно, находясь в тесном контакте с так называемой «венской школой», литературными интересами ее участников. Ранняя поэзия Ф. Барды, начало которой следует отнести именно ко времени, проведенному в Вене, вбирает в себя одновременно неоромантическое, импрессионистическое и национал-романтическое видение мира и способы их выражения. Причем, если для литературного неоромантизма «старых» народов характерно трагическое мировосприятие, осознание разрыва между мечтой и реальностью, то литература народов, не успевших оборвать свою связь с фольклором, с фольклорным мировосприятием, образует своеобразный вариант, ответвление романтического сознания: мифопоэтическое (характерными представителями которого являются Ф. Г. Лорка в Испании, У. Б. Йейтс в Ирландии, Т. Аргези в Румынии и т. д.).

Поэзии Ф. Барды характерен пантеистический взгляд на мир. Мифологизм при этом используется не на уровне абстрактных философских представлений: в отличие от многих западноевропейских романтиков, для которых реальность — враждебна, чужая для человека, Ф. Барда природу Латвии, крестьянский взгляд на мир представляет как символ гармонии и покоя. Бог у Ф. Барды — не христианский, а древнелатышский Диевинш, боженка, проходящий по земле в постолах и домотканой одежде. З. Маурина считала, что именно «... из глубочайшего ощущения единства со всем космосом вырастает его (Ф. Барды) душевная гармония. Он глубоко верил, что есть некая высшая мудрость, управляющая судьбой человека, и, поэтому, отчаяние казалось ему неоправданным». В личности Ф. Барды можно обнаружить черты изображаемого в фольклоре мечтателя, сердечного человека, но в то же время и практичного, трудолюбивого латыша, который умеет совместить реальность и мечту. Ф. Барда стремится синтезировать духовное с чувственным как самый органичный вид жизни. Отмечая чувственное впечатление от вещей, Ф. Барда не стремится приблизиться к ним, чтобы понять их объективную значимость, но старается осознать их экзистенциальную, космическую включенность — чтобы понять не будничное, но архетипическое; причину, «которая скрывается за непосредственностью и границами конкретных предметов» (Е. Суна). Эта особенность проявляется уже в первом сборнике Ф. Барды «Сын земли» (1911 год), где он сопоставляет Вселенную с цветком, человека с цветком, основанием считая любовь и вечные этические ценности. Ф. Барда в обоих своих сборниках (принадлежащих к наиболее популярным в латышской поэзии: «Сын земли» издавался в 1911—1979 годах девять раз, «Песни и молитвы Древу Жизни» с 1923 по 1938 год — шесть раз, не считая собрания сочинений и трех сборников избранного, изданных в советское время) свое оригинальное философское видение мира выражает эмоционально и в импрессионистически-символистском обобщении. Сделать философию поэтической и душевной удавалось лишь немногим латышским поэтам, и, наряду с Я. Райнисом и Я. Поруксом, и Фрицису Барде.

Русскому читателю полезно знать, что, изучая поэзию С. Джорджа, П. Алтенберга, Р. Демелля, У. Уитмена, Ф. Барда обновляет латышскую поэзию, основываясь и на разработках русских символистов Ф. Сологуба (которого Ф. Барда ценил особенно высоко), А. Белого, А. Блока, а также — акмеистки А. Ахматовой и, позже, И. Северянина.

СЫН ЗЕМЛИ

Цветы, как пути
руки обвили.
Цветы земные
тебя пленили.

О, пленник земли,
ее нежных пут —
связан, а кажется:
руки цветут.

И кажется: все уже
с ними дано.
И небо — как сон,
что забылся давно.

Лишь в ночь, когда вечные
звезды горят,
ты вдруг замечаешь,
как руки болят.

МОИ МЕЧТЫ

Мечтатель я. Надо мною
липа шумит, как река.
И дни мои уплывают,
как лебеди, как облака.

А мне печаль остается —
роща пиний в тихом краю...
Печаль и мечты остаются,
унимая тревогу мою.

Мне с ними и небо ближе:
мерцает, искрится оно.
Как роза полна аромата,
так — ими сердце полно.

О, лебеди, пинии! Сам я
не знаю, что будет, когда;
за тихой оградой липа
нас всех разлучит навсегда.

ФИАЛКА

На тихой лужайке, за хвойною чащей,
где с овцами дремлет настух,
где журчащий в траве ручеечек
хрустальный бежит, —
на солнышке синий бесенок сидит.
Он так еще юн, этот крохотный дух,
не ведая зла, среди мошек и мух
развится: поймает одну под кустом,
слегка пощекочет, отпустит потом.
Вдруг листья сухие как вихрем вздымают, —
то, в город спеша, старый бес пробегает.
«*Quos ego!*»¹ — кричит он им. И со всех ног
бесенок пускается наутек.
Как синий, как ветром гонимый платочек,
летит над кустами, над мохом, меж кочек
и синяя туфелька падает с ножки.
Не время искать!.. Мимо тут по дорожке
как раз пастушонок проходит: «Ну вот, —
воскликнул он, — ишь ты, фиалка цветет!»

ДУША БЕРЕЗЫ

(Березовым рощам моей родины)

Мой призрачный, мой первый
миг жизни на земле:
качается береза,
белея в полумгле.

Неведомое что-то
она в себе таит;
листва ее — как пламя
зеленое горит.

И вот, когда умолкнул
мой первый крик земной
с зеленой веткой кто-то
возник передо мной.

Войдя во двор, безмолвно,
под лунным серебром
там девушка стояла
за сумрачным окном.

Стояла, серебрилась,
светилась, волхвовала,
волною становилась
и в комнату врывалась.

И тихо к колыбели,
поникшая, припала,
склонилась надо мною
и, словно тень, пропала.

Заплакал я, и плач мой
услышан был: пришла
и ветку в колыбели
зеленую нашли.

А поутру береза,
засохнув, умерла:
она свою мне душу
той ночью отдала...

С людьми я схож, и все же
по сути я не тот —
душа березы белой
в груди моей поет.

Что вся моя жизнь по сравнению с той,
иной, о которой мечтаю? —
Что жалкая капля и этот морской
простор без конца и без краю!

Как трудно провидеть судьбу, но менять
в ней что-то — не тщетны ль усилия?
Я пойманный лебедь. Гоняют меня,
как птицу — подрезав ей крылья.

Мне нужен манящий и вечный простор
и звезды, и парус, и дали,
чтоб ветры, ведя нескончаемый спор,
над бездной кипящей блуждали.

Кто все эти люди, жужжащие тут,
как мухи в сети паутиной?
Куда и какие их цели ведут?
Звезд много ль у них? — Ни единой!

Переводы ЛЕОНИДА ЧЕРЕВИЧНИКА

¹ Я вас! (лат.)

НЕЗНАКОМЕЦ

С тех самых пор, с того мгновенья, мать,
когда весенним утром синий лебедь
над хижиною нашей пролетел
так низко, что концами крыл коснулся
травы, которой крыша поросла, —
с тех самых пор, с того мгновенья, мать,
во мне как будто пробудилось что-то,
чего я не могу никак унять . . .

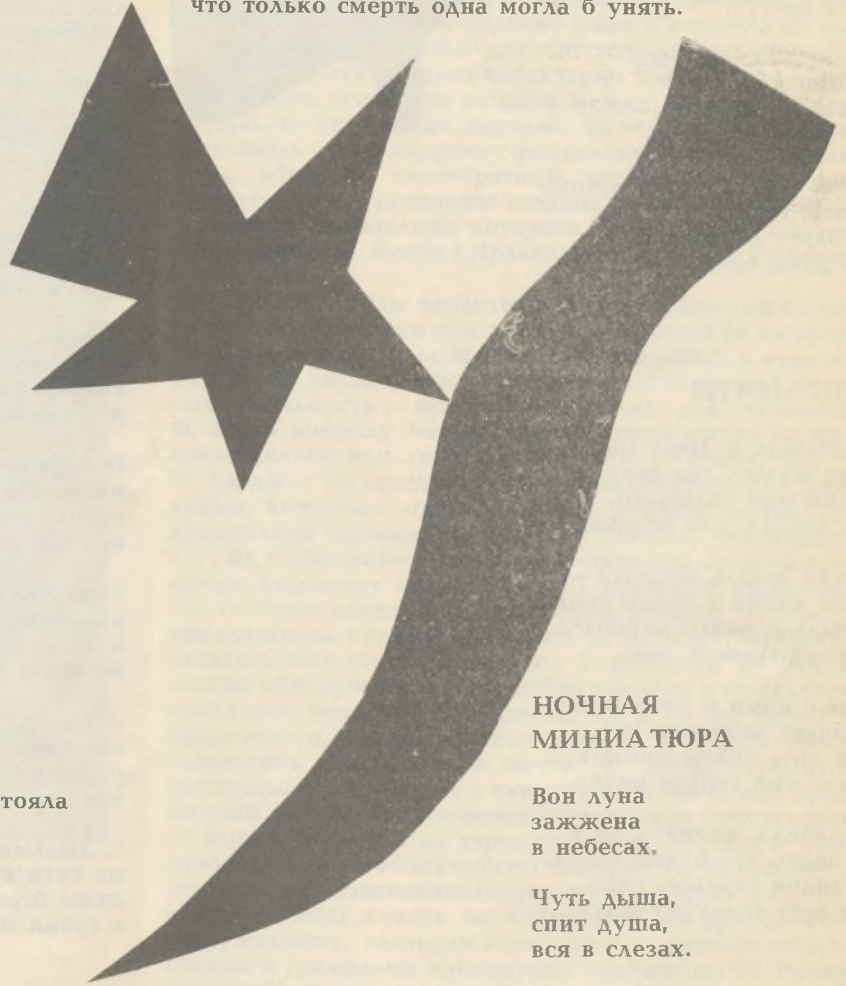
Ты помнишь, как однажды к нам забрел
усталый путник, странник незнакомый?
Он попросил воды, и ты меня
послала в клеть и принести велела
наш новый, тот, коричневый кувшин.
Я подошла к нему, — он под сиренью
стоял, — я подала ему кувшин, но вдруг
сирень так сладко заблагоухала,
так сладко, так пьяняще,
что задрожали и ослабли руки.
Он странно на меня взглянул,
и я увидела его глаза,
глаза такие могут быть лишь у оленя,
у молодого и усталого, глаза,
наполненные тьмой еловой до предела,
глаза, в которые лишь тьма лесов глядела.
Тут дрогнула и у него рука
(он слишком, видимо, устал в дороге)
и выскользнул кувшин из рук,
не знаю — из моих ли, из его ли —
и вдребезги у наших ног разбился.
И разлилась вода, и черной речкой
под ветками сирени заструилась.
Он на мгновенье замер,
глядя на меня двумя ночами,
двумя священными ночами темных чаш.
И, не напившись, попрощался
и прочь пошел усталыми шагами.
А я в кустах сирени,
обсыпанная голубыми лепестками, все еще стояла
и взором его тихим провожала:
он только у опушки оглянулся
в последний раз, и лес за ним сомкнулся.

И с той поры, с того мгновенья, мать,
во мне как будто пробудилось что-то,
чего я не могу никак унять.

Мне кажется: я не твое дитя,
и я не знаю, кто же я такая,
быть может, темная и тихая река,
что перед путником усталым протекая,
скользит между кустов сирени
в истоме сладкой, в вечном опьяненьи —
вся в лепестках сирени, голубая.
Хоть ты и говоришь, что, как всегда,
по саду я гуляю, по лугам,
по рощам, по долинам и полям,
но только все это уже не я —
о, как же ты не понимаешь, мать,
что это — речка так похожа на меня,
не видишь ты, как голубой рекой
я возвращаюсь к вечеру домой
и долго в тишине лежу без сна,
как речка, звезд мерцающих полна . . .
А ночью радуга, бледнее
и погружаясь медленно в меня,
пьет из меня — так долго, страстно, жадно, —
сама не знаю, что там пьет она.
И алый надо мной туман стоит,
и все во мне томится, все болит.
Но просыпаюсь — и туман исчез,
а вместе с ним — и бледное лицо

с наполненными тьмой лесов очами,
двумя священными лесных чашоб ночами.
А выбегу — колышется на крыше
травы, ты помнишь, как в тот раз, когда
над крышей лебедь пролетел; еще тогда
кувшин коричневый разбился, и сюда
забрел к нам бледный незнакомец.

С тех самых пор, с того мгновенья, мать,
во мне как будто пробудилось что-то,
что только смерть одна могла б унять.



НОЧНАЯ МИНИАТЮРА

Вон луна
зажжена
в небесах.

Чуть дыша,
спит душа,
вся в слезах.

Счастье шло —
не дошло:
не мани!

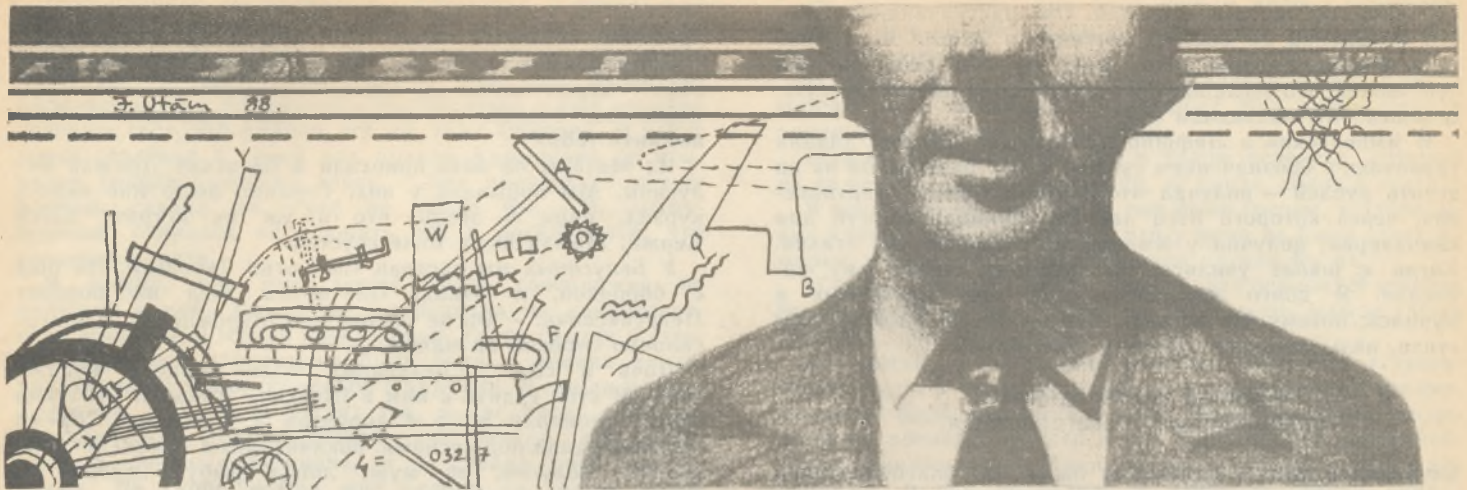
Полно ждать,
трепетать —
отдохни.

ЗВЕЗДЫ

Как звезды падают в ночи,
так дни мои — смотри! —
вся жизнь моя — свечение звезд
с заката до зари.

Как звезды падают в ночи,
так падаю и я.
А искр зеленоватый рой —
любовь и боль моя.

Перевела ЛЮДМИЛА КОПЫЛОВА



ЛЕОНИД ДОБЫЧИН

ГОРОД ЭН

17

Я еще раз попал в обучение к Горшковой. Когда мы приехали в город, маман отдала меня подучиться французскому. — Это трудный язык, — говорила Горшкова. — Все буквы в нем пишутся так, а читаются этак. — Желая меня подбодрить, она целилась, чтобы, схватив мои руки, пожать их, но я успевал их отдернуть и сесть на них быстро. Горшкова не очень мне нравилась. Кожа ее напоминала мне нижнюю корку, мучнистую и шероховатую.

Был жаркий день. Солнца не было видно. Из садов пахло яблоками. По дороге к Горшковой я встретил мальчишку с «Двиной». — Заключение мира! — выкрикивал он. Я спросил его, правда ли это, и он показал мне заглавие.

Горшкова о мире не знала еще, и я не сказал ей, чтобы она не расчувствовалась и не набросилась мять меня.

Миру мы очень обрадовались, но Карманова, возвратившаяся из Евпатории, расхолодила нас. — Если бы мы воевали подольше, — говорила она нам, — то мы победили бы. Витте нарочно подстроил все это, потому что он женат на еврейке, и она подстрекала его.

Серж давал мне смотреть «модель дачи» — деревянную, с настоящими стеклами в окнах. Училище красили, и начало занятий было отложено на две недели, но он щеголял уже в форме.

Учебники в этом году я купил у Ямпольского. Я получил наконец «Календарь». Я не ходил теперь мимо Л. Кусман. Внезапно она могла открыть дверь и, придерживая на груди свой платок, посмотреть на меня и спросить, почему это я до сих пор не иду к ней за книгами.

Серж и Андрей были оба теперь в первом классе. Серж был в «основном», а Андрей — в «параллельном». Уроки «закона» у них были общие, и тогда они вместе сидели. Андрей нарисовал раз во время закона картинку. —

«Пожалуйста к столику, — называлась она, — мои милые гости» — Карманова очень была недовольна, увидев ее. — Все какие-то пасквили, — стала она говорить с отвращением. — Чтобы критиковать, надо быть самому совершенством. — Она приказала, чтобы Серж пересел.

Мы отпраздновали уже именины наследника и отстояли молебен в годовщину «спасения в Борках». Назавтра, когда прозвенели звонки и учитель вошел, глядя бороду, и, крестясь, стал у образа, а дежурный начал читать «Преблагий», с страшным треском разорвалась вдруг где-то под боком бомба. Училище в этот день на неопределенное время закрыли.

Когда мы обедали, вдруг в мастерских по-особенному загудели гудки. Погодя мы услышали выстрелы. К ночи Евгения узнала для нас, что застрелено четверо. Бунтовщики подобрали их и при факелах носят по улицам, чтобы будоражить народ.

Мы смотрели, когда хоронили их. С важными лицами впереди выступали ксендзы. — Вот мерзавцы, — сказала Карманова и разъяснила нам, что по религии им полагается быть за правительство, но они ненавидят Россию и готовы на все, чтобы только напасть на нас. За гробами играли оркестры из мастеровых и пожарных. Почти целый час, перестав уже нас занимать, мимо окон, пошатываясь, двигались флаги и полотнища с надписями. Мы узнали потом, что у кладбища была перестрелка, и в ней Вася Стрижкин ранен был дробью. Бедняжка, до выздоровления он не мог ни лежать на спине, ни сидеть.

Чтобы я не болтался, маман мне велела читать «Сочинения Тургенева». Я их усердно читал, но они не особенно интересовали меня.

Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова «митинг», «черносотенец», «апельсин», «шпик». Однажды, когда мы опять бастовали, ко мне зашли Серж и Андрей и сказали мне, что они разогнали сейчас немецкую школу. Они захватили в ней классный журнал. «Алфавит» начинался: «Анохина, Болдырева». Я посмеялся, а к вечеру мне стало грустно. Я думал о том, что все делаем что-нибудь интересное, мне же на ум никогда ничего не взбредет.

У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была

«правая», но бастовала охотно. Она рассказала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что, пока он там был, он там чувствовал, что соглашается с непоправимыми рассуждениями. Мы похвалили его.

И Ямпольский и Лифшиц при каждой покупке давали талончики с обозначением суммы, и кто предъявлял их на десять рублей — получал что-нибудь. Ученик Мартинкевич, через которого отец закупил принадлежности для канцелярии, получил у Ямпольского альбом для стихов. Когда в школе учились, он требовал, чтобы ему писали. Я долго держал у себя этот альбомчик и мучился, потому что не знал, что писать. Я нашел в нем стихи, называвшиеся «Декокт спасения».

— Возьмите унцию смирения,
Прибавьте две — долготерпения, —

начинались они и подписаны были: «С благословением иеромонаха Гавриила». Оказалось, что монах из церкви напротив нашего дома был Мартинкевичу родственник.

18

Мне хотелось узнать у монаха, согласится ли бог посадить кого-нибудь в ад, если будут хорошенько молиться об этом, и чтобы встретить монаха, я думал сойтись с Мартинкевичем. Я не успел, потому что вернулись наши полки, а те, которые их замещали, ушли, и монах ушел с ними.

Из Азии офицеры навезли много разных вещичек. Кондратьев поднес нам интересные штучки для развешивания на стенах. На столе у него, где когда-то лежал «Заратустра», красовался теперь «Красный смех». Он давал нам читать его.

Вскоре мы увиделись и с Александрой Львовной. Она постарела. Она сообщила нам, что посвятила себя уходу за контуженным в голову доктором Вагелем, и намекнула, что, может быть, даже вообще не расстанется с ним. Мы приятно задумались.

Церковь, в которую так охотно ходила Карманова, когда здесь был монах, оказалось, могла разбираться. Ее развинтили и отослали под Крейцбург, где часть латышей была православная. Вместо нее теперь должен был строиться «гарнизонный собор». С интересом мы ждали, каков-то он будет.

В один светлый вечер, когда я и маман пили чай, к нам явился Чаплинский. С большим оживлением он объявил нам, что в Карманова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил и он умер через четверть часа.

Любопытные женщины стали ходить к нам и расспрашивать нас о Кармановых. Мы отвечали им. Об инженерше маман рассказала им, что она уже несколько лет не жила с инженером. Я был удивлен и поправил ее, но она мне велела не вмешиваться в разговоры больших.

Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе «подводная лодка», которая после окончания войны уже вышла из моды, маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслоняли. Зато я нашел в толпе Тусеньку. Мне показалось, что она незаметно бросила взгляд на меня.

Серж сказал мне потом, что он дал себе клятву отомстить за отца. Я пожал ему руку и не стал говорить ему, что отомстить очень трудно.

Я должен был скоро расстаться с ним. Он уезжал навсегда. Инженерша уже побывала в Москве и сыскала квартиру. Отъезд был отложен до начала каникул. Одиночество ждало меня.

Стали строить собор. Рыли землю. Возили булыжник. В квартале за кирхой начали строить костел. Староверы приделали колокольню к «моленной». Отец Николай разъяснил нам, что всем исповеданиям дали свободу,

но это не имеет большого значения и главным попрежнему останется наше.

Кармановы сели в вагон. Поезд тронулся. Мы помахали ему. — Серж, Серж, ах, Серж, — не успел я сказать, — Серж, ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя?

Из Митавы на лето приехали в Шавские Дрожки Белугины. Мы побывали у них. Странно было мне видеть курзал, парк и знать, что я уж не встречу здесь Сержа. Маман была тоже грустна.

У Белугиных мы застали Сиу, отца Тусеньки. Он был с бородкой, в очках. Он похож был на портрет Петрункевича. — Вы не читали речь Муромцева? — благоклонно спросил он маман.

Дочь и сын у Белугиных были немного моложе меня. Я стал ездить к ним в Шавские Дрожки. Белугина была сухопарая дама с лорнетом и в оспинах. Время она проводила под соснами, покачиваясь в гамаке и читая газету. Белугин, ее муж, ловил рыбу. Сестра ее, Ольга Кускова, водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Крейцбургу. Из пассажирских вагонов смотрели на нас офицеры. — «Карательная», — пояснила нам Ольга Кускова.

При мне иногда заходила к Белугиным Тусенька, но она со мной важничала и говорила мне «вы».

Когда я не был там, я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом маман говорила, что я — как ошпаренный.

Дни проходили. Уже на реке появились песчаные мели, и «Прогресс» маневрировал, чтобы не сесть на них. В черненькой рамке газета «Двина» напечатала о безвременной смерти учителя чистописания.

Однажды я встретился с Осипом. Он был любезен. Он вызвался показать, где закопаны висельники. Я рассказал ему случай с учителем. — Осип, — сказал я, — ты был бы согласен убить его, если бы он сам не умер? — Я взял его руку и в волнении смотрел на него. Он ответил мне, что для знакомого все можно было бы. Мне было жаль, что так поздно я встретил его.

19

Снова осень была на носу. В палисаднике уже шелкали, лопааясь, стручья акаций. Во время дождя, когда пыль прибивало, подвальные открывали окошки. Тогда мы спешили закрыть свои окна, чтобы вонь не врывалась к нам. — Прежде, — говорила маман, — можно было бы просто послать к ним Евгению и запретить им.

В училище я не нашел уже Фридриха Олова. Летом его свезли в Ригу и определили в торговый дом «Кни, Фальк и Федоров». Вместо него поступил новичок по фамилии Софроньев. Звали его «Грегуар». Он был сын полицеймейстера, переведенного к нам взамен Ломова. Тусенька свела дружбу с сестрой Грегуара «Агатой» и бесплатно ходила с ней в театр и цирк. Я мог бы часто видеть ее, если бы я записался в друзья к Грегуару. Но он был неряха, и, кроме того, я в течение прошлого года привык не любить полицейских.

Андрей в один праздничный день завернул ко мне. Он посмотрел мой учебник «закона» и, посмеявшись над картинкой «фелонь», предложил мне пройтись с ним.

Маман была на телеграфе, и я вышел с Андреем без спроса. Я не был уверен, хорошо ли я сделал, отпавшая с ним. Мы осмотрели постройки. Еврейка в платке с бахромой подошла к нам. — Не бейте, — сказала она, — того мальчика в серых чулках. — Мы смеялись. Потом мы послушали, как мужчина в подтяжках, который сидел у калитки, играл на трубе.

«Мел, гвоздей», —

перечислено было на прибитой к калитке дощечке, —

«кистей, лак и клей», —

и, задумавшись, мы напевали это под звуки трубы.

Разговаривая, мы оказались у кладбища. В буквах над входом уже отражался закат. На могилах доцветали цветы. Осыпались деревья. Нескладные ангелы, стоя одною ногой на подставке, смотрели на небо, как будто собирались лететь. Благодушно настроенный, я уже начинал говорить себе, что Андрей, все же, тоже хороший. И вдруг возле столбика с урной над прахом Карманова он принялся городить всякий вздор. — Без причины, — между прочим, сказал он, — его не убили бы. — Я, возмущенный, старался не слушать его и раскаивался, что согласился идти.

Я решил, что мне лучше всего совершенно не видется с ним. Но опять нас позвали на кондратьевские именины, и маман повела меня. Гости сидели у стен. На картинках нарисованы были гора и японка внизу, наклонившаяся над скамейкой с харчами. Я сел за маман. Говорили, что, когда пустят ток, у нас будет работать электрический театр. Андрей, как всегда, подмигнул мне на двери «приемной», и я сделал вид, что не понял. Но скоро маман мне велела не сидеть возле взрослых. Я вынужден был согласиться отправиться в сад.

Мы заметили несколько яблок и сбили их. Мы занялись ими, сев на ступеньки. Жуя, мы старались представить себе электрический театр. Он должен был быть, вероятно, необыкновенно прекрасен. — Андрей, — сказал я, пододвинувшись ближе: — есть одна ученица по имени Тусенька. — Сусенька? — переспросил он. Я встал и ушел от него. Ложась вечером спать, я подумал, что «Тусенька» — правда, какое-то глупое имя, и что лучше всего называть ее так: Натали.

В воскресенье я после обеда спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса электрической станции и побродил. Огороды, пустые уже, начинались за крайней лавчонкой, и в окнах ее, как давно-предавно, я увидел висящие свечи. Старушка из ваты, насквозь прокоптившаяся, как трубочист, была тоже тут. Дохлые мухи прилипли к ней. Клюква в кузовке у нее за спиной побелела. Приятная грусть охватила меня, и я рад был, что мне, словно взрослому, уже «вспоминается детство».

Маман как-то встретила в бане с Александром Львовной. Она вышла замуж за доктора Вагеля. — Он, — рассказала она, — не совсем еще вылечил голову и иногда проявляет различные странности. — Свадьбу они не справляли. Они обвенчались тихонечко в Гриве Земгальской.

Довольные, мы посмеялись.

Софроньев несколько дней «фуговал»: выходил утром из дому и не являлся в училище. Стало известно потом, что учитель словесности посетил полицмейстера. Вместе они отодрали Грегуара веревкой. Я думал, что, может быть, Натали после этого будет стесняться сидеть с ним в полицмейстерской ложе.

20

«Серж, — писал я во время уроков на вырванных из тетради листках, — я заметил, что уже становлюсь как большой. Иногда мне уже вспоминается детство. Мне кажется, что и другие это тоже находят. Евгения, наша кухарка, например, когда нету маман, все охотней является в комнаты и толкует со мной». — Я писал, как она мне рассказывала про Канатчикова, что под домом у него сидит сын на цепи, и что сын этот глупый, или про подвальную Аннушку — как она сопровождает во время маневров войска и продает им съестное, когда же маневры кончаются, то зарабатывает как-то там тоже у войск, но Канатчиков к ней придирается и ругает ее, если люди приходят к ней в дом.

«Серж, — писал я, — ты знаешь, я строчу тебе это на арифметике. Мне, все равно, не везет в ней. Я думаю, не оттого ли, что я почему-то не могу рассмотреть на доске мелкие цифры. Поэтому мне не удастся следить за уроком».

«Я много читаю. Два раза уже я прочел «Достоевского». Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного».

«Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим».

«Серж, что ты сказал бы о таком человеке, который а) важничает, б) по протекции, не платя, ходит в театр?»

Я рвал свои письма, когда они были готовы, и забрасывал ключья за шкаф, потому что у меня не было денег на марки, маман же перед отправкой читала бы их.

«Серж, — писал я еще, — ты не видел борцов? Я не прочь бы взглянуть на них, Серж, но, ты знаешь, маман где-то слышала, что это — грубо».

На святках в помещении училища состоялся «студенческий бал». В гимнастическом зале, уставленном елками, зажжено было множество ламп. Между печками расположился военный оркестр и под управлением капельмейстера Шмидта играл. Мадам Штраус хотелось послушать поближе, и она подходила к печам и стояла внимательно, держа в руках сахарницу, которую выиграла в «лоторее аллегри».

На сцену выходили актеры из театра и произносили стихи. Мадмазель Евстигнеева пела. Играла, качая пером, украшавшим ее голову, Щукина, содержательница «Музыкального образования для всех». — Может быть, — думал я, — она дочь этих «статских советников Щукиных», на могиле которых когда-то я сидел, дожидаясь «господ и господж».

Объявили антракт для открытия форточек и удаления стульев. Среди суетившихся был Либерман. Он был очень параден в мундире со шпагой и «распорядительском банте». Я вспомнил Софи, его сверстницу, вместе с ним так удачно когда-то игравшую в драме, и мне стало грустно: бедняжка, она почему-то казалась уже лет на двадцать старше его.

На расчищенном месте уже завертели вальсёры. Карл Пфердхен кружился с своей сестрой Эдит. Конрадиха фон-Сасапарель выступила с Бодревичем, издателем газеты «Двина». Натали, покраснев, приняла приглашение подскочившего к ней Грегуара. Учитель словесности, мимо которого я проходил, подмигнул ему. Он улыбнулся, польщенный. Мне подали с «почты амура» письмо. — «Отчего это, — кто-то спрашивал в нем, — вы задумчивы?» — Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силясь угадать, кто писал. Я увидел при этом Л. Кусман и поспешил убежать.

Я не сразу вернулся домой, а прошелся по дамбе. Мечтательный, я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее прятал. Погода менялась от оттепели к небольшому морозу, и на глазах у меня расплослись облака и открылось темное небо со звездами. Двое саней не спеша обогнали меня. — У тебя ли табак? — спросил задний мужик у переднего. Я удивился немного, услышав, что мужики, как и мы, разговаривают.

Письмецо я хранил, и минуты, которые я иногда проводил над ним, я считал поэтическими.

Подходила весна. От Кармановых я получил предложение провести с ними лето. Они обещали заехать за мною. Маман изготовила мне полосатые трусики.

Этой зимой мы видели члена Государственной думы. Канатчиков делал осмотр, какой будет нужен ремонт. Он стоял у окна и ошупывал рамы. Член думы проехал вдруг — в маленьких санках, запряженных большой серой лошастью под оливковой сеткой. Канатчиков крикнул нам. Мы подбежали и успели увидеть молодцеватую щеку и черную бороду. — Наш, крайний правый, — сказал нам Канатчиков. Мы улыбнулись приятно.

21

У Кармановой были еще в нашем городе кое-какие делишки. Она продавала участок, который достался ей по

закладной. Из-за этого она прожила у нас несколько дней.

Я и Серж побывали вдвоем в Шавских Дрожках. Оркестр играл, как всегда. Лоза над рекою цвела. — Серж, ты помнишь, — сказал я, — когда-то мы были здесь счастливы.

Долго мы ехали в поезде. Утром мы вскакивали, чтобы видеть восход. К концу дня облака принимали вид гор, обступающих воду.

Прибыв в Севастополь, мы наскоро осмотрели собор, панораму и перед вечером отплыли. Мы заболели в пути морской болезнью. Мы приплыли поздно, и я не увидел впотьмах ни мечети, ни церкви. Я знал их давно по открытке «Приветствие из Евпатории».

Нас посадили на шлюпки. Мне сделалось дурно, когда я слезал туда по веревочной лестнице. — Васенька, — мысленно вскрикнул я. Кто-то подхватил меня снизу.

У мола нас ждал Караат, запряженный в линейку. Он взят был на лето на прокат у татар. Держа вожжи, возник — на «даче» он был управляющий, кучер, садовник и сторож — обернулся к Кармановой и начал ей делать доклад.

Одинаковые, друг за другом шли дни. Мы вставали, Карманова в «красном, с турецким рисунком, матинэ из платков» принималась снова между «флигелем», в котором мы жили, и «дачей». Являлись с корзинами булочники. Караат начинал возить дачников к грязям и в город. Карманова, стоя в пенсне у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Во двор, томно глядя, выходил Александр Халкипов, студент. Мы здоровались с ним и отправлялись с ним к морю.

У моря мы проводили все утро, валяясь, беря в горсть песок и по зернышку медленно сыпля его. Александр рассказывал нам интересные штуки. Я часто чего-нибудь не понимал. — Ты дитя, — говорил тогда Серж, — шаркни ножкой. — В Москве он узнал много нового, много такого, чего я никогда бы себе и представить не мог.

Отобедав, я уходил с Сержем в тень. Он читал там «Граф Монте-Кристо» или «Три мушкетера». Он брал их из библиотеки. Когда он кончал читать первую книгу и принимался за следующую, я начинал читать первую. Мне не удавалось прочесть только последнюю книгу — окончив ее, Серж отдавал ее. Я вспоминал тогда о деньгах Чигильдеевой. Если бы я ими мог уже распоряжаться, я сам записался бы в библиотеку и ни от кого не зависел бы.

Вечером дачницы, перекликаясь, собирались на главной террасе. Гурьбой, драпируясь в «чадры» из расшитого блестящими «газа», они вводили Александра гулять. Их мужья отправлялись в бильярдную. Дети садились на доску качелей и тихо покачивались. Я и Серж подходили и прислонялись к столбам. Становилось темно. Инженерша при лампе читала у себя на веранде «Кво вадис?» Кухарка с помощницей, сидя на заднем крыльце, тоже с лампочкой, чистила к завтраку овощи. В море гудел пароход. Иногда недалеко начинали играть на трубе.

Мел, гвоздей, —

подпевал я тогда ей беззвучно, —

Кистей, лак и клей.

Тарахтела, приближаясь к воротам, линейка, вбегал Караат, и его распрягали.

В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса». Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я прочел ее прячась и никому не сказал, что читал ее. — В чем же тогда, — говорил я себе, — можно быть совершенно уверенным?

Новые дачники сразу подолгу сидели на солнце, и оно обжигало их. Мы им советовали употреблять «Идеал», крем Петровой. Потом мы ходили к ней и получали «комиссию». Я дочитал на нее «Мушкетеров» и «Графа» и скопил два двугривенных.

Скоро появились арбузы и дыни. Теперь Караата кормили их корками. — Значит, он сыт, — говорила Карманова, — если не ест их.

В одно воскресенье Александр решил съездить в город. Он взял нас с собой. На бульваре мы сели. Рассеянные, мимо нас пробежали девицы. Тогда он вытягивал ногу, и они спотыкались. Уткнувшись в платок, Серж ужасно смеялся. Я думал о том, что он слишком уже увлечен Александром, и мне начинало казаться, что он равнодушен ко мне.

Караимская дама Туршу, наша новая дачница, попросила однажды, чтобы я показал ей, где живет хиромант. Я пошел с ней вдоль каменных стен, за которыми, низенькие, росли абрикосы. Она была черная, с темными веками, в розовом платье и зеленой «чадре». — Побеседуемте, — предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер. — Без причины, — сказал я, — конечно, его не убили бы.

Из Евпатории я возвращался один. Инженерша дала мне для маман «перекопскую дыню». Туршу помахала мне вслед из окна своей комнаты, и Александр, который стоял у окна вместе с ней, покивал мне. Серж сел на линейку со мной и проехался до парохода.

22

Когда я приехал и вышел из вокзала на площадь, то город показался мне странным. На улицах не было видно деревьев. Извозчики были одеты по-зимнему. Дрожки у них были однолошадные. Не было слышно, как море шумит. Я представил себе «Графскую пристань» — колонны и статуи и ступени к воде. — Серж, Серж, ах, Серж, — по привычке вздохнул я.

Собор против нашего дома почти был достроен. Его купола были скрыты холщевыми навесами в виде палаток. Извозчик сказал мне, что там — золотильщики.

Аннушка с бабкой и дочерью Федькой стояла у дома на солнышке. — Может быть, — думал я, — глядя на эти шатры, она вспоминает маневры. — Она поклонилась и крикнула что-то.

Маман была дома. Увидя меня из окна, она выбежала, и Евгения выбежала вслед за нею. Они расспросили меня, пока я умывался. — Вот видишь, — сказала маман, — как приятно иметь знакомых со средствами.

Все разузнав от меня, она стала сама сообщать мне, что случилось в течение лета. То место, где была расположена выставка, оказалось, теперь называется «Николаевский парк». Там устроено было гулянье в пользу «Русского человеколюбивого общества». Щукина, сидя в киоске, продавала цветы, и маман помогала ей: господин Сиу встретил ее и усадил.

Просиявшая, она стала смотреть на окно. Я взволнован был. В первый же день по приезде я услышал о Щукиной, «Образование» которой посещала в «нечетные дни» Натали, и о господине Сиу. Я подумал, что, может быть, это — предзнаменование.

Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убирали мостки и подпорки. Магистр Ян Ютт перебрался со своею аптекой в новый собственный дом — он украшен был около входа барельефом «сова».

Я побродил между Щукиной и домом Янека. Если бы вдруг Натали появилась здесь — благовоспитанная, с скромным видом и с папкой «мюзик», — я сказал бы ей: — Здравствуйте.

В классе среди второгодников оказались Сергей Митрофанов из «Религиозных предметов» и — Шустер. Он жил в нашем доме, и мы вместе пошли из училища. Он рассказал мне, что его младший брат исключен, потому что уже просидел в первом классе два года и остался на третий. Отец отлупил его и отдал в пекарню «Восток».

Из газеты «Двина» мы узнали однажды о несчастье,

случившемся с Александрой Львовной. Скончался ее муж, доктор Вагель. Мы очень жалели ее. — Мало, мало, — сказала маман, — довелось ей наслаждаться семейною жизнью.

Мы были на похоронах. Там мы встретили нескольких прежних знакомых. Они уже сгорбились, стали седыми. Маман упрекала их, что они совершенно забыли ее. Была музыка. Я шел с Андреем, и мы узнавали места, которые в прошлом году вместе видели. — Вот «мел, гвоздей», — говорили мы. — Будьте здоровы, «И. Ступель».

На кладбище возле могилы Карманова, вспомнив, я рассказал, как в то время, когда я гостил в Евпатории, Сержу покупали одной булкой больше, чем мне, и объясняли при этом, что платят за лишнюю из его собственных средств. Отстав от процессии, мы посмеялись.

Обратно Кондратьевы нас подвезли. — Электрический театр, — сказали они нам, — открывается на этих днях. — И они предложили нам посмотреть его вместе.

Уже по ночам подмораживало. Уже днем в теплом воздухе стали встречаться места, где вдруг делалось холодно, как над ключами, которые бьют иногда в теплой речке.

Однажды Евгения вошла ко мне в комнату очень таинственная. Затворив за собой створки двери, она повернулась к ним и приложила к ним руки. Потом осторожно приблизилась и сообщила про младшего Шустера, что его «посадили». Он продал дерюгу, которою в пекарне «Восток» накрывались дежи.

К октябрю уже кончили строить собор. В именины наследника происходило его «освящение». В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с «любимым учеником» у груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я подумал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье, и как он помог мне во время падения при спуске веревочной лестницы в шлюпку.

Открылся наконец электрический театр. Сначала мы посидели немного в «фойе». Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Со дна возвышалась скала, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки и отдернулись занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал. — Господа, — закричал я, увидя ряды нумерованных стульев и холст на стене, — это, кажется, то, что на выставке называлось живой фотографией. — Да, — подтвердила маман.

23

Электрический театр понравился нам. Он был дешев и отнимал мало времени. Я несколько раз побывал в нем с маман, был с Кондратьевыми. Мы любили его «видовые» с озерами «драмы», в которых несчастная клала ребенка на порог богачей, и «комические». До чего это глупо, — довольные, произносили мы по временам. Когда вспыхивал свет, я смотрел, кто сидит в полицеймейстерской ложе.

Один раз рядом со мной Карла Будриха. Мы не здоровались с ним с того времени, когда я ругал перед ним лютеранскую веру. Он сел, не взглянув на меня. Краем глаза я видел, что лицо его красно от ветра и ухо горит. Его палец был почти рядом с моим, и я чувствовал жар его. — Карл, — хотел я сказать.

Младший Шустер пришел из тюремного замка, и отец не впустил его в дом. — Ты фамилию нашу, — сказал он, — снес в острог. — Он был видный мужчина с усам, машинист на железной дороге, вдовец, и хозяйство его вела мадам Гениг, которую он пригласил, когда в Полоцке умер полковник Бобров, и она оказалась свободной.

Снег выпал. Кондратьева прикатила с Андреем по новой дороге и полюбовалась из окон на гарнизонный собор. — Как прекрасно, однако, — оглядываясь, говорила она нам.

Сергей Митрофанов проехал по улице в маленьких санках. Он правил. Я вспомнил, как правил иногда Караатом. Кондратьева проводила Митрофанова взглядом. — Крупчатый малый, — сказала она, и маман разъяснила ей, что это зависит от корма. Потом они сели, и мы их послушали с четверть часа. — Разговор идиоток, — сказал мне Андрей, когда мы от них вышли. Опять я себе обещал, что теперь никогда уже больше не соглашусь ни за что говорить с ним.

Софроньев стал приносить с собой в класс интересные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон». За копеечку он давал их читать, и я тоже их брал, потому что у меня были деньги из комиссионных за «крем».

Год назад я бы мог написать в «письмах к Сержу», что мне нравится, как в этих книжках льет дождь, Пинкертон, приняв ванну, сидит у камина, на ногах у него лежит плед, и он пьет горячительное. — Наконец-то я, — думает он, — отдохну. — Но внезапно раздастся звонок, экономка бежит открывать, и дорогою она изрыгает проклятия.

Теперь же я уже не писал этих писем. Как демон из книги «М. Лермонтов», я был — один. Горько было мне это. — Вдруг, — ждал я иногда в темноте, когда вечером, кончив уроки, бродил, — мне сейчас кто-нибудь встретится: Мышкин или Алексей Кармазов, и мы познакомимся.

Снова у нас в гимнастическом зале был студенческий бал. Мадмазель Евстигнеева пела, а Щукина исполняла «сонату апассионату». Опять мне прислали записку. Опять я сбежал, потому что Стефания Григорьевна вдруг стала кивать мне и пошла ко мне через расширенный для вальсирующих круг, оживленно подмигивая мне и делая какие-то знаки. У двери стояла «Агата», сестра Грегуара, — бесцветная, беловолосая, с носом индейца и четырехугольным лицом. Выразительно глядя, она шевельнула губами и двинула боком, как будто хотела не пропустить меня. Я удивлен был — я не был знаком с ней.

Газета «Двина» занималась опять Александрой Львовной, которая выиграла в новогодний тираж двести тысяч. Вздолнованные, мы поспешили поздравить. — Билет ведь его, — рассказала она нам. — Недаром у меня всегда было предчувствие, что из этого брака что-то выйдет хорошее. — Да, — говорила маман, — вспоминаю, как я была тогда рада за вас.

Мы узнали еще, что она собирается переселиться в местечко, напротив которого мы провели одно лето на даче, когда я был маленький, и куда она к нам приезжала. Она не забыла еще, как ей нравился тамшний воздух. — К тому же, — сказала она, — там отличное общество. — Так, — вспомнил я, когда мы возвращались, — я думал когда-то, что мы, если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить.

Младший Шустер попался опять, и с тех пор его то выпускали — и тогда он прохаживался перед домом и иногда залезал в подвал к Аннушке, — то забирали. Сначала мадам Гениг высовывалась и давала ему из окошка еду, но отец не позволил.

Уже потемнели дороги. Днем таяло. Вечером небо было черно, звезд в нем было особенно много. Все чаще вынимал я два «женских письма» («отчего вы задумчивы?» и «вы не такой, как другие») и снова читал их.

В церквях уже зазвонили по-постному. Мы исповедывались. Митрофанов был передо мной, и я слышал, как отец Николай, освещенный лампадками, бормотал ему что-то про «воображение и память».

24

Даме из Витебска мы написали поздравление с пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкою «Нёби ме тангере». Эту картинку она уже нам присылала однажды. На ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла

интересная женщина. Мы посмеялись немного. Прочтя же, маман стала плакать, — все меньше, — сказала она мне, — у нас остается друзей. — Оказалось, дочь дамы писала нам, что дама уже умерла.

Перед пасхой был достроен костел. Он был белый, с двумя четырехугольными башнями и с богородицей в нише. Мне нравилось вечером сесть где-нибудь и смотреть, как луна исчезает за башнями и появляется снова. В день «божьего тяла» мы видели, стоя у окон, «процессию». Позже «Двина» описала ее, и маман говорила, что это «естественно, потому что Бодревич поляк».

Наконец школьный год был закончен. В один жаркий вечер маман решила мне пойти с Шустером на реку. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но я не был приучен к ним. Возле костела он мне рассказал, как один господин «лежал кшижом» и выронил в это время бумажник, в котором хранил сто рублей.

В Николаевском парке мы увидели младшего Шустера. Мы побежали, но за огородами он нас догнал. Он ругал нас, не подходя, и швырял в нас камнями. Когда он отстал от нас, мы отдохнули, присев над канавой. — Мерзавец, — сказал я. Вдали нам видны были лагери. Марши по временам долетали оттуда. Я вспомнил, как когда-то с Андреем стоял у реки, Либерман загорал, а денщик, словно прачка, шел с вальком на мостки портомойни.

Вдоль берегов на реке нагромождены были плоты. Перескакивая, мы добрались до воды и купались. Мы прыгали и протыкали ногами отражение неба. Потом Шустер свел меня к бабьему месту, но я видел хуже, чем он, и купальщицы мне представлялись расплывчатыми белесоватыми пятнышками.

Я скоро начал ходить без него, потому что мне было неловко с ним. Он ничего не читал, и мне трудно было придумать, о чем говорить с ним. Один, я валялся на бревнах и слушал, как вода о них шлепается. Я читал «Ожидания» Диккенса, и мне казалось, что и меня что-то ждет впереди необычайное.

Из Евпатории пришло один раз доплатное письмо. — Что такое? — дивилась маман, вынимая из конверта газетные вырезки. Заинтригованная, она села читать и потом ничего не сказала. Письмо она бросила в печку, а вырезки спрятала. Я разыскал их, когда ее не было дома. «Опасный, — называлась статья про пятнадцатилетних, которая там была напечатана, — возраст». — Так вот как, — сказал я, прочтя. Я заметил теперь, что маман за мной стала подсматривать. С этого дня я старался вести себя так, чтобы ей про меня ничего нельзя было узнать.

С Александрю Львовною мы побывали в местечке, в которое она думала переезжать. Называлось оно «Свента-Гура». Со станции нас вез извозчик, говоривший «бонжур». Мы задумались, воспоминания нас обступили.

«Вдова А. Л. Вагель», — уже красовалась доска на воротах одноэтажного дома из дикого камня. На нем была черепичная крыша и флюгер «стрела». Здесь жил раньше «граф Михась». Мы слышали, что он «умер во время молитвы».

Подрядчик пошел перед нами, отворяя нам двери. Ремонт был почти уже кончен. В особенности нам понравилась ванная комната с окнами в куполе. В ванну надо было сходить по ступеням.

Маман повела А. Л. Вагель к фрау Анне, вдове доктора Эрнста Рабе, а я осматривал Свенту-Гуру. Базарная площадь окружена была лавками. Вывески были с картинками, под которыми была сделана подпись художника М. Цыперовича. Дом к-ца Мамонова, белый, украшен был около входа столбами. Над дверью аптеки фон-Бонин сидела на деревянном балконе аптекарша с сыном. Они пили кофе. На горке за садом аптеки был виден костел. Вдоль карниза его были расставлены статуи расхлopotавшихся старцев и скромных девиц.

Я зашел за маман. Фрау Анна сказала приветливо:

— Это ваш сын? Это очень приятно. — Она угостила меня пфеферкухеном.

Вскоре «Человеколюбимое общество» было превращено в «Православное братство». Его председателем стал наш директор, а вице-председателем — Шукина. Братство устроило в нашем гимнастическом зале концерт с Евстигнеевой, Шукиной, хором собора и феноменальным ребенком. Из выручки был поднесен отцу Федору крест.

А. Л. Вагель уехала в свой новый дом. Почти месяц мы ничего не слыхали о ней. Наконец фрау Анна, являясь с своим «вдовьим листом» в казначейство, зашла к нам. Она рассказала нам, что А. Л. посетила «палац», но графиня не согласилась к ней выйти. А. Л. собирается основать в Свентой Гуре, подобно тому, как оно есть у нас, православное братство и бороться с католиками. Она строит при въезде в местечко часовенку в память «усекновения главы», и часовенка эта будет внутри и снаружи расписана. — Я представляю себе, как это будет красиво, — сказала маман, и мне тоже казалось, что это должно быть прекрасно.

25

Когда это было готово, А. Л. показала нам это. Она посадила нас в автомобиль, и он живо доставил нас. Низенькая, эта часовня украшена была золоченой «главой» в форме миски для супа. А. Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак. Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстошекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчимом танцевала когда-то Софи. Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось в углу. Его шея в разрезе была темно-красная с беленькой точкой в середине. Кровь была дугой.

Мы остались у А. Л. до последнего поезда. После обеда из города к ней прикатила «мадам», и А. Л. занималась с ней. — «Ки се рессамбль», — бубнила она по складам в «кабинете», — «с ассамбль». — Потом пришло много гостей — свентогурских чиновников, пенсионерок и дачников. А. Л. кормила их и толковала про «объединение» и про «отпор».

— Интересно, — заметил почмейстер Репнин, — что у них на палаце есть палка для флага, а флага они не вывешивают. — После этого поговорили о том, как печально бывает, когда вдруг узнаешь, что кто-нибудь против правительства, и фрау Анна, которая, улыбаясь приятно, молчала, вдруг вздрогнула. — Я вспоминаю, — сказала она, — девятьсот пятый год. Это было ужасно. Тогда люди были нахальны, как звери.

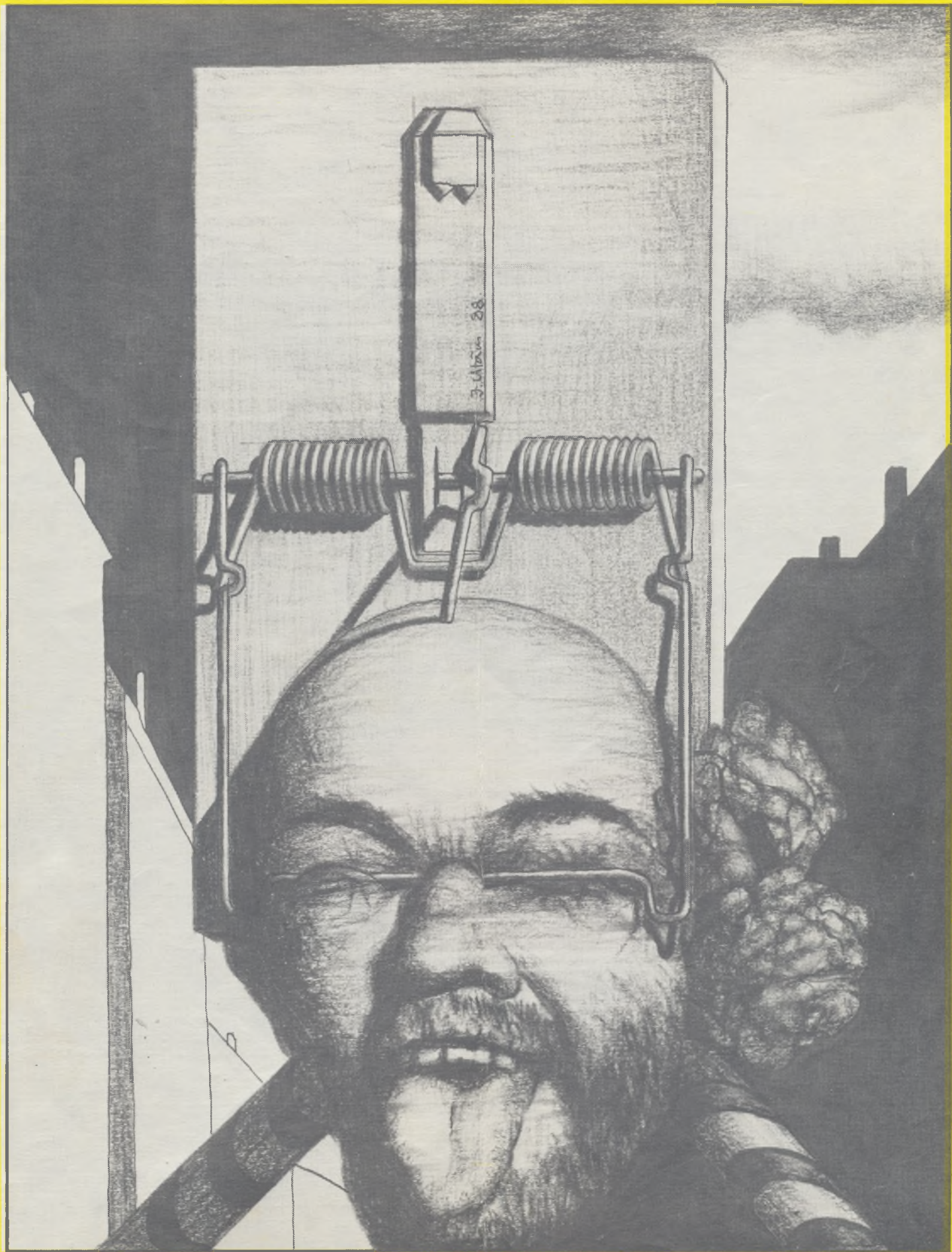
Затем мы отправились в «парк». На А. Л. была автомобильная шляпа, в руке же она несла хлыст. Быстрым шагом мы прошлись вслед за ней по дорожкам. — Гимн, — крикнул почмейстер Репнин, когда мы оказались на главной площадке, где были подмости. Тут все сняли шапки. Сидевшие встали. Потрескивали под протянутой между деревьями проволокой фонари из зеленой и синей бумаги. Оркестр из трех музыкантов, которыми дирижировал М. Цыперович (художник), сыграл. Мы кричали «ура», ликовали и требовали опять и опять повторения.

— Не понимаю, зачем, — говорила маман, когда мы возвращались и, сидя в вагоне, смотрели на искры за окнами, — вертятся возле нее эти малые — суришин и бониншин. — Я ничего не сказал ей. — «Опасный», — подумал я, — «возраст», когда я пойму уже это, — пятнадцать, а мне еще только четырнадцать лет.

Через несколько дней после этого я получил письмецо. Маман не было дома, и оно не попало к ней в руки. — «Я очень прошу вас, — писали мне, — быть на бульваре».

Когда пришло время, я вышел взволнованный. Я задержался в дверях, потому что увидел Горшкову. Она растолстела. Живот у нее стал огромным. Чуть двигаясь, в шляпе с цветами и в пелерине из кружев, она направлялась в собор.

(Продолжение следует)



РИСУНКИ ЮРИСА УТАНСА

I, IV обложки — оформители Сармите Малиня и Сергей Давыдов
«РОДНИК», 1988, № 10, 1—80

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ДРАМАТУРГИЯ

